



Это цифровая копия книги, хранящейся для потомков на библиотечных полках, прежде чем ее отсканировали сотрудники компании Google в рамках проекта, цель которого - сделать книги со всего мира доступными через Интернет.

Прошло достаточно много времени для того, чтобы срок действия авторских прав на эту книгу истек, и она перешла в свободный доступ. Книга переходит в свободный доступ, если на нее не были поданы авторские права или срок действия авторских прав истек. Переход книги в свободный доступ в разных странах осуществляется по-разному. Книги, перешедшие в свободный доступ, это наш ключ к прошлому, к богатствам истории и культуры, а также к знаниям, которые часто трудно найти.

В этом файле сохраняются все пометки, примечания и другие записи, существующие в оригинальном издании, как наименование о том долгом пути, который книга прошла от издателя до библиотеки и в конечном итоге до Вас.

Правила использования

Компания Google гордится тем, что сотрудничает с библиотеками, чтобы перевести книги, перешедшие в свободный доступ, в цифровой формат и сделать их широкодоступными. Книги, перешедшие в свободный доступ, принадлежат обществу, а мы лишь хранители этого достояния. Тем не менее, эти книги достаточно дорого стоят, поэтому, чтобы и в дальнейшем предоставлять этот ресурс, мы предприняли некоторые действия, предотвращающие коммерческое использование книг, в том числе установив технические ограничения на автоматические запросы.

Мы также просим Вас о следующем.

- Не используйте файлы в коммерческих целях.
Мы разработали программу Поиск книг Google для всех пользователей, поэтому используйте эти файлы только в личных, некоммерческих целях.
- Не отключайте автоматические запросы.
Не отключайте в систему Google автоматические запросы любого вида. Если Вы занимаетесь изучением систем машинного перевода, оптического распознавания символов или других областей, где доступ к большому количеству текста может оказаться полезным, свяжитесь с нами. Для этих целей мы рекомендуем использовать материалы, перешедшие в свободный доступ.
- Не удаляйте атрибуты Google.
В каждом файле есть "водяной знак" Google. Он позволяет пользователям узнать об этом проекте и помогает им найти дополнительные материалы при помощи программы Поиск книг Google. Не удаляйте его.
- Делайте это законно.
Независимо от того, что Вы используете, не забудьте проверить законность своих действий, за которые Вы несете полную ответственность. Не думайте, что если книга перешла в свободный доступ в США, то ее на этом основании могут использовать читатели из других стран. Условия для перехода книги в свободный доступ в разных странах различны, поэтому нет единых правил, позволяющих определить, можно ли в определенном случае использовать определенную книгу. Не думайте, что если книга появилась в Поиске книг Google, то ее можно использовать как угодно и где угодно. Наказание за нарушение авторских прав может быть очень серьезным.

О программе Поиск книг Google

Миссия Google состоит в том, чтобы организовать мировую информацию и сделать ее всесторонне доступной и полезной. Программа Поиск книг Google помогает пользователям найти книги со всего мира, а авторам и издателям - новых читателей. Полнотекстовый поиск по этой книге можно выполнить на странице <http://books.google.com/>



This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + *Refrain from automated querying* Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

About Google Book Search

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at <http://books.google.com/>



32101 067526820

Library of



Princeton University.

Presented by

Mrs Thomas Riggs

L'HETMAN MAXIME

L'HETMAN MAXIME

PAR

ÉTIENNE MARCEL

Mme. Caroline Thuez

NOUVELLE ÉDITION



PARIS

A. HENNUYER, IMPRIMEUR-ÉDITEUR

47, RUE LAFFITTE, 47

1890

Droits de reproduction et de traduction réservés.

A MADAME SEWERYNA DUCHINSKA

Voici, Madame, un nouveau récit du pays, un épi détaché de la moisson de faits, d'impressions, de souvenirs, recueillie dans le passé, sur votre terre natale. Permettez-moi de vous l'offrir, de le placer sous la sauvegarde de votre nom, si honorablement connu et respecté de tous.

Peut-être y trouverez-vous quelque intérêt, surtout parce qu'il vous rappellera la noble tâche à laquelle nous nous consacrons toutes deux : vous sans relâche, avec toute l'autorité de la science et tout le charme du talent, et moi, à mes heures, avec la consciencieuse fidélité de l'observation et le capricieux élan de la fantaisie.

Étienne MARCEL.

(RECAP)

3294

.28

345

L'HETMAN MAXIME

I

A TIFLIS.

Un soir de l'année 185*, il y avait grande représentation au théâtre de Tiflis. Dans la salle brillamment éclairée, chef-d'œuvre d'élégance et de légèreté, construite selon le style de l'architecture persane, les feux du gaz faisaient étinceler les torsades d'or des épau-
lètes, les plaques et les croix des ordres, les facettes irisées des diamants. Parfois s'élevaient d'enthousiastes bravos, des applaudissements frénétiques, qui retentissaient jusque dans la rue en lointaine clameur; après quoi une pluie de fleurs, une averse de bouquets, tombaient sur la scène, aux pieds de la chanteuse favorite, ou même à l'orchestre, sur les têtes des musiciens.

Un seul des spectateurs peut-être pouvait, malgré tout ce bruit, paraître indifférent et même taciturne. Ce spectateur était jeune pourtant; sa physionomie était ouverte, intelligente; sa tenue exprimait l'aisance et la distinction. Il portait avec une remarquable élégance l'uniforme de lieutenant des lanciers de la garde; mais il ne semblait nullement occupé, ainsi que la plu-

part de ses confrères, à camper fièrement sa taille bien cambrée et à donner un tour à ses favoris bruns. De temps en temps, son regard s'attachait sur une place restée vide non loin de lui, aux stalles, puis se fixait sur la porte du couloir, chaque fois qu'elle s'ouvrait pour livrer passage à quelque nouveau venu. Ensuite il détournait la tête avec un soupir de désappointement et essayait de reporter son attention vers la scène ; mais tous ses efforts étaient vains, sa pensée s'envolait ailleurs. On le vit, ô distraction inouïe ! hausser les épaules au grand duo et bâiller à la cavatine. Enfin, n'y pouvant plus tenir, il se pencha vers un de ses voisins, officier comme lui :

— Maxime ne vient pas, murmura-t-il. Voici déjà la troisième soirée. Il lui est peut-être arrivé quelque accident. Franchement, cela m'inquiète.

— Il n'y a pas de quoi s'inquiéter, dit l'autre. Maxime Nekrasa est un original.

— C'est possible, répondit le jeune homme aux favoris bruns, en fixant sur son interlocuteur un regard de mécontentement. En tous cas, c'est un original qui a fort peu de copies. On pourrait souhaiter qu'il en eût davantage, pour l'honneur du régiment... Enfin, je vais voir à son logement si l'on pourra me donner de ses nouvelles. Bonsoir, Serge Prokopowicz.

— Bonsoir, Daniel Alexandrowicz, modèle des amis, Pylade en uniforme.

Mais le jeune officier n'entendit pas ces paroles d'adieu ; il ouvrait déjà la porte du couloir, et peu d'instant après, se trouva dans la rue.

La Russie a beaucoup fait pour Tiflis : elle lui a donné des hôtels, des restaurants, une église grecque, un théâtre. Dans les hôtels, il y a de grandes dames, des princesses de Moscou et de Saint-Pétersbourg ; dans les restaurants, des cuisiniers français ; au théâtre, des chanteurs italiens ; à l'église grecque, de belles madones sur fond d'or, et de splendides peintures murales. Cependant, quelques progrès qu'ait faits à Tiflis la civilisation moderne, les rues de la ville ne sont pas encore éclairées la nuit. De-ci de-là, seulement, quelques lanternes projettent une lueur rougeâtre et vacillante qui flotte et tremble sur le pavé.

Mais, en revanche, les élégants balcons de bois sculpté qui entourent les maisons persanes, et surtout les terrasses qui les dominent, offrent aux regards des guirlandes de lampes, de torches et de flambeaux. Les longues flammes empourprées des torches, attachées aux angles des balcons, donnent un relief magique aux contours sveltes et aériens des élégantes maisons persanes ; dans leurs enroulements capricieux, ces lueurs ondoyantes tracent de bizarres spirales de lumière et d'ombre sur les façades blanches et sur les noirs pavés. Puis, tout en haut, sur les terrasses, parmi les guirlandes embrasées, les clartés scintillantes laissent apercevoir parfois le voile de neige d'une Géorgienne, flottant sur le ciel bleu ainsi qu'une légère nuée, ou deux grands yeux noirs rayonnants, douces étoiles égarées parmi tous ces lampions.

Le lieutenant Daniel, toutefois, était depuis longtemps familiarisé avec ce spectacle, et en ce moment

les yeux les plus beaux n'auraient pas même obtenu de lui un regard, et n'auraient pas eu le pouvoir de lui faire oublier Maxime.

Bientôt, s'étant arrêté à la porte d'une maison d'assez belle apparence, il sonna, et vit paraître aussitôt un vieux Cosaque d'Ukraine, au large pantalon, à la veste étroite et courte, à la ceinture rouge flottante, au bonnet de peau d'agneau à fond rouge tombant sur l'épaule, et qui, par son allure, son ton et son costume, paraissait tenir le milieu entre le serviteur et le soldat.

— Salut, Semenko; saurais-tu me dire où est ton maître ? demanda Daniel en entrant.

— Seigneur lieutenant, mon maître est ici, répondit le vieillard, en s'inclinant profondément et en élevant son flambeau pour éclairer l'escalier.

— Ici?... Et comment se fait-il que je ne le voie pas, qu'il ne vienne pas à ma rencontre ? Et puis, que dis-tu, Semenko ? il n'est pas dans son salon, ni dans sa chambre, continua l'impatient Daniel, qui venait d'ouvrir sans façon les portes de ces deux pièces.

— Non, seigneur, il n'est pas ici... Il est en haut, sur la terrasse, répondit le vieux Cosaque, en désignant du doigt l'étage supérieur de la maison. Et comme il paraissait... très fatigué..., il dort peut-être.

— Comment ! il dort?... Semenko, je crois que tu me dé bites un conte de ton pays. Comment mon ami Maxime, la perle des officiers, de nous tous le plus aventureux, le plus hardi et aussi parfois, à ses heures, le plus romanesque, pourrait-il dormir, en cet instant où tout s'anime, où tout reluit ; où il voit rayonner au-



Salut, Semenko; saurais-tu me dire où est ton maître?

dessus de son toit les étoiles d'Orient, les plus pures étoiles, et non loin de lui, sur le troisième balcon, les plus étincelants de tous les yeux, les yeux de la princesse Praxède ?

— Seigneur lieutenant, mon maître est tout ce que vous dites là : il est aventureux, il est hardi ; par exemple, je ne saurais vous dire s'il est romanesque, car c'est là un mot allemand, bien sûr, que l'on ne connaît pas chez nous... Seulement, quand on a passé trois jours et trois nuits à cheval, sur les monts, dans la plaine, tout Cosaque que l'on soit, on a besoin de dormir. Et rien ne vous réveillerait alors, ni vos brillantes étoiles d'ici, qui ne luisent pas à moitié si bien que celles de nos steppes, ni les yeux de votre princesse, qui ne valent pas mieux que ceux des filles aux sourcils noirs qu'on voit dans mon pays.

— Est-il excellent, ce bon Semenko ! répliqua Daniel en éclatant de rire. Nous sommes-nous donné assez de peine avec lui ! Lui en avons-nous assez montré de capitales, avec leurs rues, leurs becs de gaz, leurs trottoirs et leurs restaurants ! Mais bah ! autant de civilisation perdue ! Il vous planterait là tous les coupés de chemins de fer, pour s'asseoir encore sans selle sur la croupe d'un cheval sauvage ; il se rappelle avec transport les bords sauvages de la *prisiudy*¹ qu'il dansait jadis au bord des lacs de la steppe, tandis que je l'ai vu bâiller comme une huître au plus beau ballet de l'Opéra... Va donc, vieux Zaporogue enraciné ! A peine

¹ Danse des Cosaques de l'Ukraine.

a-t-on gratté le serviteur qu'on trouve aussitôt le Cosaque.

— C'est ce qu'il faut, répondit Semenko avec une sorte de fierté sombre. Les Cosaques seuls sont de loyaux serviteurs et de fidèles amis.

— Je sais cela, mon bon, fit Daniel avec un geste nonchalant ; mais je ne suis pas venu ici pour causer patrie... Tu dis que ton maître a passé trois jours et trois nuits à cheval?... Où donc a-t-il été ?

— Je l'ignore.

— Et tu ne le devines pas ?

— Je ne me permettrais pas de deviner.

— A la bonne heure, voilà qui est beau, Semenko ; cette réponse devrait être imprimée dans la *Morale en action à l'usage des domestiques*. Hélas ! que Maxime est heureux ! Comme son serviteur le respecte ! Pourquoi mon Mitrofane, à moi, n'a-t-il pas la même vénération pour les cachets des lettres qu'il dépose sur mon bureau, et pour les bouchons ficelés sur mes bouteilles de champagne?... C'est sans doute qu'il n'est pas Ukrainien : le drôle vient de Moscou... Ainsi donc, mon brave Semenko, c'est dit, tu ne soupçonnes jamais les motifs et tu n'examines jamais les actes de ton maître ?

— Non !... tant que mon maître restera généreux, fidèle et brave comme il l'est ! répliqua le vieillard avec une admiration contenue. Quand je le vois revenir, après des jours d'absence qui sont sans doute des jours de danger, son cheval épuisé, ruisselant de sueur ; lui, affamé, pâle, trempé de neige, je lui baise la main, je

lui ôte ses bottes, je lui apporte son thé et sa pipe, et je me dis : « C'est bien ! » Lorsqu'il arrive parfois, à pied, traînant derrière lui la dépouille d'un sanglier ou d'un ours abattu dans les montagnes, ou rapportant les brillantes armures conquises sur les chefs lesghiens que sa main a frappés, je lui baise la main, j'en essuie la sueur et le sang, et je me dis : « C'est bien toujours ! » Et même, seigneur lieutenant, je l'aime comme mon fils ; je le verrais rapporter immobile, sanglant, blessé à mort dans quelque noble entreprise, que je lui baiserais la main avec une grande douleur, mais avec un plus grand respect, et que je me dirais : « C'est bien encore ! » Celui qui a vécu à l'air des steppes sait qu'il faut vivre libre, ou sinon mourir soldat... Mais, seigneur lieutenant, si, au lieu de cela, je voyais mon maître passer ses jours à vos banquets, ses nuits à vos danses et à vos concerts, s'étourdir de votre vin, envoyer des fleurs à vos princesses et des perles à vos chanteuses, alors j'aurais sur le front une grande honte, avec un grand poids sur le cœur. Je lui baiserais encore la main, parce que son grand-père a été notre hetman, mais, après cela, je détournerais la tête, et puis je penserais à la steppe qui est là-bas, et je me dirais : « C'est mal... il a tout oublié ! »

— Tu parlés bien, Semenko, répondit Daniel Alexandrowitz, qui s'était arrêté tout rêveur. Est-ce dans la steppe, mon vieux guerrier, qu'on t'a enseigné l'éloquence ?

-- Je ne sais pas ce que c'est que l'éloquence, seigneur... Mais c'est la steppe, comme vous dites, qui

m'a appris à voir, à songer, à parler, à me souvenir... Là-bas, voyez-vous, il n'y a ni grands chênes, ni hautes montagnes, ni villes superbes, ni riches maisons... Mais à chaque pas que l'on fait, on voit des monticules verts qui se dressent sous les hautes herbes. Ces monticules sont des tombeaux ; là reposent les hetmans et leurs *assawules*¹, les chefs et leurs légions, les Cosaques du temps passé. Et chaque fois que le vent du soir souffle ou se plaint dans les herbes, nous entendons remuer leurs os et s'élever leurs voix : « Nous avons vécu pour le pays, nous sommes morts avec nos armes, disent les voix. Faites de même, vous nos enfants. » Qui est-ce qui dit cela?... Sont-ce les hetmans endormis?... Est-ce le vent du ciel natal?... Nous n'en savons rien, seigneur ; mais nous écoutons et nous nous souvenons toujours, car ce sont là, voyez-vous, des paroles sacrées.

— Cependant, Semenko, interrompit Daniel, ces paroles que tu écoutes et que tu crois, Maxime, ton maître, qui est Ukrainien comme toi, doit, comme toi, les avoir entendues ? Et pourtant il ne se berce point avec toi de je ne sais quelles visions de nationalité et de patrie. Il sert noblement, vaillamment, une cause qui n'est pas la sienne ; il défend ce drapeau, notre drapeau, qui a triomphé du vôtre. Pour faire toutes ces choses, il faut bien qu'il ait oublié les paroles que chante le vent sur les monticules des aïeux.

Ici le vieux Semenko garda le silence un instant,

¹ Lieutenants des hetmans.

fixant sur le jeune officier ses petits yeux noirs perçants, où une singulière expression de crainte et de désir se mélangeait d'une certaine nuance d'ironie.

— La mémoire ne meurt pas, murmura-t-il, comme se parlant à lui-même. On la croit éteinte, elle n'est qu'endormie. Peut-être un écho du Dniéper viendra la réveiller demain.

— Demain ? répéta Daniel, qui n'avait entendu que les derniers mots du Cosaque. Qu'attends-tu pour demain, mon brave Semenko ?

— Ce que j'attends, je ne le sais pas, seigneur. Mais, aussi vrai que je vis, il est certain que j'attends quelque chose. Ah ! si nous devons nous enterrer ici, pourquoi mon maître me répéterait-il, comme il le fait à la fin de chaque journée : « Demain, mon vieux Semenko, s'il arrive d'Ukraine, à mon adresse, une grosse lettre cachetée de noir, en quelque endroit que je me trouve, à l'exercice ou au théâtre, chez le prince Valiani ou chez le gouverneur, apporte-la-moi sur-le-champ, toi-même. Il y aura bien du nouveau pour moi, et pour toi peut-être, dans cette lettre cachetée de noir. » Eh bien ! seigneur lieutenant, continua le vieillard en secouant la tête, n'ai-je pas raison d'attendre et d'espérer ? La grosse lettre destinée à mon maître ne peut-elle pas venir aujourd'hui ou demain ?

— Aujourd'hui ! non, mon cher, répondit Daniel en riant, car l'heure de la poste est passée. Et puis, Semenko, en tout cas, il ne faudrait pas trop se bercer d'espoir... Une lettre cachetée de noir, c'est un deuil que cela présage. Or, le proverbe qui parle des souliers

d'un mort n'a que trop souvent raison : en attendant l'héritage d'un défunt, on peut mourir soi-même.

— Non, repartit le vieillard, mon maître ne peut pas mourir encore ; il est trop jeune et trop vaillant. Et quelque chose me dit que je ne laisserai pas ici mes os, dans cette terre de Russes, de schismatiques, en vous demandant excuse, seigneur lieutenant. Il me semble qu'il y aura pour moi un tombeau là-bas, dans un coin de notre terre d'Ukraine, tout près de la touffe de romarins qui croît sur les os de mon grand-père, enseveli à côté de l'hetman Nekrasa, à côté de son maître, seigneur !

En parlant ainsi, le vieux Cosaque avait orgueilleusement redressé sa haute taille maigre et secoué sa chevelure grise. Daniel l'interrompit en posant la main sur la manche de sa veste, au moment où il allait recommencer peut-être un éloge de ses aïeux.

— Mais, mon bon, il me semble que nous parlons ici de choses bien lugubres?... Des tombeaux épars dans la plaine, des lettres cachetées de noir, ce n'est pas bien divertissant. Songe que nous sommes au temps de Noël et qu'incessamment le carnaval commence.... Ah ! si Maxime était ici, c'est lui qui saurait nous réveiller !

— Si le seigneur lieutenant veut monter, dit Semenko en s'inclinant, il trouvera certainement mon maître sur la terrasse.

— Eh bien ! j'y vais, Semenko, car je suis assez curieux de savoir ce qu'il a fait, pendant trois jours, dans la montagne.

LÀ-dessus, le jeune officier s'élança dans l'escalier, en fredonnant une cavatine, puis disparut, après avoir soulevé la trappe qui donnait accès sur le toit de la maison.

II

APRÈS LE SERVITEUR, LE MAÎTRE.

Êtes-vous jamais monté, lecteur, sur quelque terrasse d'une ville turque, par une belle nuit d'Orient? Si vous n'avez jamais eu ce délicieux plaisir, vous ne pourrez concevoir qu'imparfaitement ce que je ne saurais vous exprimer qu'à demi; ce doux état nonchalant qui tient de la veille et du rêve, cette sereine et calme volupté qui rend le corps plus léger et l'âme moins songeuse, lorsque vous vous trouvez isolé, en quelque sorte suspendu, entre la terre sombre qui dort et le ciel rayonnant qui veille, entre ces frais parfums d'orangers et ce souffle aérien des nuages, entre ces frêles guirlandes de lampions scintillants comme des débris d'étoiles et ces groupes d'étoiles radieuses, étincelant en bouquets d'or sur le manteau bleu du ciel.

Le capitaine Maxime Nekrasa, en ce moment, était endormi sur sa terrasse. Étendu sur une peau de léopard, le bras droit arrondi sur un coussin de maroquin orné d'une riche broderie orientale, la tête reposant dans sa main, il était plongé dans un profond sommeil, que ne troublaient ni les bruits de voix et de mandolines qui montaient d'un café voisin, ni les clairs rayons de lune, qui éclairaient de leur pâle lueur sa

main et son visage. Ces rayons de lune, en effleurant les cheveux noirs du jeune homme endormi, en faisant scintiller le liséré d'or de son uniforme, paraissaient timides et caressants. Du reste, ils auraient difficilement éclairé un profil plus pur, un front plus noble, une bouche plus expressive. Ce qui n'empêcha pas le lieutenant Daniel de tordre sa moustache et de frapper du pied, car il n'avait pas, dans tout son être, la moindre étincelle de poésie.

— C'est ma foi vrai qu'il dort! murmura-t-il. Et dans combien d'heures peut-être me fera-t-il le plaisir de s'éveiller?

En parlant ainsi, il s'inclina légèrement et regarda avec attention le visage calme du jeune capitaine.

— Certes, il est beau, reprit-il au bout d'un moment, et je comprends sans difficulté l'attention que lui accordent la plupart de nos dames, la princesse Praxède surtout. Moi, pourtant, j'étais assez recherché à Pétersbourg et à Moscou; on s'accordait à reconnaître que je parle français d'une très aimable façon et que je danse le cotillon avec un entrain adorable. Et en disant ceci, Daniel Alexandrowicz passait sa main blanche et fine dans les touffes soyeuses de ses favoris.

— Eh bien! cependant, je pâlis, je m'efface, je disparaîs à côté de mon vaillant ami... Malgré tout, je n'en veux pas à Maxime. C'est un si joyeux compagnon, un si bon camarade! Avec quelle vigueur il vous dompte un cheval! avec quelle grâce il vide une bouteille!... Tiens, il parle de vin justement... il se croit à table, il rêve. Écoutons-le causer.

Maxime Nekrasa, en effet, s'était retourné à demi et murmurait, les sourcils froncés, les paupières toujours closes :

— A cheval... dans la plaine!... Mais du vin d'abord... et buvons! Le vin est bienfaisant... il excite, il éveille... Qu'il coule dans nos verres, sur nos habits!... Et si un autre flot ruisselle... plus chaud, plus abondant, plus vermeil... eh bien! on ne s'en apercevra pas... ce sera toujours rouge!

— Le farceur! il croit boire!... Que chante-t-il donc là? dit Daniel en posant la main sur l'épaule du dormeur.

Celui-ci, que les bruits de la rue, que l'éclat de la lune n'avaient pas réveillé, tressaillit et ouvrit les yeux à cette pression légère. Par un élan brusque et presque convulsif, il se dressa sur sa peau de léopard, chercha d'un mouvement instinctif le poignard attaché à sa ceinture, et Daniel vit en ce moment ses yeux noirs rayonner d'une flamme sauvage, presque sinistre, qu'il n'y avait jamais aperçue.

— Mais... c'est l'ami Daniel! s'écria soudain Maxime en souriant.

— Eh! oui, certes, c'est moi qui te surprends au moment où tu rêvais, parlant malvoisie et champagne... Désolé de troubler un songe aussi enchanteur... Mais pourquoi donc cherchais-tu ton poignard, mon ami? Croyais-tu, par hasard, qu'on voulait t'enlever ta bouteille?

— Mauvaise habitude qu'on prend à la chasse et à la guerre, répondit Maxime, en secouant la tête avec

gaieté. Quand on s'est rencontré une trentaine de fois corps à corps avec un ours ou un montagnard du Caucase, on est tout accoutumé à porter la main droite au fourreau, et le geste vous reste... Vilain tic, n'est-ce pas, mon cher? Ne vaudrait-il pas mieux avoir la main toujours prête à faire sauter les bouchons ou à saluer les dames?

— Pas de fausse modestie, mon bon. Tous ces mérites-là ne te sont pas étrangers non plus. Les bouteilles te sont légères et les dames te sourient... Mais voici trois grands jours déjà qu'on ne t'a vu à Tiflis. Qu'as-tu donc fait pendant ce temps?

— J'ai chassé, répondit Maxime.

— Tout seul?

— Oui, c'est un peu plus dangereux, mais c'est beaucoup plus agréable.

— Agréable... cela dépend des goûts. Moi, en tout, j'aime la société. Mais qu'as-tu donc chassé, mon cher original? Était-ce le sanglier ou les francolins? la petite ou la grosse bête?

— Tantôt l'une, tantôt l'autre, les deux à l'occasion, répondit nonchalamment Maxime, allumant un cigare.

— Et tu as rapporté...?

— Oh! je ne saurais dire combien de pièces... C'est Semenko qui s'occupe de cela. Mon plaisir à moi, c'est de tuer le gibier;... que d'autres le comptent et le mangent!

— Toujours original... Mais j'espère bien, mon cher, que tu me mettras au nombre des autres. Une hure de sanglier, c'est toujours bon, surtout quand cela

vous est offert par la main d'un ami. Seulement j'ai à te raconter une masse de nouvelles. Il vaut mieux, je crois, commencer par celles du régiment.

— Va, dit simplement Maxime, lançant en l'air une bouffée de fumée bleue.

— Eh bien ! je te dirai que le gouverneur général vient d'éprouver à la fois une grande joie et une grande frayeur. Son neveu, Nicolas Constantinowicz, que tu connais, et qui est enseigne dans notre régiment, à la troisième compagnie, avait été chasser, comme toi, dans la montagne, il y a deux jours. Surpris par un parti de Tcherkesses, il allait être mis à mort ou fait prisonnier, quand il a été délivré d'une manière quasi miraculeuse, on ne sait trop par qui ni comment. Le pauvre garçon, qui est malade de sa frayeur, ou d'une blessure reçue dans la mêlée, se fait soigner dans un village, à deux lieues d'ici... Mais en attendant, son oncle est aux anges. Tu sais qu'il n'a pas de fils ; il adore son neveu ; je crois qu'il embrasserait le libérateur.

— Triste récompense pour le libérateur, répondit Maxime négligemment. Le gouverneur a un faible pour l'oignon, et porte des moustaches en brosse.

— Mais que de choses viendraient avec ce baiser ! Des remerciements, des honneurs, une décoration, un grade... Tout cela ne sent pas l'oignon, mon cher... Mais puisque j'en suis aux nouvelles militaires, en voici une seconde, encore plus importante. Un soldat, qui allait porter des dépêches précieuses au commandant du fort de Gori, a été assassiné sur la route ; son

sac était vide, les dépêches enlevées. Note bien que le fort de Gori est menacé d'une surprise de la part des Lesghiens ; si le commandant n'est pas prévenu à temps, il peut perdre la place ; le fort est rasé, la garnison idem... Trois mille hommes, mon cher, c'est une perte ! Et dire que tous ces malheurs-là tenaient dans le sac du courrier !

— Le gland est petit, cependant il contient le chêne, répondit le capitaine, fumant toujours.

— Ce qu'il y a de plus singulier, poursuivit Daniel, c'est qu'aucune bande de maraudeurs n'a été aperçue, rôdant autour du défilé où l'on a assassiné l'ordonnance. Rien ne se voyait sur la neige ; rien que la trace des pas d'un homme, d'un homme seul, qui se perdaient plus loin, dans les gorges de la montagne.

— Qu'y a-t-il à cela d'étonnant ? Manque-t-il dans les défilés du Caucase de bandits isolés, de Lesghiens aventureux qui cherchent à rencontrer une proie ? Le message les concernait, du reste ; ils l'ont repris, voilà tout. Pour pouvoir manger l'œuf, ils ont brisé la coquille.

— Et voilà, continua Daniel, comme le gouverneur a reçu en même temps un message consolant et un message funeste. C'est ainsi que le monde est fait, et que, tandis que nous nous agitons, la Providence nous mène.

— C'est cela, répéta Maxime. Mais, Daniel, je ne te reconnais pas ce soir. Tu deviens philosophe !... Dois-tu cette disposition morose à tes nouvelles du régiment ?

— Peut-être bien, mon cher ; aussi je vais changer

de gamme. Voici donc, pour parler comme la Sévigné, la plus rare, la plus précieuse, la plus attendrissante, la plus ébouriffante de mes nouvelles, et, comme de raison, je l'avais gardée pour la fin... Écoute, mortel favorisé des cieux ; hier, j'ai été rendre visite au prince Valiani, et j'ai causé assez longtemps avec sa fille, la princesse Praxède. Eh bien !... écoute et rougis... elle m'a parlé de toi avec un intérêt visible. Je crois même, sans me tromper, avoir entendu un soupir.

— En vérité ? répondit Maxime, qui, pour la première fois depuis le commencement de cet entretien, laissa percer dans le son de sa voix une nuance d'attendrissement, et sur ses beaux traits une certaine expression de tristesse. Mais, mon ami, quelque peu modeste que je sois, je ne me suis jamais flatté...

— Eh bien ! mon cher, tu as eu tort. La princesse Praxède te distingue ; de tous les brillants cavaliers qui l'entourent, c'est toi qu'elle préfère. Autrement, pourquoi rougirait-elle quand elle te voit ? pourquoi soupirerait-elle quand elle ne te voit pas ? pourquoi te remercierait-elle d'un sourire si charmant quand tu lui offres ton bras pour la conduire au souper ou à la mazurke ? Et comme la princesse est maîtresse absolue de son vieux père, en sa qualité de fille unique, et de sa petite principauté, en sa qualité de veuve, je ne désespère pas, mon cher, de te voir devenir prince un de ces jours... Épouser une jeune veuve de vingt-quatre ans, princesse, belle et charmante, avec des yeux pleins d'éclairs, des coffres pleins de diamants, de la tendresse plein le cœur !... Ah ! tu es bien heureux, Maxime !

— Qu'en sais-tu ? répondit ce dernier nonchalamment.

— Comment ? ne serais-tu pas heureux d'épouser la princesse ? Je ne te comprends pas. Que lui reproches-tu ? Si elle n'est pas du même pays que toi, elle n'est pas non plus du nôtre. Elle professe le culte arménien, je crois ; mais tu la convertirais.

— Probablement, mon ami, je ne lui demanderai pas ce sacrifice.

— Mais alors, que prétends-tu, dis-moi ? quels sont tes rêves et tes espérances ?... Que nourris-tu dans ton esprit ?

Maxime ne répondit pas.

Appuyé toujours, dans l'ombre, sur la balustrade de la terrasse, il attachait ses regards rêveurs sur quelques nuées blanches qui s'enfuyaient vers l'ouest.

— A moins, reprit Daniel, au bout d'un instant, que le mal du vieux Semenko ne t'ait gagné et que, comme lui, tu ne rêves la patrie ?... Franchement, tu aurais mauvais goût. Le parquet des salons de Tiflis est presque aussi moelleux et beaucoup plus brillant que le gazon des steppes ; vos filles d'Ukraine sont certainement aimables, mais ce n'est pas en présence des belles Géorgiennes qu'on peut les regretter. Eh bien ! hormis l'Ukraine, la steppe et le gazon, qu'y a-t-il dans ta patrie ?

Maxime s'était enfin retourné. Pendant un moment, sans parler, il fixa sur son interlocuteur un regard ironique.

— Peu de chose assurément, dit-il. Rien que le

charme des souvenirs, mon toit d'enfant, le tombeau de ma mère... Et puis, de vastes champs de neige ou de verdure, un ciel presque toujours voilé, quelques lacs ignorés que les hérons habitent. Et ce sont là, n'est-ce pas, de ces choses qu'on oublie, quand on est homme et soldat?... C'est ce que je fais, Daniel : j'oublie, je vis, je ris, je chante, je joue, je bois. Quand m'as-tu vu mélancolique? J'ai pris rang parmi vos cavaliers les plus hardis, vos joueurs les plus effrénés, vos chasseurs les plus intrépides. Nul excès ne me fatigue, nul plaisir ne me lasse, nul danger ne m'effraye... Et cela ira ainsi, peut-être longtemps encore, jusqu'au but, jusqu'à la fin !

En ce moment un bruit de pas se fit entendre au bas de la maison. Un instant après, on frappa à la porte. Les deux jeunes gens, appuyés à la balustrade, se penchèrent pour écouter.

Puis on entendit le vieux Semenko, avant de tirer le verrou, crier d'une voix retentissante :

— Qui est là ?

— Un message du général gouverneur, répondit un soldat de la garde, dont l'uniforme galonné luisait aux rayons de la lune. Le capitaine Maxime Nekrasa devra se présenter chez lui demain, avant onze heures.

— C'est bon, on ira, grommela le vieux Cosaque, refermant au nez de l'ordonnance la porte et le verrou.

— Que peut te vouloir le général gouverneur ? dit Daniel, toujours sur la terrasse.

— Je l'ignore... Probablement me faire mettre aux arrêts pour m'être permis de passer trois jours à la

chasse. Ou bien m'envoyer à Gori au lieu et place du messenger trouvé mort dans la neige. J'en serais très reconnaissant ; ce sera une fort belle expédition.

— Tu ris, Maxime?... Eh bien ! moi, je suis un peu inquiet... Je n'aimerais ni de pareilles faveurs ni de pareils messages.

— Tu as des idées lugubres, Daniel ; il faut les chasser par un bon somme, il est grand temps d'aller dormir.

— En effet, je vais te dire bonsoir... A demain, mon ami.

— A demain, répondit Nekrasa. Semenko, éclaire-nous.

Le vieux Cosaque, portant un flambeau, parut à l'entrée de l'escalier, et après une dernière poignée de main échangée avec son ami, le lieutenant Daniel s'élança dans la rue. Maxime alors, avant de s'éloigner, se retourna vers son fidèle serviteur.

— Semenko, lui dit-il, as-tu brûlé les dépêches que je t'ai tantôt remises ?

— Oui, maître.

— Nettoyé la lame de mon épée ?

— Oui, maître ; elle est nette et brillante comme s'il n'était jamais tombé une goutte de sang.

— Lavé les taches de mon manteau ?

— Oui, seigneur. Et je l'ai fait sécher devant la bouche du poêle.

— C'est bien, mon brave ; alors tout est effacé... Un vilain accident, Semenko ; l'ordonnance s'est défendue. J'ai mis l'épée à la main ; je voulais blesser mon homme seulement. Bah ! le malheureux, en se déme-

nant, s'est enferré lui-même. J'étais seul... il me fallait les dépêches. Vois un peu ce que fait la nécessité.

— Bah! ce n'est pas une affaire; un Russe de moins! murmura Semenko en riant, et montrant ses dents blanches et aiguës.

— *Un Russe de moins?* Dis donc trois mille! A cette heure le fort est pris, et la garnison expédiée, ou à peu près... Oh! c'était pour cela qu'il me fallait la dépêche. Ils sont nos maîtres, Semenko! ils ont la force, ayons la ruse... jusqu'au jour où nous lèverons le bras, où nous jetterons le masque, jusqu'au jour où, nous aussi, nous serons forts.

— *Amen!* répliqua Semenko dévotement.

Et s'inclinant avec respect, il baisa affectueusement la main de son jeune maître.

III

CHEZ LE GOUVERNEUR.

Le lendemain, vers dix heures, le capitaine Maxime Nekrasa se présentait à l'hôtel du général B..., gouverneur de Tiflis et des provinces caucasiennes. Il ne tarda pas à être introduit auprès du haut fonctionnaire, autocrate de ces contrées.

Le général était un homme à la taille élevée, à la prestance militaire, un peu farouche, aux petits yeux gris flamboyants sous d'épais sourcils habituellement froncés, aux gros favoris d'un blond roux relevés par des moustaches en brosse. La courbure de son front et

le regard perçant de ses petits yeux tartares annonçaient une vigueur de décision qui pouvait bien parfois aller jusqu'à la cruauté. Pourtant son visage exprimait en même temps la loyauté et la franchise, et pouvait paraître presque affable dans ses moments de bonne humeur.

Or, le vieil officier, moustaches hérissées, sourcils froncés plus encore que d'habitude, lisait une dépêche d'un air tout à fait mécontent ; cependant son visage parut s'éclaircir lorsqu'il aperçut Maxime.

— Vous êtes le capitaine Nekrasa, du régiment d'Orel ? lui dit-il d'un ton bienveillant.

— Oui, général.

— Vous venez de chasser trois jours dans la montagne ?

— Oui, général.

— Vous avez eu tort... D'abord l'exercice s'est mal fait sans vous. Et puis un brave et habile officier ne doit pas s'exposer à être fusillé par les Lesghiens, comme une dinde sauvage. Pour toutes ces raisons, je devrais vous envoyer aux arrêts, comme ayant manqué à la discipline... Mais vous avez sauvé mon neveu, et tout ce que j'ai à faire est de vous serrer la main.

En disant ceci, le gouverneur se leva et s'avança vers Maxime, les lèvres souriantes, la main tendue.

Maxime, l'intrépide aventurier, le vaillant soldat, qui avait vu la mort de près dans bien des rencontres et des batailles, fit un pas en arrière et se troubla en ce moment. Il aurait accueilli des reproches avec fierté,

des menaces avec dédain, des injures avec colère ; mais il se sentait souffrir en présence de cette cordialité. Cette main sèche et brune, qui se tendait vers lui, lui faisait mal à regarder : il la voyait sanglante. Elle avait signé des arrêts de mort contre des amis, des frères ; elle avait donné le signal à la main du bourreau... Et le général attendait, s'étonnant, lui que depuis vingt ans on n'avait jamais fait attendre.

— Eh bien ? dit-il brusquement, après un instant de silence.

— Un si grand honneur... murmura Maxime en s'inclinant, pour cacher la pâleur qui montait à son front.

— De l'honneur?... n'en parlons pas. Allons donc ! l'honneur est à vous, qui avez si lestement enlevé aux griffes des barbares un garçon de dix-sept ans, un enfant qui m'est si cher !... Allons, donnez-moi votre main ; je suis fier de la toucher, car c'est celle d'un brave.

— Je ne puis pas reculer, pensa Nekrasa. Encore un sacrifice !

Alors il s'avança, en s'inclinant plus profondément encore, et prit avec respect la main du général.

— Capitaine Nekrasa, reprit alors ce dernier, il y a dans votre conduite une chose qui m'étonne. Vous avez délivré mon neveu hier, dans la matinée ; vous l'avez conduit au village de Magorskaïa, pour qu'il y fit panser sa blessure ; puis vous avez continué à chasser, comme si de rien n'était. Hier, vous êtes rentré à Tiflis sur les deux heures ; vous êtes allé chez vous, vous avez vu quelques amis ; puis vous vous êtes mis à dormir sim-

plement, héroïquement, sans rien conter de votre belle action à personne. Mais savez-vous que cette réserve est tout bonnement admirable, monsieur?... Ah! si c'étaient d'autres officiers de la garnison qui m'eussent rendu un pareil service, je les aurais là, à ma porte, depuis deux jours, se vantant, priant, mendiant, demandant des croix, des pensions, des congés, que sais-je?... des régiments, peut-être! Je n'ai jamais vu de désintéressement pareil : c'est vraiment merveilleux!

— Général, ne vous en étonnez pas, reprit Maxime au bout d'un instant. Je vais tout vous expliquer d'un mot : c'est que je ne suis pas Russe.

— Est-ce une épigramme, monsieur, et prétendez-vous vous payer de votre exploit en raillant ma nation et ma patrie? s'écria le gouverneur, qui s'était levé furieux.

— A Dieu ne plaise, général! répondit Nekrasa d'un ton calme. Voici tout simplement ce que je voulais dire : c'est que les autres officiers, mes collègues, comptent passer leur vie sous les drapeaux, ce qui rendrait leurs demandes et leur ambition parfaitement naturelles. Pour moi, qui suis Polonais, Ukrainien, mon destin m'appelle ailleurs. Quand j'aurai servi encore quelque temps notre nouvelle patrie, et obtenu un grade qui m'assure la considération et le respect de tous, je dirai adieu à la tente pour m'en revenir au foyer, et j'abandonnerai le sabre pour la charrue... A quoi serviraient alors à un mince propriétaire de campagne les régiments, les titres et les décorations?... Je

n'ai besoin de rien, c'est pourquoi je ne demande rien ; je suis satisfait et ne suis point modeste.

— Ainsi vous nous quitterez ? C'est vraiment dommage ! répliqua le général, en examinant attentivement le jeune Polonais. Nous avons fort peu d'officiers comme vous, braves, intelligents, dévoués et fidèles. Votre colonel me dit que vous êtes bon stratège, et que vous maniez l'épée mieux que le prévôt du régiment. D'ailleurs, la lettre de mon neveu m'atteste que vous avez accompli, pour le sauver, des prodiges de sang-froid, de talent et de bravoure... Et, au fait, écoutez-moi pendant quelques minutes : je vais vous lire une partie du message qu'il a dicté afin de me raconter l'événement.

Maxime s'inclina, s'assit, et regarda le général déplier la missive.

« Cher oncle, écrivait le jeune Nicolas, en quittant *Dourka*, j'avais été chasser dans les gorges de *Czehryn*. Il y a là, en effet, sur le penchant des collines, un bois de genévriers où se rassemblent dans cette saison les francolins et les coqs de bruyère. Je m'approchais du massif, l'œil au guet, le doigt posé sur la détente de mon fusil, lorsque j'entendis soudain un bruit confus, précipité, comme le galop de plusieurs chevaux, à l'extrémité de la gorge. Je me retournai vivement, et je ne tardai pas à voir paraître six brigands lesghiens montés sur de beaux chevaux tartares. Ils avaient de longs fusils, de lourds pistolets à l'arçon ; un fugitif rayon de soleil faisait étinceler la poignée de leurs *kangiar* et l'étui à cartouches fixé sur leur poitrine.

« En m'apercevant, ils firent un bond de joie et poussèrent un cri sauvage. Je me vis seul, je me sentis perdu, et, tout troublé, je pris la fuite.

« Alors le galop des chevaux retentit derrière moi, plus proche et plus précipité. Au-dessus de ma tête, quelques balles passèrent en sifflant, et, à quelques pas devant moi, allèrent s'enfoncer dans la neige. Le désespoir triplait mon élan et me donnait des forces ; puis je savais que, non loin de là, je trouverais un asile ouvert peut-être pour me protéger.

« C'était une petite mosquée carrée, assez basse, à toit plat, bordée d'un parapet, qui se dressait abandonnée sur le flanc de la montagne. Je l'apercevais de loin et je me hâtai de l'atteindre. Puis, m'aidant des pieds et des mains, je parvins jusqu'à la terrasse, et je me tapis près du parapet qui devait me servir de rempart.

« Les Lesghiens alors ne tirèrent plus. Seulement ils se placèrent à une certaine distance de la mosquée, et tandis que j'étais là blotti, exténué, pantelant, mais conservant un peu d'espoir, j'entendis un sifflement aigu et rapide à mon côté, puis un long couteau vint s'enfoncer à mes pieds, dans la couche de plâtre qui recouvrait le toit.

« Je tressaillis et fis un bond de côté ; alors arriva une autre lame. Saisi de colère et de frayeur, je sautai, je me découvris... Dès lors, ne songeant plus qu'à vendre chèrement ma vie, je ne me baissai plus, je ne me cachai plus ; je me mis à lancer sur les assaillants toutes les grosses pierres et les briques descellées qui

se trouvaient sur le toit à portée de ma main. En même temps, je m'effaçais de mon mieux au passage des couteaux, sautant deçà, delà, toujours lançant des pierres, ayant à peine le temps de voir mes assaillants, encore moins celui de les compter. Mais déjà une des lames tranchantes m'avait effleuré le côté droit; le sang coulait de ma blessure, je me sentais sur le point de défaillir. Soudain quelques mains robustes me saisirent par derrière... Je me retournai vivement... J'étais au pouvoir de deux brigands lesghiens.

« Les misérables étaient montés, pendant que leurs quatre compagnons m'attaquaient du bas de la terrasse. Ils m'étreignirent, m'entraînèrent, puis, s'approchant du parapet, me soulevèrent dans leurs bras... Je crus toucher à mon dernier moment, mon cher oncle, et dans mon cœur je vous dis adieu.

« Et j'entendis vaguement un coup de feu retentir à mes oreilles... puis je me trouvai étendu, non sur la neige durcie en épais tapis couvrant les rocs, mais sur un corps élastique encore frémissant. J'ouvris les yeux, je regardai... c'était un cadavre. Un nuage de fumée blanche était répandu autour de moi; lorsqu'il se dissipa, je vis un jeune officier russe, l'épée à la main, se jeter sur les trois Lesghiens restants. Les drôles, pour me lancer leurs couteaux, avaient mis pied à terre; ils engagèrent le combat corps à corps avec le nouveau venu... Quelle vaillante épée, mon oncle, et quel bon bras! La lame allait, venait, scintillait, ondulait comme un serpent d'acier, qui de sa crête aurait fait jaillir des étincelles; les sabres s'émoussaient

dessus et ne l'entamaient pas ; elle formait comme un rempart de fer autour de cette poitrine de brave, et chaque fois qu'elle se retirait, elle laissait après elle un trou sanglant.

« Bientôt deux de ces mécréants furent étendus sur la neige. Les autres, légèrement blessés, parurent songer à la retraite. Alors nous nous élançâmes sur deux des excellents chevaux qu'ils nous avaient laissés.

« — Vous êtes le neveu du général gouverneur ? me demanda mon sauveur, l'officier, tout en galopant.

« — Oui, capitaine ; d'où le savez-vous ?

« — Je vous ai vu passer ce matin ; j'étais dans un cabaret de la montagne... Je chassais assez près de vous quand j'ai entendu les coups de feu ; j'ai pensé qu'il arrivait quelque fâcheuse aventure... Je suis venu à temps pour vous épargner de la besogne, et pour prendre un peu de plaisir.

« — Dites pour me sauver la vie, ai-je répondu en lui serrant la main. Vous êtes mon libérateur ; voulez-vous être mon ami ? Je viens d'arriver à Tiflis, je n'avais pas encore le plaisir de vous connaître. Dites-moi votre nom pour que je l'inscrive dans mon souvenir, et que je le signale à la reconnaissance de mon oncle.

« — Il n'est pas besoin de reconnaissance, le souvenir suffira, répondit-il négligemment. Je m'appelle Maxime Nekrasa ; je suis un descendant des hetmans de l'Ukraine. D'après cela, vous comprenez, seigneur enseigne, que les kangiars et les couteaux ne me font pas grand'peur... Mais ne causons pas trop, vous fai-

blissez. Tenez-vous bien au cou de votre cheval et ne tombez pas jusqu'à l'auberge. Une fois arrivé là, je vous permets de vous évanouir.

« Je me sentais très faible, en effet, et, ainsi que le capitaine me l'avait permis, je perdis connaissance en arrivant à la maison du poste. Mais, en revenant à moi, je me trouvai placé par ses soins dans un lit relativement confortable; ma blessure pansée, mes membres reposés des fatigues de la lutte. Je voulus de nouveau remercier le capitaine, il était déjà parti. Je profite donc de mon premier moment de calme pour vous informer, mon cher oncle, de ce qui vient d'arriver, et pour vous prier d'accorder au capitaine Nekrasa quelque noble et brillante récompense, en reconnaissance de sa belle conduite et de son généreux dévouement. »

— La lettre finit là, continua le gouverneur en repliant le dernier feuillet; mais la conversation n'est point finie encore. Je vous dois déjà beaucoup, capitaine; je voudrais vous devoir, de plus, un avis précieux... Savez-vous qu'un messenger, que j'envoyais au fort de Gori, a été assassiné dans la montagne?

— Je le sais, général; un de mes amis me l'a appris hier.

— Le message ayant été intercepté, la forteresse a été surprise. Ce matin, au point du jour, six mille Tcherkesses s'en sont emparés et ont égorgé la garnison. Maintenant il me faut venger cet échec, malheureusement grave. Ce que je voudrais tenir d'abord, c'est le misérable bandit qui a assassiné mon courrier. Le meurtre a eu lieu dans le défilé de Noukha, non

loin de l'endroit où chassait mon neveu. Vous, qui vous trouviez de ce côté, n'avez-vous point aperçu quelque malfaiteur rôdant en ces parages ?

— En fait de brigand, je n'ai aperçu que les six Lesghiens, répondit Maxime tranquillement. Votre neveu et moi, nous en avons expédié quatre... Il est vrai que les deux autres sont restés sur le toit.

— Ce sont assurément ces bandits-là qui ont tué mon ordonnance et intercepté mon message, s'écria le général, tordant sa moustache avec dépit. Oh ! la race maudite, les damnés mécréants !... Ah ! capitaine Maxime, vous qui les dépêchez si bien, que ne pouvez-vous en délivrer le pays !

— Je me mets entièrement à la disposition de l'empereur en ce qui concerne les Lesghiens, répliqua Maxime en s'inclinant ; mais je n'ai malheureusement que deux bras et une épée.

— Oui, et l'une est aussi solide que les autres sont vaillants... Mais décidément, capitaine, vous ne désirez pas de récompense ? Ainsi vous persistez à dire non... Vous ne voulez pas même de réputation ni de gloire ?

— Je n'ai pas assez fait pour la gloire, et je ne tiens pas à la réputation, répondit Nekrasa froidement.

— Ainsi vous refusez tout... Je ne pourrai rien vous accorder ? insista le gouverneur, d'un ton bienveillant.

— Pour le moment, rien. Mais plus tard, général... dans quelque temps peut-être... Si quelque circonstance survenait... où votre protection me serait nécessaire, j'oserais vous la demander... Pourrai-je être sûr alors ?...

— De ne point éprouver de refus?... Non, assurément; je vous en donne ma parole de lieutenant de l'empereur, doublée de ma parole de vieux soldat.

— Merci, général; c'est assez de l'une des deux, répondit Maxime en s'inclinant et se dirigeant vers la porte.

— Ainsi vous partez? lui cria le général, qui le saluait de la main. Mais, capitaine, encore un mot. Rendez-moi un important service : tâchez d'aguerrir mon neveu. Donnez-lui, à son retour, quelques leçons d'escrime. Il est précieux pour un novice de pouvoir échanger quelques bottes avec un maître tel que vous.

— Eh bien! nous en échangerons, général.

— Capitaine Nekrasa, nos deux peuples ne sont plus en guerre, nos fleurets sont mouchetés, nos rancunes éteintes et nos verres pleins... En conséquence, enseignez l'escrime à mon neveu, et lorsque vous passerez devant mon hôtel, venez boire sans façon, à la santé de l'empereur, un verre de champagne... A votre âge, même quand on n'a pas soif de gloire, on a toujours soif d'aï rosé... Ainsi, je compte sur vous.

Maxime fit un nouveau salut, qui pouvait passer aussi bien pour un geste d'assentiment et de reconnaissance; puis, soulevant la lourde portière de damas à hautes franges, il gagna le grand escalier.

IV

LA CHAÎNE FLEURIE.

Le capitaine Nekrasa s'éloignait lentement dans la rue, courbant le front, baissant les yeux, au grand étonnement de la plupart des passants, qui le connaissaient et qui étaient accoutumés à voir le jeune et brillant officier marcher la tête haute, la mine fière, la main droite posée sur le ceinturon.

Soudain Maxime, au milieu de sa rêverie, se sentit frapper sur l'épaule par la main d'un passant, tandis qu'une voix amicale et grave résonnait à son oreille :

— Salut, capitaine Nekrasa. Avez-vous quelque chagrin qui vous préoccupe et vous empêche de reconnaître vos amis ?

Le jeune homme leva la tête, et fixa un regard encore troublé sur ce nouvel interlocuteur. C'était un homme de cinquante à soixante ans, dont la taille noble et droite, les traits réguliers et purs, offraient le type le plus parfait des Géorgiens de haute race. Il portait avec une majestueuse aisance le splendide costume du pays : une *tcherkesse*¹ d'une entière blancheur, enrichie de galons d'or et de deux rangs de cartouches aussi en or, légèrement entr'ouverte sur la poitrine, et laissant apercevoir une *béchemette*² de soie cramoisie. Un magnifique *papak*³, également de soie cra-

¹ Tunique portée au-dessus des autres vêtements.

² Espèce de veste ou gilet.

³ Bonnet circassien.

moisie, bordé de fourrure grise, couvrait la tête du promeneur. Dans sa chatoyante ceinture de damas oriental étaient passés deux pistolets, le *kangiar*¹ national, une *shaska*² à fourreau magnifiquement ciselé; toutes ces armes resplendissant d'or, d'argent, d'émail, ainsi que les deux petites escarcelles de cuir finement ouvragé, qui pendaient à son côté. Derrière lui se trouvait son *nouker*³, également vêtu d'un costume brillant et riche, portant une énorme pipe à boules de corail, à bout d'ambre, avec un long fusil damasquiné d'argent.

— Prince, je vous demande pardon, dit Maxime, je passais sans vous voir. Je ne suis nullement triste, mais bien préoccupé, et je m'estime heureux...

— Votre préoccupation, interrompit le prince, ne se rapporte-t-elle point, par hasard, à cette brillante aventure où vous vous êtes conduit comme un héros ?

— Bah ! une misère, un rien... Ainsi vous connaissez l'histoire ?

— Oui, car je me trouvais hier chez le gouverneur au moment où il a reçu la lettre de son neveu. Nous avons parlé de vous, et vous comprenez bien que nous n'avons pas été avares de louanges... Mais je vous fais grâce de mes compliments, capitaine ; ils ne vous paraîtraient point assez flatteurs, venant d'une vieille barbe grise. Veuillez m'accompagner seulement, et chez moi vous en entendrez d'autres qui vous sembleront

¹ Poignard recourbé.

² Sorte de sabre.

³ Suivant ou domestique.

mieux tournés, bien plus doux... Vous semblez hésiter, seriez-vous occupé? Vous aviez promis pourtant à ma fille un roman, un poème, je ne sais quoi enfin, dont la scène se passe chez vous... Et vous n'avez pas paru; c'est vraiment fort mal, monsieur. Est-ce ainsi que les hetmans de votre pays respectaient leurs promesses?

— Je le reconnais, prince, j'ai eu tort, répliqua Maxime un peu confus. Je vais réparer ma faute en vous suivant de près. Permettez-moi seulement de retourner chez moi chercher le livre.

— Pourquoi me quitter? dit le prince. Donnez un mot à mon *nouker*, désignez-lui le volume, et il ira le chercher.

Il n'y avait plus moyen d'échapper. Maxime poussa un soupir, se résigna et suivit le prince.

Le palais Valiani, devant la façade duquel ils s'arrêtèrent bientôt, déployait peu de luxe au dehors, comme toutes les maisons persanes, et réservait toute sa magnificence pour la décoration de l'intérieur. Seulement les balcons de bois travaillés à jour qui l'entouraient à chaque étage, et les escaliers frêles et aériens qui y donnaient accès, étaient d'une richesse de ciselure remarquable. Sur la terrasse supérieure, tout au faite du bâtiment, un riche pavillon d'étoffe rouge se dressait à l'un des angles, et de grands rhododendrons, croissant dans des corbeilles, penchaient au-dessus de la balustrade de marbre leur feuillage d'un vert brillant et leurs calices d'un rose empourpré. Tels étaient les seuls indices extérieurs qui pussent désigner aux pas-

sants la demeure d'un des plus opulents seigneurs de la Géorgie.

Une partie des appartements était disposée et meublée à l'européenne. Aussi Maxime, en admirant les beaux meubles de chêne et de cuir de Cordoue, le dressoir richement sculpté chargé de massive argenterie, le lustre de bronze doré à pendeloques de cristal, et les riches tentures qui garnissaient la salle, aurait pu se croire transporté à Saint-Pétersbourg, à Londres ou à Paris.

Il aurait pu le croire davantage encore lorsque, une fois assis à table, il y vit servir des mets exclusivement européens, préparés par un cuisinier français, et parmi lesquels les fameux *szyszliki*¹ figuraient seuls comme échantillon de la cuisine nationale.

La table du déjeuner ne portait que deux couverts ; la princesse Praxède n'y parut pas. Ce n'est pas que la noble et belle Géorgienne fût soumise à la réclusion sévère des femmes de l'Orient. Il n'y avait peut-être pas d'Américaine plus libre qu'elle, de Parisienne plus sémillante et plus vive, d'Anglaise plus intrépide et plus fière. La princesse avait fait, en outre, son éducation à Paris.

Mais la princesse Praxède, en cet instant, était sortie. Son veuvage prématuré, en l'affranchissant de l'austère réserve imposée aux jeunes filles, la rendait libre de disposer, selon son humeur et ses goûts, de sa fortune et de son temps. Le prince son père, accoutumé à cette

¹ Tranches de mouton marinées et cuites sur le gril.

liberté grande, ne la restreignait pas ; seulement il s'en inquiétait un peu, et il désirait sincèrement qu'un nouvel époux, noble, jeune et tendrement aimé, pût fixer enfin l'humeur capricieuse et modérer les goûts, aventureux parfois, de la belle Praxède.

Le déjeuner finissait lorsqu'un domestique annonça que la princesse était rentrée, et qu'elle attendait son père dans son appartement.

— Précisément à cette heure je suis moi-même forcé de sortir, dit le prince à son valet. Mais prévenez ma fille que si elle veut bien passer dans son salon, elle y trouvera le capitaine Nekrasa, qui vient lui présenter ses respects et lui apporter un livre.

Le domestique s'inclina et sortit ; bientôt il reparut, annonçant qu'il était chargé d'introduire le capitaine.

Les appartements de Praxède, à l'exception d'un boudoir tendu de rose, avaient tous conservé leur riche décoration orientale. Aussi le salon où Maxime fut introduit, était ravissant de luxe et d'originalité. Le plafond, peint sur stuc, représentait un délicieux fouillis de feuillages, d'arabesques, de fleurs aux couleurs éclatantes ; on eût dit un magnifique tapis persan étendu comme un dais dans toute la longueur du salon. La corniche de marbre blanc qui en ourlait le bord, était sculptée délicatement en forme de stalactites profondément creusées et dont toutes les nervures étaient revêtues d'une couche d'or. Aux deux extrémités de la pièce, les murs de stuc étaient remplacés par une clôture de bois odorant, travaillée à jour comme la plus fine dentelle, et dont les panneaux s'appuyaient

alternativement sur un fond de glace et sur un fond d'or. Tout autour des murs, émaillés de splendides arabesques colorées et dorées, étaient rangés des sofas de différentes formes, des coussins empilés, grands et petits, en soie épaisse, en damas persan, lamés d'or, d'argent, ou brodés de fleurs éblouissantes. Un magnifique tapis de Perse recouvrait le plancher; aux angles du salon, des camélias, des lis, des cactus et des hortensias s'épanouissaient dans de grands vases de Chine, et sur un perchoir d'ébène, auprès du balcon, se tenait le faucon de Praxède, encore coiffé de son chaperon de velours orné d'une aigrette aux riches couleurs, et de houppes de soie aussi légères que gracieuses.

D'exquis parfums s'échappaient des grands vases aux fleurs d'azur; le jet d'eau argenté d'une svelte fontaine bruissait doucement dans la cour; le faucon, sur son perchoir, cachait paresseusement son bec dans ses plumes soyeuses; le jour clair, tamisé par de longues draperies roses, pénétrait, vague et adouci, sous la voûte peinte et dorée. De ces tapis veloutés, de ces murs aux mille couleurs, de ces vases fantastiques, de ces tentures de soie, s'échappait un souffle enivrant, énervant, irrésistible, qui portait à la langueur, au repos, à l'oubli. Maxime n'eût pas été un vrai fils de l'Orient, un enfant de l'Asie égaré dans la steppe, s'il ne se fût pas laissé prendre à ce charme féerique du luxe, de la mollesse, du calme et du demi-sommeil. Un instant, il oublia tout : sa maison blanche au bord du lac, ses fidèles Cosaques qui gémissaient courbés sur leurs sillons, les antiques figures des hetmans, ses

pères, ses nuits sous la tente, ses jours dans l'exil, ses efforts, ses projets, son avenir, ses rêves; tout, jusqu'à la figure livide et contractée du soldat russe massacré récemment et dépouillé, par le fier descendant des Nekrasa, de son sac et de ses parchemins, tandis que tout son sang s'écoulait en rougissant la neige.

Et Maxime en ce moment ne se rappelait plus qu'une chose, c'est que Praxède était belle, princesse, riche, adorée; que Praxède avait à elle mille grâces, mille charmes enchanteurs, et ce palais, ces bijoux, ces fleurs et ces tentures; et qu'enfin Praxède pensait à lui, ainsi que l'avait dit Daniel.

— Vivre près d'elle, vivre pour elle... ce serait vivre en rêvant, dans un paradis! murmura Maxime, appuyé sur des coussins, le regard perdu dans les enroulements de la voûte.

En ce moment, un des panneaux de bois sculpté doublé d'or s'entr'ouvrit légèrement, et la princesse Praxède parut.

Elle s'avavançait en faisant de la main un salut amical à son visiteur. Arrivée au milieu du salon, elle laissa tomber son voile, et, souriante, gracieuse, elle se montra alors dans toute sa parure et sa beauté. Sur son front blanc et uni, au-dessus des ondes de ses cheveux noirs, s'ajustait un bandeau de ruban incarnat lamé d'or, en forme de diadème. Un léger voile de tulle s'ajustait sous cette couronne; l'un des bouts, passant sous le menton de la jeune femme, allait rejoindre sa guimpe de gaze brodée, tandis que l'autre, frangé de glands d'or, se mêlait aux longues tresses et

avec elles flottait, ondulait jusqu'aux genoux. La robe de soie blanche, également lamée d'or, s'ouvrait en forme de tunique, comme celles de nos antiques châtelaines. S'arrêtant un peu au-dessus du genou, elle laissait apercevoir une seconde robe de satin incarnat à fleurs d'or, ample, longue et traînante, effleurant autour de Praxède les arabesques du tapis. Enfin un large ruban rayé de mille couleurs, magnifique ceinture orientale, se tordait en ceinture lâche autour de la taille fine, puis retombait en larges pans sur la robe à fleurs d'or.

Un pareil costume assurément eût fait sensation dans les salons de Pétersbourg. A Tiflis, il paraissait tout simple et presque ordinaire. Il était en si parfaite harmonie avec le style de l'appartement, avec la richesse des meubles et des tentures, et surtout avec la beauté éclatante et royale de celle qui le portait, qu'on n'y trouvait rien de trop éblouissant ni de trop riche. Les yeux noirs de Praxède étaient encore plus brillants que son diadème d'or ; ses lèvres plus rouges que le ruban de sa coiffure ; ses tresses plus épaisses et plus soyeuses que sa robe de satin.

Elle s'était avancée vivement, glissant sur le parquet comme une ombre joyeuse ; puis elle vint se placer sur son sofa, rejeta en arrière les pans de son voile de tulle, et salua Maxime avec un charmant sourire, en lui disant :

— Enfin !

— Enfin !... quel mot aimable, princesse ! murmura le capitaine.

— Mais nullement, monsieur, ce n'est point un mot aimable, c'est un reproche, au contraire. Comment, vous me promettez de m'apporter *Marie*, votre poème national ; vous me le faites aimer et désirer en m'en récitant quelques strophes, et puis, lorsque je l'attends, moi qui ne suis pas accoutumée à attendre, vous oubliez votre promesse et vous disparaîsez... Bref, on ne vous revoit plus.

Maxime allait répondre ; mais d'un geste Praxède l'interrompt.

— Taisez-vous, ne vous excusez pas, reprit-elle vivement. Vous allez me dire qu'il a neigé, que le temps est bon pour la chasse. Mais, croyez-moi, laissez cette puérole et sanglante distraction aux pauvres gens qui s'ennuient et qui n'ont rien à faire. A votre place, au lieu de poursuivre, de détruire ces gentilles créatures de la montagne, j'aimerais beaucoup mieux, certes, faire plaisir à mes amis.

— Je le conçois aisément ; mais c'est parce que vous avez des amis, princesse, répliqua Maxime d'un ton ému.

— Et vous, monsieur, n'en avez-vous pas ? Venez-vous vous donner ici des airs de fausse modestie ? Allez, on ne vous pardonnerait, ni vos excuses, ni votre chasse, sans le courageux dévouement, le beau fait d'armes qui ont suivi. Ah ! monsieur Nekrasa, comme vous expédiez les Lesghiens !... Et quand j'y pense ! continua Praxède en riant, ce sont pourtant mes compatriotes.

— En vérité, dans la chaleur de l'action, je l'avais oublié... Si je m'en étais souvenu...

— Vous auriez laissé massacré le jeune enseigne?... Non, non, monsieur; c'eût été là une galanterie mal entendue, qui eût amené un déplorable résultat. Il n'y a, continua Praxède en souriant, qu'une seule chose dont je vous blâme. Mais ne prenez pas l'air étonné, ni inquiet, monsieur Maxime. Ce que je blâme, ce qui m'afflige, c'est que vous n'avez rien voulu accepter du gouverneur.

— Comment? vous savez?... interrompit Maxime avec étonnement.

— Monsieur, je sais tout... Autrement, à quoi me servirait d'être princesse? reprit Praxède avec une feinte gravité. Mais, continua-t-elle en souriant, j'ai appris votre refus d'une façon toute naturelle. J'étais tout à l'heure chez la générale Protasoff, dont le mari est très lié avec le gouverneur. Il nous a parlé de vous, et nous a même raconté quelques détails de l'entrevue.

— Et vous dites... que mon refus vous afflige? Vous afflige pour qui?... C'est pour moi, sûrement?

— C'est aussi... pour nous, murmura Praxède, dont les beaux yeux se voilèrent un instant, tandis que son front incliné se couvrait d'une ombre rosée. Monsieur le capitaine, voici ce qui m'afflige : on vous offrait des honneurs, une décoration, un grade; à cette circonstance heureuse vous pouviez devoir l'illustration de votre nom, de votre vie, et... vous n'avez rien accepté.

— Rien, en effet, répondit Maxime.

— Ils ne savent pas pourquoi vous n'avez rien voulu; mais moi... moi, je suis femme, et je le devine. Vous ne voulez point d'honneurs qui vous rapprochent de

nous, point de titres qui vous engagent, point de reconnaissance qui vous lie... Vous voulez vivre seul, indépendant et fier. Quand vous ne nous devrez rien, vous ne nous donnerez rien non plus, ni votre cœur, ni votre souvenir, ni votre temps, ni votre vie... Il y a une puissance fatale, une patrie jalouse, qui vous appelle ailleurs... et ailleurs vous fuirez.

Le cœur ému, la tête penchée, Maxime écoutait en silence.

Praxède quittant son sofa, lui fit un signe de la main et le conduisit au balcon.

Le palais du prince Valiani était situé au sommet de l'une des collines sur lesquelles s'étagent les maisons de Tiflis. Les regards, descendant de toit en toit, de terrasse en terrasse, voyaient ici s'épanouir la fraîche verdure dont s'émaillent les plates-formes et les balcons, là s'arrêtaient sur les coupoles d'or des églises russes, les blancs minarets des mosquées, et se reposaient enfin sur la longue spirale bleue que tracent les eaux de la Koura, au pied des premières hauteurs, au bas des dernières maisons.

Dans la rue large, plantée d'arbres, où était bâti le palais, circulait une foule active et bigarrée : des Géorgiens, avec leurs armes brillantes et leur tournure de grands seigneurs ; des cavaliers persans aux vestes fourrées, brodées d'or et de pierreries ; des Mingréliens, coiffés de leur fronde, dont ils ont fait un ornement national ; des Tartares couverts de peaux de mouton ; des officiers russes en brillant uniforme ; des femmes voilées, toutes blanches, dont on apercevait

seulement les longues tresses et la ceinture aux mille couleurs. Puis, par delà la rivière et la ville, l'étage inférieur des hauteurs du Caucase se couvrait de forêts, de vergers, de gazons, de prairies, revêtant ses flancs osseux d'une éclatante robe verte, et couronnant son front d'un diadème irisé par le soleil.

— Voici ce que vous voulez quitter, dit-elle, ma belle et souriante patrie. Vous qui êtes orgueilleux, vous qui êtes fier, regardez ces vallées et ces monts. Croyez-vous qu'au milieu d'une nature aussi grande, l'homme ne puisse pas vivre libre? Êtes-vous las de voir cette belle rivière bleue se baigner dans la mousse de la plaine, ou ce riche soleil se mirer aux facettes des glaciers?... Croyez-vous que le ciel gris de votre pays, et ses steppes sans fin, puissent vous faire oublier ces fraîches vallées et ce beau ciel?... Et puis votre patrie est esclave, opprimée... Si quelqu'un vous y attendait, du moins!... Mais, vous me l'avez avoué vous-même, vous l'avez quittée trop jeune pour y laisser des amis, et vous n'avez plus pour espérer votre retour, ni père, ni sœur, ni...

— Oui; mais pourtant là-bas... on se souvient de moi, murmura Maxime.

— Ici, reprit alors Praxède, avec une expression de fierté triomphante, ici, on fera mieux et plus : on vous protégera, on vous enrichira, on... vous aimera peut-être.... La fortune, la gloire, les honneurs se pressent à votre porte, et tous ces dons éclatants, vous voulez les abandonner !

— Que seraient pour moi tous ces biens ? Un seul

pourrait m'être précieux et doux au point de remplacer pour moi la patrie.

— Et lequel ?

— Le don d'un cœur.

— Et si ce cœur... un jour... consentait à se donner ?

— Alors je me dirais que ma place est ici, sous ce ciel qui me sourit, près de ce cœur qui m'aime. Je laisserais à d'autres les rêves, les efforts, les souvenirs, les regrets, tâchant de vivre de ma tendresse, et je dirais à celle qui m'aurait choisi : « Votre ciel est bleu, votre pays est doux, votre affection encore plus douce. Nous n'avons pas d'autre tâche que celle d'être heureux et de vivre : vivons. »

— Vivez ! dit alors Praxède avec un rayonnant sourire.

— Est-ce bien vrai ?... Le voulez-vous ainsi ?

— Je voudrais vous voir heureux, capitaine. Vous voir heureux, vous voir rester ici. Si je dois un jour devenir votre femme, je n'aurai que peu de chose à changer à mes sentiments pour vous... il y a si longtemps que je suis votre amie !

— Ah ! laissez-moi d'abord, s'écria Maxime radieux, laissez-moi vous voir, vous admirer, vous entendre !... Mais je ne suis, moi, qu'un pauvre gentilhomme, qu'un officier obscur ; que pourrais-je vous offrir en échange de tout ce que vous m'auriez donné ?

— Tout votre cœur d'abord, et puis... beaucoup de gloire ! La campagne recommence au printemps. Vous y prendrez part, vous vous distinguerez. Le gouverneur se fera un devoir de récompenser magnifiquement les

services que vous rendrez à sa patrie... Alors, si vous m'aimez, vous ne refuserez ni décorations ni grades. Et le colonel Nekrasa pourra un jour sans crainte demander la main de la princesse Valiani.

— Et si je meurs ?

— Vous ne mourrez pas, le bonheur protège... Et alors si vous le voulez, vous pourrez briser votre épée, vous n'obéirez plus, vous ne servirez plus. Car rien ne vous manquera, ni les richesses, ni les honneurs, ni l'avenir, ni... ma tendresse... Mais nous avons assez rêvé pour aujourd'hui; maintenant, lisons, reprit-elle au bout d'un instant. Je veux savoir l'histoire de Wacław et de Marie.

— Oui, lisons, dit Maxime. Allons pleurer avec ceux--là qui ont tant souffert et tant aimé.

Ils retournèrent s'asseoir, et Maxime ouvrit le livre. La jeune femme écoutait ces vers attendris, s'unissait à cette harmonieuse plainte, le suivait par le cœur, par la pensée, bien loin sous le ciel du pays. Et lorsque le prince rentra, il les trouva lisant encore.

— Ainsi, leur demanda-t-il en souriant, vous avez fait tous deux beaucoup de poésie ?

— Oh! oui, père, dit Praxède, nous avons fait des rêves d'anges.

— Mais voici l'heure de la revue, qui est, hélas! une bien triste réalité. Ce qui m'oblige à vous dire adieu, en vous présentant mes respects.

Et Maxime se retirait après une inclination profonde.

— Au revoir! lui cria le prince Valiani.

— A bientôt! ajouta la jeune femme.

Il s'éloigna alors, encore ému de son dernier regard et bercé par le son de sa voix.

V

LA GROSSE LETTRE CACHETÉE DE NOIR

Quelques semaines de bonheur, d'oubli, commencèrent alors pour Maxime. Il ne se souvenait presque plus de ses projets récents et de ses anciens rêves. La terre natale, autrefois si chérie, ne déroulait plus devant lui ses vertes steppes et ses grands horizons. La patrie était là où il était heureux, où le présent lui était doux et l'avenir splendide.

Par moments cependant il se sentait ébranlé : c'était lorsqu'il avait passé deux ou trois jours sans voir Praxède. Parfois, quand il était seul, les verts horizons de l'Ukraine lui apparaissaient au loin, vers l'ouest, et semblaient lui sourire ; mais lorsqu'il venait de passer une heure chez le prince, il s'en allait heureux, et ne les voyait plus.

Près de lui pourtant il y avait des regards inquiets, qu'il ne pouvait pas tromper : ceux du vieux Semenko, qui depuis près de vingt ans n'avait pas cessé de veiller sur son maître. Le pauvre serviteur avait été habitué jadis à recevoir quelques épanchements, à écouter des confidences, et voici que rien de pareil ne lui parvenait plus. Le cœur du patriote de l'Ukraine, du fier descendant des hetmans, semblait mort ou fermé. Se-

menko s'efforçait en vain d'en pénétrer la cause et ne pouvait la deviner. Il y avait à cela deux excellentes raisons : d'abord, pauvre serviteur qu'il était, il ne connaissait pas Praxède, et, vieux Cosaque de soixante ans, il avait oublié les plaisirs de jeunesse.

Une chose surtout, dans la conduite du capitaine, inquiétait notre Semenکو :

— Autrefois, murmurait-il souvent, fronçant le sourcil et hochant la tête, autrefois, quand mon maître avait passé quelques jours hors de Tiflis, il ne rentrait jamais sans me demander : « Eh bien ! Semenکو, la grosse lettre cachetée de noir n'est pas encore arrivée ? — Non, seigneur, » lui disais-je. Et alors il secouait la tête en soupirant, jetant un regard par-dessus les montagnes, bien loin, du côté où se couche le soleil... Mais maintenant il va, il vient, il part, il rentre, il s'éveille, il s'endort, sans jamais rien demander. Est-ce qu'il aurait oublié la lettre, et la steppe qui est là-bas ?

Et l'obstiné Semenکو, pensant que son jeune maître avait oublié la lettre, croyait de son devoir de la lui rappeler. Aussi, chaque fois qu'il ouvrait la porte au capitaine après une absence d'un ou deux jours, il ne manquait jamais de lui dire, d'un ton bas et soucieux :

— Maître, la grosse lettre n'est pas venue.

Sur quoi, Maxime tressaillait, d'ordinaire, comme si un serpent l'eût piqué. Une ou deux fois, il se tourna brusquement vers son serviteur pour lui imposer silence ; d'autres fois il passait rapidement, feignant de n'avoir pas entendu.

Et le vieux serviteur, les yeux humides et les pas

chancelants, allait s'enfermer dans sa chambre, se demandant si quelque damné russe ou quelque sorcier lesghien n'avait pas, par hasard, jeté un sort sur son maître.

Maxime en était là de ses rêves et Semenko de ses perplexités, lorsque arriva la fête de la nouvelle année. Il y avait toujours à cette occasion un grand bal chez le gouverneur, dont les salons offraient alors un aspect presque féérique. Les grandes dames de Tiflis y étalaient à l'envi leurs toilettes, leurs diamants et leur beauté; les officiers et les généraux mêlaient, à l'éclat des diadèmes et des colliers, celui de leurs plaques, de leurs croix et de leurs massives broderies.

La princesse Praxède brillait au premier rang par sa grâce et par sa beauté. Elle avait fait venir sa toilette de Pétersbourg, et portait, avec une gracieuse dignité et une élégance charmante, sa courte tunique de velours groseille sur une robe de tulle blanc constellée de rubis, couronnant son front un peu altier du *kakoschnik*¹ russe de brocart d'or, semé de rubis et de perles. Aussi Maxime était radieux, ébloui, enivré; il se disait que cette royale beauté lui appartiendrait un jour, que cette grâce de fée charmerait sa vie et embellirait sa demeure, et il ne s'affligeait point de voir mille regards admirateurs attachés sur Praxède; il n'en était point jaloux; pour cela, il était trop fier. Et dans sa joie, dans son triomphe, le fils des hetmans cosaques avait perdu sa réserve et son ironie de tous les jours; plus ses camarades se montraient empressés et affectueux à son égard, plus

¹ Sorte de diadème, coiffure des dames russes.

il était avec eux familier, joyeux, presque tendre. Il leur prenait le bras, il les tutoyait, les appelait ses amis. Oh! si Semenko l'avait entendu! Heureusement, il ne savait guère ce qui se passait au bal; il charmait ses loisirs, pendant ce temps, en chantant la ballade de Mazeppa, le vieux Cosaque!

Entre deux quadrilles, la princesse Praxède, un peu fatiguée, entra dans une galerie vitrée, toute tapissée de fleurs, qui conduisait à la serre, et là, seule un instant, s'approcha d'un miroir, ôta son diadème d'or et de rubis, et alla paresseusement s'asseoir sur un sofa, dans l'ombre. En ce moment, Maxime et Daniel, qui s'étaient approchés de l'entrée de la galerie, firent un mouvement pour s'éloigner; mais elle les aperçut :

— Avez-vous peur de moi? Est-ce que je vous fais fuir? leur dit-elle.

— Hélas! répondit Daniel, nous sommes comme ces pauvres oiseaux qu'un regard éblouissant à la fois terrifie et fascine... Oui, nous avons peur de vous, princesse; mais, bien loin de vous fuir, nous voudrions ne pas vous quitter.

— Eh bien, venez alors! dit en souriant Praxède. Vous m'avez comparée au basilic, mais je vous proteste que je ne mordrai pas. Le serpent a aussi ses heures de générosité, qui sont ses heures de paresse; vous pouvez compter sur sa douceur lorsqu'il se repose au soleil... Mais, capitaine Maxime, vous ne dites rien?... Est-ce que vous méprisez le repos et que vous lui préférez les hommages?

— Oh! madame, s'il tient aux hommages, il doit être

satisfait ce soir. Il en a été véritablement comblé, rassasié. Nos généraux l'ont traité, nos dames l'ont accueilli, comme s'il eût été Balzac en personne ou le grand-duc héritier. Je l'ai toujours pensé, voyez-vous, mon ami Maxime est un homme heureux. N'êtes-vous pas de mon avis, princesse ?

— Ce n'est pas à moi de le dire ; il faut le lui demander, répondit finement Praxède, en jetant à Maxime un éloquent regard.

— Mais quand même il ne dirait rien, les événements parlent. Ainsi, Maxime joue, l'a-t-on jamais vu décavé ? Maxime chasse, est-il jamais rentré sans gibier ? Maxime se bat ; il revient toujours sans blessure, ou avec quelques estafilades légères, qui lui font honneur et qui ne l'enlaidissent point. Sa bonne chance le suit partout, n'est-il pas vrai, princesse ?

— En vérité, reprit-elle. Tant de bonheur au jeu, en chasse, en guerre, serait vraiment une chose inexplicable. Pour le posséder, vraiment, il faudrait que votre ami eût gagné la faveur du roi des serpents, en emportant un rayon de sa magique couronne.

— Qu'est-ce donc que le roi des serpents ? dit Maxime, qui avait souri.

— Ah ! capitaine, ne riez pas de ce monarque fascinateur ; c'est dans mon pays qu'il habite. Voulez-vous que je vous le fasse connaître ? Voici son signalement, tel que nous le donnent nos poètes montagnards.

Et ici Praxède, toujours à demi couchée sur ses coussins et agitant son éventail, traduisit aux deux amis ce fragment de poésie caucasienne :

« Au centre des précipices ténébreux, entre les noirs rochers couverts de mousse, le roi des serpents a caché son palais.

« Là où le gouffre devient abîme, où la nuit devient chaos, où l'immensité devient néant, éclate soudain une flamme éblouissante, une phosphorescente lumière.

« C'est l'abîme qui s'entr'ouvre, c'est le palais qui s'illumine et qui laisse voir l'un après l'autre son portique d'opale, sa galerie d'émeraudes, sa salle de rubis, sa rotonde de cristal et son sanctuaire de brillants.

« Opales, émeraudes, rubis, saphirs, cristaux, brillants, sont les trésors du roi-serpent, et le roi-serpent les garde.

« Son corps est long, flexible, d'un vert d'émeraude, revêtu d'une cuirasse d'écailles d'or; ses deux yeux étincellent comme deux étoiles rouges; sa tête plate et brillante se recourbe comme le bec d'un faucon, et lorsqu'il darde sa langue, on dirait qu'il fait flotter un long ruban de feu au bout d'un sceptre vert.

« Ça et là, des anneaux de diamants étincellent sur les mailles d'or de sa cuirasse; sa tête porte une crête éblouissante, superbe diadème de brillants entourant un globe de rubis.

« Le roi-serpent parle toutes les langues; un seul regard de lui rend heureux ses élus; lorsqu'il les trouve endormis dans les gorges des monts, il souffle à leurs oreilles et leur apprend, comme en rêve, les mots mystérieux qui font jaillir les trésors dans la terre, le naphte dans les rochers, les sources dans le sein des prés, la tendresse dans le cœur des jeunes filles.

« Mais il ne souffre pas que leur regard s'élève au ciel, car, bien qu'il soit lui-même beau, fier et audacieux, et que des ailes de papillon s'agitent sur son cou, il devra toujours ramper et ne s'élèvera jamais plus haut que le gazon de la terre. »

— Eh bien ! dit Praxède en achevant, comment trouvez-vous le signalement et la légende ?

— Le signalement on ne peut plus poétique, et la légende vraie, répondit Maxime qui s'était rapproché.

Il fit chatoyer dans ses mains le kakoschnik orné de brillants et de rubis, que Praxède en entrant avait déposé sur une console, et le faisant étinceler devant elle, il murmura en même temps :

— Sa tête porte une crête éblouissante : un diadème de brillants entoure un globe de rubis... Un seul regard de lui rend heureux ses élus ; lorsqu'il les trouve endormis dans les gorges des monts, il les berce délicieusement des paroles du rêve.

— En vérité, comme tu retiens la légende ! dit Daniel en riant et en prenant la main de son ami. Mais elle n'est pas finie encore, et je sais le reste, moi qui suis un vieux Tcherkesse.

Et Daniel continua ainsi, en jetant un regard malin à la princesse :

« Mais quoiqu'il soit beau, puissant, libéral et magnifique, le roi-serpent n'a de pouvoir que pour le mal : rien de divin ne lui a été donné. Celui qu'il enrichit, il le corrompt ; celui qu'il séduit, il l'énerve ; celui qu'il enlace, il le souille... Et l'on ne peut échapper à son étreinte, à son pouvoir, qu'en fuyant sans se retour-

ner, et en jetant à la face du radieux monarque le nom de sa mère, et un peu de poussière du sol de son pays.»

— Voici la fin, conclut Daniel, et qu'en dis-tu, Maxime?

Nekrasa ne répondit pas ; son front avait pâli ; ses regards se portaient alternativement sur le beau visage grec de la princesse Praxède et sur une toute petite fleur, une humble fleur des steppes, qu'en passant près d'une corbeille il venait d'apercevoir. Comment se trouvait-elle, l'étrangère, ainsi transplantée et perdue ? Pourquoi venait-elle là précisément à cette heure, à ses yeux, entr'ouvrir sa corolle jaune, exhiler son faible parfum ?... Il y avait là comme un avertissement du sort. Maxime se le disait ; voilà pourquoi il n'osait répondre.

Mais en ce moment la musique cessa brusquement dans le salon voisin ; on entendit un bruit confus de pas réguliers et pressés ; puis il se fit un grand silence, et au même moment une pendule placée dans la galerie de verre sonna les trois quarts avant minuit.

— C'est la nouvelle année qui vient, dit Praxède. On va échanger les souhaits. Venez, messieurs, hâtons-nous.

Elle se leva, rajusta son kakoschnik, regardant au miroir sa belle figure un peu pâlie, puis se dirigea vers le grand salon, suivie des deux jeunes officiers.

Cette vaste pièce, des deux côtés de laquelle s'étaient placés les invités rangés en ligne, avait pris un aspect grave et presque solennel. Le général gouverneur en occupait le centre, en face de la haute cheminée de

marbre blanc. Au milieu du silence, des domestiques entrèrent, portant de grands plateaux. Là, dans des coupes de cristal au pied rose tailladé, scintillait le vin doré de Kachétie, jaune et transparent comme une topaze traversée par un rayon de soleil. Lorsque le premier coup de minuit sonna, le gouverneur, prenant deux coupes, y trempa ses lèvres, porta la santé de l'empereur, puis celle des dames, et passa les coupes aux princesses qui se trouvaient près de lui. Celles-ci les reçurent en faisant une profonde révérence.

— Espérons, dans l'intérêt de ces dames, que le général gouverneur n'a pas mangé d'oignon aujourd'hui, dit Daniel, poussant le coude de son voisin.

Maxime rougit, et, pour cacher son mécontentement, avança la main vers les coupes. Les plateaux circulaient en effet au milieu de l'assemblée, et chacun, y prenant un verre, allait, après avoir bu le premier, l'offrir à ses meilleurs amis. Maxime en saisit un et, le cœur ému, le regard troublé, traversa la foule pour arriver à l'endroit où se tenait Praxède, auprès du gouverneur. En ce moment, celui-ci l'aperçut.

— Venez, mon jeune brave, lui dit-il à haute voix, boire avec nous le vin du nouvel an et de l'amitié éternelle... Voici ma main, voici ma coupe. Buvons au bonheur de la Russie, et à la prospérité de l'empereur.

Et le gouverneur, prenant un verre, le présentait à l'officier ; honneur insigne qui ne s'accorde guère qu'aux plus courageux vétérans, aux plus intimes favoris. Jamais encore on n'avait vu le général gouverneur offrir sa coupe et sa main à un simple capitaine. Et pourtant

Maxime hésitait ; son front avait horriblement pâli.

En ce moment, par une subite inspiration, il leva les yeux sur Praxède, afin de lire dans son regard. Ce regard était expressif, éloquent, radieux ; il disait : « Venez et buvez. » Et Maxime ne tarda plus ; il s'inclina profondément, étendit la main, prit la coupe.

— A la prospérité de la Russie ! à la santé de l'empereur ! répéta-t-il.

En dépit de son hésitation et de son affreuse pâleur, sa voix, en prononçant ces mots, était haute et vibrante, et, au milieu des vivats qui répondirent à ce toast, il n'entendit qu'à peine une sorte de gémissement qui semblait venir de l'antichambre. Et comme il s'avancait vers Praxède, toujours la coupe à la main :

— Donnez-la-moi, murmura celle-ci. Pour moi, vous l'avez acceptée, et moi j'y boirai la première. Et je vous donnerai, en vous la rendant, tout ce que j'ai de reconnaissance, de tendresse et de fierté, car vous m'avez beaucoup aimée, puisque vous m'avez beaucoup sacrifié, Maxime.

Elle prit le verre avec un sourire, y trempa ses lèvres fines, et le rendit au capitaine.

— Que personne n'y touche, excepté vous, dit-elle. Il faut que nous vidions à nous deux cette coupe, comme celle qu'on nous présentera bientôt à l'autel.

Cette fois le sourire revint sur les lèvres de Maxime ; il prit le verre et allait y boire, lorsqu'il s'arrêta et retourna la tête pour écouter un tumulte confus, étrange, qui se faisait dans le vestibule, à l'entrée du salon.

C'était comme le bruit d'une lutte véritable, mais

autant que possible étouffée, pour que les échos n'en parvinssent pas aux oreilles du gouverneur. Cependant quelques éclats de voix avaient fini par attirer l'attention de la foule, et le général lui-même s'écria d'un ton irrité :

— Que se passe-t-il donc là? Est-ce que ces drôles se battent?

Sur quoi deux ou trois laquais montrèrent leurs têtes poudrées à la porte du salon.

— Excellence, dit l'un d'eux, c'est un vieux gredin de Cosaque qui dit que son maître est ici, et qu'il doit nécessairement lui parler.

— Est-il fou?... Quel est son maître?

— Le capitaine Nekrasa.

Maxime, confondu, fit quelques pas en pâlisant.

— Ah! ah! s'écria en riant le gouverneur, il paraît que votre serviteur ne connaît pas la crainte. L'air des steppes, on le voit, porte à la liberté. En toute autre occasion, je ferais bâtonner le drôle, pour lui apprendre à distinguer un palais d'une prairie... Mais vous êtes un digne jeune homme, et nous venons de trinquer comme de vieux amis; aussi je consens, pour vous, à faire grâce à ce coquin. Seulement, vous allez voir, je vais l'embarrasser un peu. Qu'on l'introduise ici, qu'il remette lui-même son message!

Le gouverneur comptait, pour déconcerter l'intrus, sur la majesté du lieu, le nombre d'assistants, la magnificence des costumes, sur le respect enfin qu'inspirait sa propre dignité. Mais il se méprenait complètement : Semenko avait l'obstination intrépide. La valetaille

l'ayant lâché, il entra précipitamment, fit à la hâte une inclination respectueuse, jeta sur tous les groupes un regard scrutateur, puis, ayant découvert celui qu'il cherchait, il s'avança vivement vers lui et lui tendit un papier, en disant d'une voix vibrante, mais émue :

— La grosse lettre est arrivée... Et je n'ai pas tardé un seul instant. La voici!

— Et tu as osé venir jusqu'ici me la remettre? dit Maxime, qui avait pris le paquet, et dont la main tremblait visiblement.

— Maître, ne me l'avez-vous pas commandé? Il est vrai que depuis quelques semaines vous ne me le disiez plus. Mais enfin voici ce que jadis vous me répétiez toujours : « S'il arrive d'Ukraine à mon adresse une grosse lettre cachetée de noir, en quelque endroit que je me trouve, à l'exercice ou au théâtre, chez le prince Valiani ou chez le gouverneur, apporte-la-moi sur-le-champ, toi-même. Il y aura bien du nouveau pour moi, et pour toi peut-être, dans cette lettre cachetée de noir. » Maintenant la voici, maître ; je n'ai fait qu'obéir à vos ordres, je n'ai pas oublié vos paroles d'autrefois.

Maxime, incapable de parler, congédia son serviteur du geste, et tenant toujours la lettre à la main, le regard troublé, le visage livide, s'appuya au dos d'un fauteuil.

— Qu'avez-vous donc, capitaine? vous pâlissez, il me semble, dit le gouverneur en s'approchant. Ah! c'est une lettre de deuil! votre émotion est bien naturelle. Mais, croyez-moi, en pareilles circonstances, il

vaut mieux vider la coupe d'un seul trait. Voyez qui vous avez perdu, monsieur. Ces dames et moi, nous vous permettons de lire cette lettre.

Maxime s'inclina, encore pâle et agité; il fit sauter le cachet, attacha ses regards sur la feuille, plus longtemps assurément qu'il n'aurait fallu pour la lire... Après qu'il l'eut repliée, il garda le silence encore quelques minutes. Ses yeux, d'abord fixés à terre, se relevèrent soudain et s'arrêtèrent sur Praxède, avec une déchirante expression de regret et de douleur. En cet instant, Semenko s'approcha de son maître et toucha doucement le pan de son habit.

— Maître, n'y a-t-il rien de nouveau pour moi?... Vous m'aviez dit d'espérer? murmura-t-il d'une voix basse et timide.

Alors Maxime tressaillit, et paraissant faire un énergique effort, il cessa de regarder Praxède et s'approcha du gouverneur.

— Général, lui dit-il d'une voix troublée, à demi brisée par l'émotion, vous m'avez promis, il y a quelque temps, d'employer pour moi votre crédit s'il se présentait quelque occasion importante, d'où dépendraient mes espérances d'avenir... Une circonstance semblable est survenue... votre promesse m'est précieuse, et je vous la rappelle.

— Vous pouvez y compter, je ne reviens jamais sur ce que j'ai promis... Capitaine Nekrasa, voulez-vous formuler votre demande?

— Non... non, pas à présent, répondit Maxime, qui tressaillit. Mais demain j'aurai l'honneur de solliciter

une audience. Pour ce soir, je me retire; j'ai chez moi plusieurs affaires à régler.

— Allez, capitaine; vous avez certainement besoin d'être seul, venant de recevoir une triste nouvelle.

Maxime s'inclina; il s'éloigna d'un pas rapide, la tête baissée. La foule des invités s'écartait devant lui. Au moment où il allait sortir cependant, une petite main se posa sur son bras : c'était celle de la princesse Praxède.

— Qu'est-ce que cette lettre? murmura-t-elle. J'ai le droit de le savoir.

— Demain... Vous le saurez demain, balbutia le capitaine, toujours baissant la tête.

Il s'écarta en frémissant, laissant retomber à côté de lui la main de la princesse; il ne lui fit pas même un geste d'adieu, et sortit sans la regarder.

En ce moment, Semenko, qui le suivait lentement, coudoya dans la foule le lieutenant Daniel. Il lui jeta un regard triomphant, où se peignaient l'orgueil, la joie et l'espérance.

— Eh bien, seigneur lieutenant, nous avons la lettre, murmura-t-il à son oreille, en regardant s'éloigner son maître, d'un air confiant et joyeux.

VI

EN CHEMIN.

Le lendemain, vers midi, Maxime rentrait chez lui, après avoir obtenu son audience du gouverneur. Dès

qu'il parut sur le seuil, Semenko accourut à sa rencontre :

— Eh bien, maître ? demanda le vieux Cosaque.

— Eh bien, Semenko, c'est fini, nous partirons demain.

— Enfin !... murmura le vieux serviteur, levant les bras au ciel dans une sorte d'extase.

Maxime releva la tête et fixa sur le vieillard un regard long et triste.

— Tu es bien heureux ! lui dit-il.

— Si je suis heureux, maître ?... Est-ce que vous ne l'êtes pas ? Pensez donc que, depuis huit ans, nous n'avons pas mis le pied sur la terre de notre pays ; pensez donc que là-bas tous nous attendent, nous attendent depuis si longtemps que peut-être ils nous oublient, ou qu'ils se disent, le cœur découragé : « Le jeune hetman ne revient pas : est-il mort ou est-il Russe ? » Pensez donc qu'ici nous sommes étrangers, esclaves, soldats, c'est-à-dire que nous ne sommes rien, et que là-bas, ô maître ! tous les cœurs seront à vous, tous les bras se lèveront avec le vôtre, toutes les voix fières des Cosaques libres proclameront que vous êtes un vrai fils de l'Ukraine, leur guide, leur ami, leur père ; que vous venez pour les soutenir, les défendre ou les venger !

— Ne penses-tu donc qu'à moi, Semenko ?.... N'est-ce pas toi surtout qui seras heureux en te retrouvant au milieu de tes proches ?

— Maître, je pense à vous et à la patrie. Mon bonheur est avec les deux. J'aime mon pays d'abord, et vous

ensuite. Je vous ai servi depuis votre enfance, et je vous servirai toujours avec respect, avec fidélité, avec un dévouement sans bornes, parce que vous, un jour, vous servirez la patrie... C'est ainsi que jadis mes pères ont vécu. Quand un des hetmans, vos ancêtres, dans la bataille, jetait sa plume de héron au plus serré des rangs ennemis et disait à son Semenko d'alors : « Va la chercher ! » Il y allait... Quand le traîneau du maître était entouré par les loups, quand il fallait que quelqu'un, pour le sauver, se laissât tomber dans la neige, le maître n'avait qu'à faire un signe, en disant : « Sauve-nous. » Et le Cosaque tombait sans murmurer sous les dents aiguës, sous les griffes déchirantes, pour sauver son hetman, le père de trente mille Cosaques comme lui. C'est pour cela, jeune maître, que je vis pour vous, sans jamais me séparer de vous ; que je serai glorieux quand vous aurez de la gloire, que je verserai des larmes de sang s'il vous arrive d'être vaincu, que je baisserai le front s'il vous arrive d'être faible, et que je mourrai à vos côtés le jour où vous mourrez pour le pays.

— Tu es un serviteur fidèle, mon Semenko. Je tâcherai de me rendre digne de ta confiance, qui est celle d'un noble cœur... Va maintenant achever nos préparatifs. J'ai besoin d'être seul..... Lorsque tu reviendras ici, je te chargerai d'une lettre.

Ici Maxime, tournant le dos à son serviteur, entra dans sa chambre à coucher. Un feu sombre brillait dans ses yeux ; tous ses mouvements étaient brusques, fiévreux, presque désespérés ; il cessait enfin de se con-

traindre. Il se plaça devant son bureau, prit une feuille de papier.

— Il le faut, murmura-t-il, achevons notre sacrifice. Le premier de tous, hélas ! et de tous le plus amer aussi.

Il se mit à écrire rapidement, laissant parfois, lui, le vaillant capitaine, le hardi aventurier, tomber quelques larmes brûlantes sur la page.

« Je vous quitte pour toujours, Praxède, écrivait-il. Si je vous revoyais, je n'aurais plus la force de partir ; c'est cette lettre seule qui vous portera mes adieux. Plaiguez-moi si vous êtes tendre ; maudissez-moi si vous êtes sévère ; oubliez-moi quand vous serez heureuse. Je ne mérite que votre colère, votre rancune et votre mépris..... Oh ! Praxède, je vous ai trompée ; mais c'est qu'alors je me trompais moi-même. Je ne pouvais pas me donner à vous, car je ne m'appartenais plus. Autrefois, j'ai fait un serment ; j'ai promis de remplir une mission sacrée, que vous ne pouvez connaître. Pour atteindre ce but mystérieux, auquel doivent tendre tous mes efforts, je devrai vivre seul, sans amour, sans famille, afin que j'aie la liberté d'aller où l'on m'appellera, d'agir quand le temps viendra, de mourir quand il le faudra.

« Mais j'avais oublié tout cela en vous voyant ; vos sourires et vos regards m'avaient fait une si douce chaîne !..... Une chaîne fleurie, que je portais sans la sentir, et que la main du sort tout à coup est venue briser. Un instant j'ai cru que mon cœur se briserait avec elle !..... Mais je dois me vaincre, Praxède ; je suis

homme, et je l'ai juré..... Je vais vivre isolé, maudit, pour le combat, la lutte et la gloire, comme vous vivrez, vous, belle et bientôt consolée, pour les triomphes, la joie et le bonheur.

« Vous vouliez savoir hier ce que c'était que cette lettre, et vous le savez maintenant. Il y a un mois, je n'étais qu'un pauvre officier obscur, auquel un grade et une pension étaient nécessaires pour le dédommager de l'indigence du toit paternel. Aujourd'hui, cette lettre m'apporte, avec le testament d'un parent, des biens considérables. Je suis riche, princesse, et c'est pour cela que je dois vous fuir..... J'ai cessé, hélas ! d'être libre. Ces biens ne me sont pas donnés pour moi-même ; ils me sont confiés seulement ; mon serment m'oblige à les sacrifier pour cette cause sainte, cette patrie jalouse, à laquelle je me sacrifierai aussi..... Oh ! maudits soient ces trésors !..... Parfois il me semblait qu'ils ne viendraient jamais, que je resterais ici près de vous, toujours, pauvre, aimé, heureux ; vous devant tout, ma fortune et mon bonheur, ma joie et ma vie... Je rêvais alors, je rêvais... mon rêve était si doux !... »

« J'ai obtenu du général gouverneur un congé immédiat ; dans huit jours, je serai définitivement libéré du service militaire..... Mais je ne pourrais pas rester si longtemps, près de vous, sans faiblir, sans trahir mon serment, peut-être !..... Ainsi, je partirai demain... Adieu, jeunesse ; adieu, bonheur ; adieu, Praxède ! »

Ici Maxime cessa brusquement d'écrire ; il cacheta sa lettre en toute hâte, comme s'il eût craint que la force lui manquât pour l'envoyer. Puis il appela Semenکو

d'une voix si impérieuse, si étrange, que le vieux serviteur accourut tout stupéfait.

— Va porter cette lettre chez le prince Valiani, dit-il, et en revenant fais les malles. Demain soir nous quitterons Tiflis.

Semenko s'éloigna ; Maxime, resté seul, put se livrer alors sans contrainte à sa douleur du présent, à ses regrets du passé, à ses rêves pour l'avenir. Quel destin l'attendait là-bas, dans cette patrie lointaine, abandonnée longtemps, mais jamais oubliée ? Il allait y être accueilli, fêté, par les anciens sujets de sa famille. Mais ce qui l'attendait en Ukraine pourrait-il jamais lui faire oublier Tiflis ? Y aurait-il là pour lui, d'abord, une autre Praxède ? — Les filles de mon pays, pensa-t-il, sont belles et naïves ; mais elles me paraîtront sans grâce et sans attrait lorsque je me rappellerai tant de grandeur, d'éclat et de beauté.

Puis, en ce moment, par un hasard singulier, une image d'enfant se présenta à lui au milieu de sa rêverie. C'était celle d'une ancienne voisine, d'une petite Polonaise blonde, avec laquelle il avait joué bien des fois lorsqu'il était enfant. Elle avait des cheveux dorés comme des épis mûrs, des bras ronds à fossettes et blancs comme du lait, des yeux bleus naïfs, largement ouverts, comme deux frais calices de pervenche ; une voix chantante et douce comme les sons d'une harpe dans l'air. Elle s'appelait Sophie, et, toute petite qu'elle était alors, comme elle était dévouée, prévenante et gracieuse !

Quand Maxime était triste, elle chantait d'abord pour

le consoler, et riait ensuite pour le faire rire ; quand il était fatigué, elle fauchait de ses mains frêles une gerbe d'herbes fraîches ou de foin doux et parfumé ; il posait sa tête dessus, au pied d'un buisson, et Sophie accrochait son tablier blanc aux branches vertes des cou-driers, pour en faire une tente. Quand Maxime avait négligé ses devoirs, elle le sermonnait doucement ; quand il était malade, elle faisait une petite prière à sa patronne.

— Qu'est-elle devenue, ma gentille compagne ? se demanda-t-il tout à coup. Probablement je ne la reverrai plus, et elle... m'aura oublié... Bah ! laissons là ces souvenirs de femme ! Il me faut les secousses du voyage et l'air du pays. Ah ! quand je me retrouverai galopant sur la steppe, au milieu de joyeux amis qui partageront avec moi leur tente et leur verre, ou à la tête de quelques milliers de Cosaques fidèles auxquels je dirai : « En avant ! » mes regrets s'évanouiront comme une brume de mai chassée par un vent d'orage... Que je sente l'odeur de la poudre, que j'entende l'appel des trompettes, que je voie encore la couleur du sang, du sang russe, du sang ennemi, et mes souvenirs seront effacés !... Vous serez contents de moi, mes vieux ancêtres !... Vous étiez des hommes rudes, vous, de fortes poitrines, des cœurs braves, et pourtant vous vous couvriez de fer. Et nous autres, vos fils, nous rejetons vos armures ; elles sont trop lourdes pour nous, et nous n'en avons pas besoin... Nous irons au combat la tête nue, la poitrine désarmée. Pas d'autre bouclier que l'amour du pays, pas d'autre cuirasse que le mépris de

la mort, que le dégoût de la vie !.... Le cœur qui a fait le sacrifice d'un beau rêve, d'un grand amour, ne reculera pas devant un coup de lance. Cet héroïsme-là, vous ne l'avez pas connu, ô mes aïeux ; votre cœur n'accordait que peu de place à la tendresse... Eh bien, hommes de fer, donnez-moi un cœur de fer, afin que désormais rien ne me charme ou ne m'attendrisse, afin que je ne sache que frapper et, s'il le faut, mourir.

Le jour touchait à sa fin, la nuit s'étendait sur les monts. Maxime, devenu plus calme, brûla quelques papiers, prépara ses armes, régla ses comptes et s'endormit. Pendant ce temps, Semenko, qui d'en bas n'avait cessé de prêter l'oreille au bruit des pas précipités et des exclamations confuses de son maître, achevait de fermer les malles, et jetait un regard de joie sur les espaces azurés du ciel qui s'étendait au loin vers l'occident.

Le lendemain, vers trois heures, Maxime et Semenko, à cheval, quittèrent pour toujours Tiflis. Le lieutenant Daniel les accompagnait jusqu'à la première maison de poste ; il avait peine à se séparer de son cher compagnon.

— Qui se serait jamais attendu, Maxime, disait-il, à te voir partir si vite?... Moi qui pensais que tu resterais avec nous, toujours brave, joyeux, insouciant, bientôt colonel, bientôt prince !... Qui sait maintenant ce que tu deviendras en Ukraine ? Qui sait si nous nous reverrons jamais ?

— Ne désespère pas, Daniel, nous nous retrouverons peut-être.

— Enfin, quoi qu'il arrive, mon cher, reçois mes compliments. Te voilà devenu riche tout à coup, tu vas être grand seigneur, et si jamais je vais te voir, je te retrouverai engraisé, grave, un peu chauve, faisant le compte de tes récoltes ou rendant la justice à tes sujets... Et toi, vieux Semenko ! c'est toi surtout qui vas être enchanté de la métamorphose. Tu deviendras intendant, d'abord ; à toi la meilleure eau-de-vie des juifs, les plus grosses volailles des tenanciers. Franchement, je voudrais être à ta place pour quelque temps, vieux brave.

— Seigneur lieutenant, vous parlez suivant votre goût ; mais moi, je ne pense ni aux brocs des cabarets ni aux dons des paysans. Je pense à mon pays que je vais revoir, à ma vieille terre cosaque.

— Mais, je te l'avoue, là vraiment, mon cher Maxime, tu es un de ces hommes que je ne comprends pas, reprit Daniel avec une expression étonnée. Fuir parce que tu es devenu riche !... Abandonner une belle conquête pour l'amour d'une succession !... N'était-ce pas justement le moment de te déclarer à la princesse ? C'eût été très gentil et très neuf d'unir de beaux domaines d'Ukraine à une principauté de Géorgie, les Cosaques aux Lesghiens, le blé d'Odessa au vin de Kachétie... Et la princesse, entre nous, est si belle, si intéressante !...

— Mon cher Daniel, interrompit Maxime gravement, si tu veux me causer un réel plaisir, ne prononce pas le nom de la princesse. Quelque impression qu'elle ait pu faire sur moi, je la fuis ; elle me devient étrangère.

Mais elle est femme, noble et belle ; elle a droit à tout mon respect, et le respect m'ordonne de l'oublier.

— C'est dit, tu l'oublieras, n'en parlons plus... Mais quand tu auras effacé un souvenir aussi charmant, à quoi penses-tu, Maxime ?

— A l'avenir.

— Et que feras-tu en attendant l'avenir ?

— Je le préparerai.

— Cela sera bien fatigant, mon cher. Toujours marcher au même but, voir le même horizon, soulever le même rocher, c'est un travail monotone et une tâche écœurante. A cette vie-là, vois-tu, on perd ses cheveux, on prend des rides, en un clin d'œil on devient vieux.

— Tu te trompes, mon ami, répondit Maxime en souriant. Souvent on ne vieillit pas ; au contraire, on meurt d'abord. Mais qu'importe !... on a vécu.

— Ah ! ce sont là de tristes paroles, Maxime, et ce serait mal à toi de me les laisser pour adieux. Voici justement la maison de poste, au détour de ce rocher ; je vais te laisser là. Quittons-nous donc gaiement, s'il se peut, mon brave et cher ami, mon excellent camarade... Ah ! d'abord, fais-moi une promesse : tu m'écriras, Maxime ?

— Je te le promets.

— Ainsi j'y compte, mon bon ami... Nous voici arrivés à la station de poste, et le traîneau t'attend... Ne m'oublie pas ; encore une fois. Il faut que chacun de nous, si le sort le permet, puisse savoir où retrouver l'autre.



Les adieux.

— Tu le sauras, Daniel. Je t'en fais la promesse et ne l'oublierai point.

Le traîneau s'était approché, confortablement garni de fourrures, de coussins ; mais Nekrasa n'y monta point encore. Il se fit apporter une bouteille de vin de Champagne, tenu en réserve à la poste pour le passage des officiers ; il remplit son verre de ce liquide rosé, et l'éleva en l'air, à la rayonnante clarté d'un beau soleil de décembre.

— A ta santé, Daniel ! s'écria-t-il, à notre longue et fidèle amitié, à nos veillées de la tente, à nos combats dans la montagne, à nos nuits de fêtes, à nos jours de danger ! Nous avons tout partagé, en bons amis, en frères : bourses et cartouches, festins somptueux et lits de neige, provision de poudre et pans de manteaux aux bivouacs... Mais c'est fini maintenant, chacun de nous va vivre d'une autre vie. Ce qui m'attend là-bas, c'est le devoir, le combat, le travail, et je m'en vais résigné, vers le couchant, vers la patrie. Mais je te souhaite tous les biens et toutes les joies, avec une amitié nouvelle, et, si je ne dois plus te revoir, je te le répète en partant : A ton bonheur, Daniel !

— A tes succès, Maxime ! répéta le lieutenant attendri, en portant son verre à ses lèvres. En vérité, ajouta-t-il après un instant de silence, je n'aurais jamais cru qu'on pût boire un verre de champagne si tristement.

Alors Maxime lui serra la main en silence et s'élança sur son banc. Semenko se plaça sur le siège, les chevaux prirent le galop, les grelots commencèrent à tinter, le traîneau s'éloigna.

— Adieu, Maxime ! cria le jeune officier, resté immobile sur la route.

Un adieu lui parvint en réponse, déjà lointain et affaibli ; il écouta encore au loin le bruit du traîneau glissant sur la neige ; il en suivit du regard le profil sombre, qui se détachait sur la blancheur de l'horizon, et lorsqu'il cessa de le voir, il remonta à cheval et reprit le chemin de la ville.

Les chevaux du capitaine étaient ardents, rapides, la neige sèche et glissante, la route bien frayée ; le traîneau, léger comme une flèche, volait vers les montagnes dans la direction du nord-ouest. Les voyageurs s'arrêtèrent, vers le soir, dans un poste fortifié, ayant déjà franchi une distance considérable. Ils repartirent au lever de l'aurore, et vers midi ils avaient déjà laissé les premières croupes du Caucase bien loin derrière eux.

— Maître, disait Semenکو, encore quinze jours pareils, et nous reverrons la steppe. Nous serons à l'endroit où dorment mon grand-père et votre bisaïeul. Il me tarde de voir si la touffe de romarin a grandi et si le chêne s'est découronné.

Maxime ne partageait pas encore tout l'enthousiasme du vieillard, mais il commençait à se sentir l'esprit plus libre, le cœur plus résolu. Désormais, chaque pas qu'il faisait le rapprochait de la patrie.

Vers le soir, le traîneau des voyageurs atteignit le sommet de la montagne. De cette hauteur, on domine les nuages, qui paraissent comme de gros duvets d'un gris plombé, suspendus aux flancs du mont et voilant entièrement les profondeurs de la vallée. Un étroit

sentier, coupé dans cette énorme masse de granit, descendait en serpentant sur le revers de la montagne. La haute muraille de roc, droite et grise, le bordait d'un côté; de l'autre, il s'ouvrait à pic sur un précipice béant, à une profondeur de deux mille pieds. Sur ce sentier vertigineux, le traîneau glissait avec une prodigieuse rapidité; les voyageurs pouvaient dominer du regard la vaste obscurité de l'abîme. Le plus morne silence régnait sur ce mont escarpé. Tout se tait sur ces hauteurs; pas un gazouillement, pas un cri de quelque oiseau de passage, pas de frémissement d'insectes dans la mousse. Ces grandes roches sont lisses et nues; lorsque l'hiver cesse de les couvrir de son manteau de neige, l'été les laisse tristes, noires, désolées, dans leur majesté sauvage et leur morne aridité. Il y avait bien une cascade dans les profondeurs de la vallée; mais l'eau avait gelé sur les rochers, et la cascade elle-même avait cessé de gémir.

Soudain un coup de sifflet aigu et prolongé éclata dans le défilé, et s'éteignit peu à peu dans les profondeurs de la montagne. Semenko fit un bond, le cocher poussa un cri.

— Qu'allons-nous devenir, seigneur? C'est sûrement une embuscade.

Maxime n'avait pas fait un geste, pas dit un mot. Le corps penché en avant, le regard interrogateur, les lèvres entr'ouvertes, il suivait des yeux ce long ruban de neige, examinant chaque éminence, chaque excavation, chaque roche qui bordait le sentier, se demandant s'il allait voir paraître sur cette route blanche quelque troupe

de chasseurs d'aigles, ou quelque détachement ennemi.

Mais il n'attendit pas longtemps. Derrière un gros rocher qui s'avancait sur la route, à demi rongé par les pluies, brilla tout à coup le casque de métal d'un cavalier lesghien. On vit le cheval et l'homme descendre, avec une merveilleuse audace, la pente presque perpendiculaire de la montagne et venir se poster sur la route, à deux cents pas en avant du traîneau. Un second le suivit, puis un troisième, puis quelques autres encore ; en un instant, le sentier fut bloqué par une dizaine de montagnards.

Maxime jeta en arrière un regard désespéré. La retraite était impossible ; le peu de largeur de la route ne permettait pas aux voyageurs de retourner le traîneau sans s'exposer à rouler dans les profondeurs du précipice. Pourraient-ils d'ailleurs, sur une montée aussi raide, aussi dangereuse, s'élancer assez rapidement pour échapper aux atteintes de l'ennemi ? Pendant ce temps, les chevaux effarés, emportant le traîneau après eux, bondissaient à toute vitesse sur cette pente rapide, se rapprochant à chaque instant du groupe menaçant des Lesghiens. Le cocher, saisi de terreur, tenait les rênes d'une main défaillante, et balbutiait une prière à tous les saints de la *Lawra*¹ de Kiew.

— Semenko, dit Maxime, en ce moment, selon toi, que faut-il faire ?

— Nous rendre à ces bandits, seigneur, s'ils veulent nous épargner... A l'aide d'une forte rançon, nous nous

¹ Cathédrale russe qui renferme, à Kiew, les corps d'un grand nombre de saints de l'Église russe.

rachèterons un jour et nous pouvons espérer de revoir la patrie.

— Nous rendre, Semenko ? Mais ce qu'ils veulent de nous, est-ce notre or ?... Non, non, ce sont nos têtes, pour les mutiler ; nos mains, pour les clouer aux portes de leurs cabanes. Attendons-nous à mourir, à mourir en nous défendant. Regarde-les plutôt, les vois-tu préparer leurs armes ?

— Oh ! s'écria le vieillard avec une expression déchirante, mourir ici, comme des chiens, de la main de ces bandits, laisser nos os sur ce roc étranger, aux serres des corbeaux et des oiseaux de proie !... Nos âmes ne reposeront pas en paix, s'il faut abandonner nos cadavres sur ce roc, comme de sanglantes guenilles. O sainte Vierge de Tarnoruda, j'avais espéré une tombe à côté de celle de mes aïeux !

Semenko n'avait pas fini de parler lorsque les Lesghiens abaissèrent leurs armes et tirèrent. Un éclair jaillit, rapide et rouge ; l'écho de la montagne gronda ; les voyageurs entendirent le sifflement des balles passant au-dessus de leurs têtes. Un choc soudain arrêta, renversa le traîneau ; deux des chevaux s'étaient abattus ; le cocher expirant, la poitrine sanglante, était étendu sur la neige ; une balle avait troué l'épaule gauche de Maxime, et deux autres s'étaient arrêtées dans les plis de son manteau.

— Maintenant, allons mourir ! s'écria-t-il, se redressant et tirant son épée.

— Maître !... oh ! maître... vous voir mourir... mourir ainsi ! quand là-bas on vous attend, on vous chérit, on

vous appelle!... Mon Dieu, allez-vous donc le permettre?... Mon Dieu, nous avez-vous maudits?

— Je vais devant, Semenko. C'est à moi qu'ils en veulent, je porte l'uniforme. Quand ils m'auront tué, peut-être ils t'épargneront... Courage, Semenko, tu reverras l'Ukraine.

— Non, non, pas sans vous! s'écria le vieux serviteur avec l'accent du désespoir.

Il se leva en frémissant et voulut se jeter au-devant de son maître. Mais Maxime, plus prompt et plus vigoureux, l'avait déjà devancé. Il avait déchargé ses pistolets, lorsque les Lesghiens l'entourèrent; on vit alors sa brillante épée tracer un sillon dans l'air.

— Me voici, assassins! reprit-il; me voici, larrons et lâches! Ah! je n'ai peur ni de vos *kangians* ni de vos couteaux; j'ai déjà égorgé cinquante bandits de votre espèce... Je suis le capitaine Nekrasa, ne connaissez-vous pas ce nom?

A ces mots, une sorte de frémissement courut par toute la troupe.

— Le capitaine Nekrasa! murmura le chef. Frères, il faut l'épargner; ce n'est pas un Russe d'abord, et puis... c'est un brave entre les braves. Il sera notre prisonnier, nous le conduirons à notre khan Schamyl.

Mais Maxime n'entendait plus les paroles du chef ni les exclamations de la troupe. Atteint d'un coup de sabre à la tête, il était tombé sur la neige, perdant connaissance et fermant les yeux.

Semenko, en voyant les Lesghiens abaisser leurs armes et s'écarter avec respect, s'était précipité vers

son jeune maître, cherchant à éteindre le sang qui rougissait son front.

— Aide-nous à le relever ; nous allons le transporter à l'*aoûl*¹, lui dit le chef lesghien. Nous ne voulons pas qu'il meure ; nos mollahs et nos femmes connaissent les herbes qui guérissent.

Alors Semenko se releva, toujours silencieux, mais moins désespéré, et remerciant Dieu de lui avoir conservé la vie. Il soutint dans ses bras la tête ensanglantée de son cher maître, pendant que quelques Lesghiens croisaient leurs fusils pour en former une sorte de civière. Bientôt le blessé y fut étendu, et la petite troupe s'éloigna, gravissant lentement la montagne, entre les tertres de neige et les blocs de rochers.

.

Lorsque Maxime revint à lui, après un évanouissement qui avait duré quelques heures, il aperçut autour de lui, à son grand étonnement, des murs de brique bas et épais, des coussins rangés en piles, de longs fusils attachés en croix, des armes brillantes pendues à la muraille, une lampe de cuivre sur la table ; en un mot, tous les détails intérieurs d'un ménage lesghien. Mais Semenko était là, accroupi sur un coussin, le regard sérieux, les lèvres fixes, les mains pendantes, et, près du foyer, une femme voilée, à la taille élégante et fine, présentait à la flamme un vase de terre d'où s'échappait une odorante vapeur. Alors Maxime s'aperçut qu'il était étendu sur un tapis soigneusement bourré de foin, et que ses blessures avaient été bandées.

¹ Village circassien, fortifié.

— Je suis prisonnier, pensa-t-il. Pourquoi m'ont-ils laissé vivre ?

Et, s'appuyant sur le bras qui lui restait libre, il se souleva sur son lit. A ce mouvement, Semenko vint s'agenouiller auprès de son maître.

— O mon seigneur, murmura-t-il, ces bandits connaissent votre nom. Ils ont dit qu'ils ne voulaient pas massacrer un brave. On veut vous guérir pour vous envoyer à Schamyl.

— En vérité ? s'écria Maxime avec un accent de colère.

— Taisez-vous, maître, guérissez et espérez... Dieu est grand, nos cœurs sont résolus ; un jour, le chemin sera libre... Là-bas, le pays vous attend, vos frères vous appellent... Vivez, maître, vivez pour eux.

En ce moment, la femme voilée avait quitté sa place au coin du feu ; elle avait versé dans une petite coupe de porcelaine une partie du breuvage qu'elle préparait. Puis, s'approchant du lit, elle la présenta à Maxime.

— Buvez, lui dit-elle en russe, d'une voix très douce, à l'accent un peu incertain.

Maxime, sans paraître l'entendre, suivait des yeux, à travers le voile, les contours gracieux de la taille de l'inconnue, et considérait avec attention la main qui lui présentait le bol fumant.

C'était une petite main élégante, d'une blancheur nacrée, avec des doigts roses et un réseau délicat de veines nuancées d'azur.

— Buvez, maître, répéta Semenko. Il vous faut la force, il vous faut la vie... Cette femme paraît bonne et

tendre ; elle veut vous les donner toutes deux. Ayez confiance et acceptez-les...

Maxime alors prit la tasse et la vida lentement, les yeux toujours fixés sur le long voile blanc, sur la petite main :

— Pour revoir l'Ukraine, répéta-t-il machinalement.

Puis il retomba sur sa couche et s'endormit, voyant encore dans son rêve la flamme du foyer reluire, la vapeur monter en ondoyant, et l'inconnue s'incliner en s'approchant de lui.

VII

LA MAISON DE SOPHIE.

Dans tout le gouvernement de Kiew, et même encore au delà, le *dwór*¹ de Medówka, propriété de M. Pierre Madejski, était connu et renommé pour sa simple beauté, pour la grâce de son hospitalité cordiale et franche, et pour la fertilité des terres qui s'étendent alentour. Quelques ondulations de terrain, vertes en avril, dorées en août, toutes blanches en novembre, venaient mourir en cet endroit, enchâssant un beau lac bleu qui reluisait comme un saphir. Sur le premier plan de cette plaine immense, un haut monticule se dressait, toujours battu par le vent et couronné par la verdure. Il marquait le centre d'un champ de bataille ; il renfermait les os des vieux Cosaques morts jadis pour la défense du pays. Sa forme pyramidale, son isolement au milieu de la plaine,

¹ Habitation seigneuriale.

la croix de pierre qui s'élevait au sommet, lui donnaient, en effet, l'apparence d'un énorme mausolée.

Par delà le monticule, la steppe était plate et unie. Aussi loin que le regard s'étendit, il n'apercevait plus ni tertre, ni arbre, ni buisson ; rien qu'une grande surface verte au-dessous d'une large voûte bleue : ciel et terre, azur et verdure ; quelque chose qui rappelait l'Océan et qui parlait de l'infini, surtout lorsque soufflait du sud le vent de la mer Noire, lorsque les longues herbes, en ondulant, se penchaient et se relevaient, vagues vertes toujours agitées.

Seulement il n'y avait plus d'azur ni de verdure au moment où commence notre récit. Le ciel était gris, la terre était blanche : on entrait dans la semaine de Pâques 185. ; il gelait fort, il ventait sec, et le sol avait conservé sa dure enveloppe de neige. Les colonnes de fumée qui s'échappaient des cheminées du village, s'élevaient vers le ciel en nuages obliques, poussés et tourmentés par le vent, et un nuage de cette sorte, plus intense, plus noirâtre, s'amassant au-dessus du dwór, annonçait qu'on n'y ménageait pas le combustible et qu'on s'y chauffait royalement.

Dans la vaste cuisine, éclairée par d'énormes feux, de gros jambons cuisaient dans les marmites ; des agneaux entiers, des cochons de lait, des dindes et des coqs de bruyère, rôtissaient devant les hautes flammes rouges. Un marmiton faisait durcir des œufs, un autre dressait des gelées, un troisième *habillait* un lièvre pour le mettre en pâté ; d'autres apprêtaient des hures de sanglier, qu'ils rangeaient dans des marmites ; enfin,

une douzaine d'individus travaillaient de diverses manières à préparer le *bénit* de Pâques, qui devait, dans trois jours, réunir une centaine de convives.

Dans la boulangerie, les servantes de la maison, en chemise bien blanche, jupe courte et bras nus, apportaient des œufs dans de grandes corbeilles, les cassaient avec précaution, laissaient tomber les blancs à part, versaient les jaunes dans de vastes amas de farine, creusés au centre et relevés sur les bords. Puis elles y versaient du lait, y plongeaient leurs mains, en mêlaient la pâte, se hâtant, s'agitant, et, chose étrange ! se taisant, car la maîtresse était là.

M^{me} Thécla Madejska était une belle vieille femme de cinquante-cinq ans environ, au bonnet tuyauté bien blanc, à la robe grise bien nette. Un ample tablier de toile épinglé à son corsage, elle consultait du regard, de temps à autre, un livre qu'elle tenait à la main, et en tournait rapidement les pages, tout en surveillant, d'un œil attentif, les opérations des servantes, et même celles de sa fille, la gentille Sophie, occupée à peser de la vanille, des amandes et des écorces de citron.

C'était, après tout, un singulier répertoire que ce petit livre cartonné en bleu. Il débutait par une prière pour l'abondance des récoltes ; puis venait le récit de la mort de Sowinski, en 1831, dans l'église de Wola ; après cela, un secret pour acclimater les abeilles, une recette pour exterminer les punaises et une autre pour faire des confitures de côtes de melon. Puis un petit traité en vers sur les divers présages météorologiques de la grêle, du vent, de la pluie, et quelques préceptes

moraux touchant les devoirs de l'amitié; la meilleure manière de mariner les prunes et de fumer les tranches de saumon, un résumé des exploits de Jean Sobieski et du siège de Vienne, une dissertation sur les qualités des boulettes de maïs servant à engraisser les dindons, la recette pour fabriquer d'excellents gâteaux de Pâques, le récit des massacres de Human, et le détail des offrandes somptueuses contenues dans le trésor de Notre-Dame de Berdyczew. Il n'était donc pas étonnant que M^{me} Madejska s'embrouillât un peu dans la topographie de son livre, allant du roi Jean aux dindons, et des prunes marinées aux conseils à une amie.

A la fin, pourtant, elle tomba sur ce qu'elle cherchait, et, ouvrant le livre tout grand au chapitre *Babas*, elle assujettit ses lunettes solidement, et lut à haute voix l'article concernant les gâteaux de Pâques.

« Prenez deux litres de farine, une quarantaine d'œufs; quatre pintes de lait; mêlez le tout; ajoutez-y quatre livres de sucre, deux onces de cannelle, une once de clous de girofle et une demi-once de safran; pétrissez le tout en une pâte molle et bien unie. »

— Fais donc attention, Nastka; tu vois bien qu'il y a des grumeaux... Ces raisins secs ne vaudront rien, Horpyna; ils sont trop noirs, et puis tu n'as pas enlevé les queues.

« Puis une demi-livre d'amandes grillées. »

— Barbe, aie soin de ne pas les rôtir.

« Et, le tout bien mêlé, versez-le dans un moule, laissez gonfler la pâte et mettez le mélange au four, en ayant soin de ne pas l'agiter. »

— Allons, bien ! voici justement Tatienne qui jette la porte comme un ouragan et qui va faire retomber la pâte.

Ici, M^{me} Madejska, fermant le livre avec gravité, alla considérer en détail la besogne de chaque travailleuse.

— Marianne, ce sucre doit être broyé plus fin. Combien as-tu encore d'œufs à peindre, ma petite Sophie ?

— Maman, deux ou trois à peine, répondit la jeune fille, en se retournant.

Et, de la main, elle montrait à sa mère une élégante et vaste corbeille, où les œufs durs, savamment rangés, portaient sur leurs coquilles blanches des guirlandes de roses, des gerbes d'épis, de petites maisons entourées d'arbres, des oiseaux couchés dans leurs nids, des bateaux flottant sur un lac ; mille fantaisies, enfin, esquissées à la hâte par un pinceau habile et léger.

— C'est bien, ma fille ; je pense qu'il y en a assez... Il faudrait maintenant disposer dans la salle à manger les mottes de beurre, les gâteaux de miel, avec les branches de verdure. Tiens, Oxana va laisser le pilon afin d'aller t'aider.

Oxana obéit aussitôt et sortit avec sa maîtresse. A peine eurent-elles quitté la chambre aux gâteaux, en refermant la porte fort doucement, pour ne pas éveiller les craintes de la bonne dame, que Sophie passa un de ses bras autour du cou de la jeune servante, et, l'attirant à elle, la regarda dans le blanc des yeux.

Il eût été difficile d'imaginer un groupe plus pittoresque, un contraste plus charmant.

Sophie était petite et blonde ; ses cheveux légers,

soyeux, couleur d'or, retenus par un ruban bleu noué sur le front, flottaient en longues boudes sur un cou blanc et mince. Les yeux de Sophie étaient grands, rêveurs et doux, de la même couleur que son ruban, et délicieusement encadrés par de longs sourcils noirs. Ses joues, à peine rosées, laissaient briller dans tout leur éclat ses lèvres fines, d'un rouge vif ; son front était pur, son sourire calme, son profil délicat. Tout en elle était mignon, angélique, presque enfantin ; véritable type de chérubin, vision poétique et charmante.

Oxana, plus grande et plus robuste, avait le charme un peu altier des filles cosaques, la beauté brune des femmes d'Ukraine. Ses yeux noirs étaient parfois étincelants, d'autres fois sombres ; sa bouche, admirablement modelée, d'une rougeur chaude et mate comme celle du corail, avait une expression de fierté dédaigneuse et de ténacité hardie. Son teint, très uni, ne se colorait presque jamais ; mais il attirait le regard par sa blancheur dorée. Sa belle chevelure noire, très épaisse et lustrée, se partageait en bandeaux sur le front, puis retombait en longues tresses. Un ruban rouge, cousu sur un morceau de carton en forme de diadème, était posé en couronne, très haut sur le front, et se rattachait en arrière par des flots de rubans de mille couleurs, épars sur le cou et formant un fond des plus avantageux à ce beau visage un peu sombre. Puis les colliers de corail d'Oxana faisaient admirablement ressortir la blancheur de sa chemise plissée au cou, et le velours de son corset noir. Enfin, sa jupe rouge, assez courte, bordée d'un lacet d'argent, et ses bottines jaunes à glands



Oxana, pourquoi es-tu triste?

noirs, avaient un éclat singulier et un caractère piquant, surtout auprès de la longue robe de soie noire et des petits souliers de satin que portait la blonde Sophie.

— Oxana, dit la jeune fille noble en arrêtant soudain sa compagne et en la considérant avec attention, Oxana, pourquoi es-tu triste ?

— Moi triste, demoiselle ?

— Oui, oui, je le vois bien, tu ne pourrais pas me tromper. Tantôt je te regardais : tes yeux étaient fixés sur le grand bol plein de blancs d'œufs ; mais tu ne le voyais pas, et sous tes paupières s'amassaient des larmes... Tu ne pleures pas sans sujet, Oxana ; dis-moi donc ce qui a pu t'affliger ?

— Oh ! demoiselle, rien en vérité... Une toute petite peine, une tristesse qui passera vite.

— Tu ne peux pas me la confier?... C'est mal à toi, bien mal. Est-ce que nous n'avons pas tout partagé, dis-moi, le travail et les jeux, les joies et les peines, depuis les jours où nous étions enfants ?

— Ah ! demoiselle chérie, que vous êtes tendre et bonne ! s'écria Oxana, en baisant les mains de Sophie. Hélas ! je vais vous conter tout ; mais j'ai peur d'être grondée... Je suis triste et je pleure, parce que c'est bientôt Pâques... et...

— S'affliger de saluer nos belles Pâques, la fête où tant d'amis se rassemblent !... Mais, les autres années, tu ne t'attristais pas ainsi, Oxana ; quand tu nous aidais à teindre les œufs et à faire les gâteaux, tu étais la première à chanter et à rire.

— Oui, mais maintenant je ne chanterai plus, répondit Oxana en soupirant. Après Pâques, les hirondelles reviennent et les fiancés se marient ; après Pâques, il me faudra tenir ma promesse, épouser Harasym !... Demoiselle, il me semble que cela me brisera le cœur... Et pourtant je l'avais promis.

— Comment ! s'écria Sophie avec surprise, tu ne veux plus épouser Harasym, le Cosaque de mon père, qui est si courageux, si dévoué, si beau, auquel ta mère autrefois t'a fiancée ?

— Oh ! demoiselle, je le sais, vous allez m'appeler folle, ingrate, méchante, et, je le sens bien, maîtresse, vous aurez raison ! Oh ! si vous vouliez seulement avoir pitié de moi et parler au seigneur, afin que Harasym se cherche une femme et que je reste fille !... Votre promesse me consolerait, et me donnerait d'abord bien plus de courage pour vous parler.

— Écoute, Oxana, je te le promets ; je ferai tous mes efforts pour obtenir ce que tu demandes. Mais, au moins, donne-moi une raison ; je ne puis pas déranger sans motif les projets de mon père et de ton fiancé.

En ce moment, les deux jeunes filles entraient dans la salle à manger. Sur la longue table étaient jetées des brassées de branches de pin, de houx, de romarin et de genévrier, et des pousses de jeune verdure, pâle encore, éclosé à la chaleur de la serre. Il fallait en choisir les rameaux les plus touffus, les plus verts, pour en faire un lit moelleux, odorant, aux hures de sanglier, aux agneaux rôtis, aux jambons bruns et roses.

Ce fut Sophie qui se chargea de ce soin. Quant à Oxana, tout en mettant le beurre frais dans les moules et en l'étalant sur les plateaux de verre, elle essuya ses beaux yeux noirs du coin de son tablier et commença timidement son histoire.

VIII

LA CONFIDENCE.

« Chère demoiselle, il est vrai que, lorsque nous étions tout petits, Harasym et moi, nous nous aimions beaucoup et nous étions toujours ensemble. Il était très bon pour moi, d'abord ; il m'apportait des bouquets, il me dénichait des colombes. Quand nous allions chercher des champignons dans la forêt, il cueillait des branches de lierre, des baies de sorbier, et m'en faisait des couronnes. Lorsque ma mère m'envoyait puiser de l'eau, c'était lui qui portait ma cruche, et qui, pour m'éviter la fatigue, tirait les seaux du puits. Quelquefois, quand nous passions devant une petite cabane propre et tranquille, avec un beau verger et un gazon touffu à l'entour, Harasym me la montrait, en disant : « Nous en aurons une comme celle-là, pour nous deux, plus tard. »

« Mais plus tard, mademoiselle, on me choisit pour être près de vous, on m'amena au dwór. Ce fut là que je vis, que j'entendis, que je parvins à comprendre, toutes sortes de choses que je ne connaissais pas... Harasym, qui ne m'avait pas oubliée, continuait à me

parler de ses projets, de sa tendresse; il me disait que, lorsque nous serions mariés, nous cultiverions un jardin, nous élèverions des abeilles, nous aurions un bateau sur le lac, et... tous ces projets-là me faisaient soupirer... J'avais encore pour Harasym beaucoup de bonne amitié et de bon souvenir; mais mes souhaits s'envolaient ailleurs. J'avais entrevu d'abord tant d'autres choses en rêve... et puis... j'avais vu... un jour... un peu de ce que j'avais rêvé...

— Comment cela?... Qu'as-tu donc vu?... Dis-le-moi vite, interrompit Sophie, que le récit d'Oxana commençait à intéresser.

— Vous vous rappelez, demoiselle, que je suis allée en pèlerinage à l'automne dernier; bien loin, bien loin d'ici, à Tarnoruda, en Podolie. J'avais fait un vœu pour la guérison de mon père, qui avait été bien malade; je partis avec d'autres pèlerins qui faisaient aussice voyage, et nous fûmes un mois avant d'arriver au sanctuaire du Seigneur Jésus.

« J'avais tant marché, qu'au retour, je me trouvai un peu malade, et l'on dut me laisser reposer quelques jours dans un bourg de ce pays. Lorsque la santé me revint, je partis du village à pied, un matin de novembre.

Il faisait déjà bien froid depuis quelques jours; dans la grande plaine que je traversais, la terre était sèche et dure, et une rivière large et rapide, qui coule près du chemin et qu'on nomme le Boh, charriait de gros glaçons. Mais moi, je marchais vite et je ne sentais pas le froid; j'avais même laissé tomber le capuchon

de ma fourrure d'agneau, et, sur mes cheveux seulement, j'avais roulé en turban mon mouchoir rouge.

« Pendant quelque temps, je ne vis pas un homme, pas un troupeau, pas un arbre, sur la plaine. Puis il me sembla voir s'avancer quelque chose tout au bout de l'horizon, et je distinguai enfin plusieurs hommes à cheval galopant au bord de la rivière.

« Il y avait sur les rives quelques buissons de mûres et de hautes touffes de roseaux. Bientôt je les vis s'agiter, un bruit d'ailes se fit entendre, et un grand héron gris, à aigrette blanche et noire, en sortit en volant, et s'éleva bien haut sur le ciel bleu. Dans le même instant, au milieu du groupe des cavaliers, s'éleva un autre oiseau bien plus petit, aux ailes rapides, au plumage fauve. Droit et raide comme une flèche, je l'aperçus montant dans l'air, et j'entendis au-dessus de ma tête une clameur plaintive : c'était le héron qui s'alarmait, en reconnaissant son ennemi. Puis je vis l'oiseau brun s'élançer et le poursuivre, tourner autour de lui, tantôt planer au-dessus, tantôt voler au-dessous, et, toute curieuse de ce spectacle que je n'avais jamais vu, je fixai mes yeux en haut et cessai de regarder la plaine et la rivière.

« Le héron effrayé tournoyait, hésitait, tantôt s'élançait en avant, tantôt s'envolait en arrière ; mais il volait pourtant moins vite et moins haut que son ennemi... Soudain, celui-ci bondit vers les nues et sembla se perdre dans l'espace ; je ne le voyais plus que comme un tout petit point noir... Puis le point redescendit, raide, foudroyant, grossissant de seconde en seconde,

et tomba de tout son poids sur le héron qui déployait ses ailes. Le pauvre oiseau fit un effort convulsif, comme pour secouer la bête de proie ; mais il n'y put parvenir, et je le vis tomber, tomber rapidement vers la terre, perdant son sang et son plumage sous les coups de bec du cruel oiseau brun.

« Tous deux vinrent s'abattre non loin de moi, sur une touffe d'herbes de la plaine ; je m'étais caché la figure pour ne pas voir mourir le pauvre héron ensanglanté. Soudain le galop des chevaux retentit à mon côté, et, laissant retomber mes mains, j'aperçus autour de moi les cavaliers rangés en cercle.

« — Eh ! eh ! s'écria l'un d'eux, il me semble que nous avons fait double chasse.

« — Voilà qui vient à point, fit un autre. Nous qui n'avons pas de servante dans notre petite maison du bois !

« — Il ne nous reste qu'à emporter notre double butin... Xavier a déjà ramassé l'oiseau ; nous mettrons cette paysanne ici.

« Je vis alors qu'il se rangeait sur sa selle, pour me placer devant lui sur son cheval, et je crus d'abord que ces jeunes seigneurs voulaient rire.

« Je les regardai tous ; ils riaient, en effet, mais d'un rire méchant qui inspirait la crainte et qui glaçait le cœur. Un seul était resté sérieux et se tenait un peu à l'écart... Il devait être le plus noble, et il était certainement le plus beau de tous, demoiselle. A son cou, au-dessous de ses moustaches noires, brillait une grosse pierre rouge, transparente, que vous appelez,

je crois, un rubis. Sur sa toque de velours se dressait une belle plume noire et grise, une aigrette de héron... Sans parler, il me regardait, et d'une main caressait sa moustache, tandis que de l'autre il jouait avec le manche de son poignard.

« Je le considérai quelque temps, et il me sembla que sa vue me rendait un peu de confiance et de courage.

« Mes bons seigneurs, laissez-moi passer, dis-je alors. Je suis une fille d'Ukraine ; je demeure bien loin d'ici, et je m'en retourne maintenant à la maison de mon père.

« — Eh ! laisse là ton père. Quel plaisir d'aller soigner un vieux serf à cheveux gris ? Nous avons un beau petit dwor de chasse, mais pas de femme pour le garder. Nous t'y installerons, tu seras notre ménagère.

« — Nous te donnerons de beaux rubans.

« — Des mouchoirs à fleurs rouges et des colliers de corail.

« En parlant ainsi, ils se rapprochaient de plus en plus, et l'un d'eux, pour m'enlever, jeta son bras autour de mes épaules. Alors la colère et l'effroi me firent pousser un cri. Sans rien craindre, sans rien considérer, je m'élançai en avant, je me précipitai au milieu des chevaux et je me trouvai courant sur la plaine.

« Le galop des chevaux retentit derrière moi, menaçant, rapide et tout proche... Alors je n'eus plus qu'une pensée, je ne vis plus qu'un moyen de salut : la rivière. Je franchis d'un bond les roseaux, et je m'élançai sur les premiers glaçons.

« Mais je n'y voulus pas rester, j'étais trop près du rivage. Je vis d'autres morceaux de glace s'avancer ; entre eux et moi, la rivière roulait ses eaux profondes. Dans ce moment-là je ne craignais pas de mourir, et je m'élançai.

« Alors j'entendis une voix crier sur le rivage : « Vous êtes des fous, la pauvre fille va se noyer », et je vis le beau cavalier à l'aigrette de héron sauter à bas de son cheval et se diriger vers la rivière. Je pensai que s'il me rattrapait, ce serait pour me rendre aux autres, et ma peur redoubla quand je le vis à son tour s'élançer par-dessus les roseaux... Alors, ne sachant plus ce que j'allais devenir, je cessai de regarder derrière moi ; je sautai en avant, je sautai encore, jusqu'à ce que mon pied rencontrât un glaçon trop fragile. Il se brisa en mille éclats, s'enfonça sous mon poids ; le froid de la rivière me saisit, et l'eau, en me recouvrant, bouillonna à mes oreilles.

« Pourtant il me sembla, en tombant, qu'une main saisissait ma main... Ensuite, je ne me souviens plus, ma force était partie, et mes yeux s'étaient fermés avant que j'eusse touché le fond de la rivière.

— Pauvre Oxana, interrompit ici Sophie profondément émue, tu ne m'avais jamais dit que tu eusses failli mourir !

— Non, demoiselle, parce qu'il aurait fallu parler en même temps de celui qui m'a sauvée. Enfin, lorsque je revins à moi, dans une hutte de pêcheur toute basse et enfumée, la première chose que j'aperçus, ce fut un grand feu bien flambant. J'étais étendue à côté, enve-

loppée dans le manteau de fourrure du jeune gentilhomme. Lui, je le vis assis à côté de moi, à la clarté de la flamme, étendant son manteau sur mes mains, afin de les réchauffer.

« — Pauvre petite ! me dit-il alors, mes compagnons vous ont fait bien peur et vous ont exposée à un danger très grave.

« Alors je me rappelai ma chute dans la rivière et cette main qui avait saisi ma main, et je compris pourquoi il était là.

« — C'est vrai, dis-je, ils étaient bien cruels. Mais vous, vous êtes bon, généreux ; vous avez eu pitié de moi et vous m'avez sauvée.

« — Mon enfant, répondit-il en secouant la tête, je ne suis ni bon ni généreux, ainsi que tu le crois ; mais je suis loyal, du moins, et je tiens mes promesses. Jadis une femme m'a sauvé d'une grande peine, d'un long malheur, et elle m'a demandé simplement d'être bon et compatissant pour d'autres femmes, en souvenir d'elle... Je n'ai pas oublié mon serment, et je l'ai tenu aujourd'hui. Si, au lieu de nous fuir, tu t'étais jetée à nos genoux, en pleurant, ou que, dans ta course, tu eusses reculé en voyant la rivière, eh bien, je crois que je n'aurais pas eu pitié de toi, pauvre fille... Mais ta résolution m'a touché, ton désespoir m'a vaincu. Je t'ai sauvée, je t'ai cachée ici ; je t'ai soignée et gardée comme si j'avais été ton frère. Je ferai pour toi ce que tu voudras : parle, tu n'as qu'à commander.

« Moi, moi, lui commander, quand j'aurais été si heureuse de l'avoir pour maître et de lui obéir ! quand

il me regardait avec tant de compassion, de douceur et de tendresse !

« — Seigneur, lui dis-je en lui baisant la main ¹, je n'ai rien à vous demander, je ne suis qu'une pauvre esclave... Si je n'avais pas une bonne maîtresse et un vieux père loin d'ici, je voudrais, pour vous rendre grâces, vous servir, travailler pour vous pendant toute ma vie... Je serais heureuse de vous suivre, de soigner votre mère, si vous l'avez encore, ou votre femme, si vous êtes marié, ou votre cheval, si vous ne l'êtes point...

« — Cela pourra s'arranger, reprit-il en me souriant avec douceur. Je puis bien, après tout, te demander à la maîtresse. Comment dis-tu qu'elle s'appelle ?

« — Elle se nomme Sophie, Sophie Madejska.

« — Sophie Madejska ! répéta-t-il, en se relevant et en reculant d'un pas. Et elle habite l'Ukraine ?

« — Oui, le dwór de Medówka, dans le district de K***.

« Il rougit en entendant ces paroles, et puis se rassit en pâlissant.

« — Non, non, reprit-il au bout d'un instant. Mon enfant, c'est impossible ! Tu dois avoir une bonne maîtresse, une gentille amie, n'est-ce pas?... Eh bien, il faut oublier ce qui s'est passé aujourd'hui, ce que je te disais tout à l'heure... Nous ne nous reverrons plus, mon enfant... Je t'aurais bien prise assurément à tous

¹ Les serfs russes et polonais, à quelque sexe qu'ils appartiennent, témoignent leur respect aux nobles en leur baisant la main, ou bien le bord de leur habit.

les maîtres de l'Ukraine; mais je ne veux pas causer ce dommage à Sophie Madejska... Non, non, ce serait impossible. Et, puisqu'il faut que tu t'en ailles, le mieux serait de partir bientôt.

« En disant ces mots, il entr'ouvrit la porte de la cabane. Il approcha de ses lèvres un sifflet d'argent attaché aux brandebourgs de sa tunique, et en tira un son aigu. J'entendis des pas s'approcher.

« — Iwan, dit alors le jeune gentilhomme, tu vas aller au dwór demander une *bryczka* attelée de deux chevaux. Semenko me l'amènera ici, à cette cabane. Qu'on y mette un flacon de vin et quelques provisions.

« Le domestique s'éloigna; alors le beau seigneur rentra dans la cabane. En attendant le chariot, il s'assit auprès de moi et me questionna sur mon pays, sur mes maîtres et sur mon enfance. On eût dit qu'il avait habité déjà cette contrée, et qu'il trouvait du plaisir à en entendre parler... Et moi, qui le connaissais si peu, je lui disais tout, je lui peignais tout; il me semblait causer avec quelqu'un qui fût plus qu'un ami, et comme un frère... Ah! je serais restée ainsi, à lui parler, combien de jours! sans compter le temps, sans regretter le village! Et lui, il paraissait de même si heureux, si ému; il souriait d'un si doux sourire en m'écoutant parler!

« A la fin, le chariot arriva... Quand j'entendis le bruit des roues, je m'inclinai, en pleurant, devant le jeune gentilhomme, je voulus lui baiser la main; mais lui, faisant un pas en arrière, me souleva dans ses bras, me plaça dans le chariot.

« — Adieu, petite Oxana, me dit-il avec un regard amical et un geste gracieux ! adieu, gentille enfant. Pars, sois heureuse, oublie.

« Et moi, je voulais lui parler ; mais je fondis en larmes. Puis je vis le beau seigneur s'éloigner en m'envoyant un adieu, et, quand il eut disparu, je ne vis plus rien alors, ni plaine, ni chevaux, ni arbres, ni rivière, seulement lui, toujours lui, qui essayait de réchauffer mes mains entre les siennes, et souriait en me regardant.

« Depuis ce temps, demoiselle, je n'ai pas cessé de le voir avec les yeux de mon âme. Je voudrais bien lui obéir ; mais il m'a dit de l'oublier... Hélas ! c'est la seule chose que je ne puisse faire. »

Ici, Oxana s'interrompit, voilant ses yeux pleins de larmes, de ses mains qui tremblaient un peu.

— Tu ne le peux pas maintenant, mais certainement tu le feras un jour, répliqua doucement Sophie. Ma pauvre Oxana, comment conserver le souvenir d'un homme qu'on n'a vu qu'une fois?... Mais comment se fait-il que ce beau cavalier connaisse mon nom, et témoigne tant de considération pour ma personne ? Ceci me semble singulier... Après tout, ce seigneur peut être un ami de mon frère. Lorsqu'Alexis sera de retour, je lui en parlerai... Mais, à propos, Oxana, tu ne m'as pas dit son nom ?

— Son nom ? je ne le sais pas, répondit la jeune serve avec une amère tristesse. Oh ! j'aurais tant voulu l'entendre pour l'avoir toujours sur les lèvres, pour le garder dans mon cœur ! Mais moi, qui ne suis qu'une

esclave, je n'ai pas osé le lui demander... Et puis, il n'a pas besoin de nom pour rester toujours présent dans ma mémoire. Demoiselle, vous savez maintenant pourquoi je me sens triste et découragée, pourquoi je voudrais rester près de vous, ne jamais vous quitter, ne pas me marier, même avec Harasym.

— Pas maintenant, en effet, dit Sophie avec douceur. Pauvre Oxana, essuie tes larmes... Je prierai mon père, je te le promets, de retarder ce mariage, et tu me promets, toi, en retour, de faire tous tes efforts pour oublier cet inconnu ?

— J'essaierai, demoiselle, dit Oxana en poussant un soupir. Puis elle ajouta en se détournant : « Pourtant l'hirondelle n'oublie jamais le toit où, pour une saison, elle s'est réjouie et reposée. »

IX

LE FESTIN DE PAQUES.

Deux jours plus tard, le dwór de Medówka était plein de foule, de mouvement, de bruit. Depuis le matin, de longues files de traîneaux, aux fringants attelages ornés de grelots et de rubans, avaient amené sous le toit de M. Madejski tous les voisins, les amis, les parents, qui s'étaient empressés d'accourir, chez lui d'abord, pour y partager l'œuf béni, le miel et l'agneau, pour y fêter joyeusement le Christ qui ressuscite et le printemps qui s'éveille.

Au premier coup de midi s'ouvrirent à deux battants

les portes de la salle. Au centre de cette vaste pièce, occupant le milieu de la longue table pliant sous le poids des mets, se voyait un agneau pascal de grandeur naturelle, entièrement moulé en beurre et recouvert d'une fine et blanche toison. Entre ses pattes croisées il portait un étendard rouge, monté sur une hampe d'or, au-dessus de laquelle s'élevait la croix, symbole de salut, d'espérance. Puis autour de l'agneau étaient rangés, sur la table, les jambons énormes, les dindes rôties, les pâtés de lièvre, les hures de sanglier, dans des plats blancs à filet d'or, émaillés de fraîche verdure et séparés les uns des autres par des gâteaux de miel, au jus doré, par les dômes de fromage blanc et les coupes de beurre frais, par les corbeilles d'œufs colorés, par les *babas* énormes se dressant comme des tours, et par les bouteilles de champagne au goulot argenté, avec les verres étroits et longs où bientôt le vin mousseux allait pétiller, où l'eau-de-vie dorée de Dantzig allait reluire.

Ce fut le vieux curé de Medówka qui, précédant tous les assistants, pénétra le premier dans la salle. Tenant le goupillon à la main et suivi d'un enfant portant un vase d'argent plein d'eau bénite, il fit le tour de la table, bénissant le festin somptueux par lequel les convives allaient rompre la longue abstinence du carême.

Alors M^{me} Thécla Madejska, portant une belle robe de velours noir et un bonnet de riche dentelle, s'approcha d'une petite table placée dans un coin, y prit un œuf bénit dont on avait enlevé la coquille, le divisa en plusieurs parts, et se mit en devoir d'en offrir les mor-

ceux aux personnes les plus considérables de l'assemblée. L'usage voulait qu'elle le partageât d'abord avec son mari. Aussi M. Pierre Madejski, beau vieillard à tête grise, s'avança avec un sourire attendri et dans une attitude pleine de recueillement. Il ne pouvait oublier, le digne cœur — et à ce moment, chaque année, il se rappelait toujours — que, bien des années auparavant, à pareille époque, la petite main de M^{lle} Thécia Wronowska lui avait offert le premier morceau d'œuf bénit, et qu'une voix bien douce lui avait dit en même temps : « Avec mes meilleurs souhaits, monsieur Pierre ! » Et, depuis ce jour-là, depuis si longtemps, à chaque Pâques, ils avaient partagé l'œuf ensemble, souvent dans le calme et la joie, parfois dans l'inquiétude et la douleur, mais toujours avec un amour constant, une foi tendre et une confiance bénie. Aussi avait-il quelques bonnes larmes dans les yeux, lorsqu'il prit un morceau d'œuf et le porta à ses lèvres, en disant :

— A ton bonheur, à ta santé, ma bonne chère Thécia !

— A ta longue vie, à ton bonheur, mon bien-aimé Pierre !

Puis M^{me} Madejska se détourna, tenant toujours l'assiette. Alors son cœur se serra, son visage revêtit une profonde expression de tristesse. Son fils n'était pas là ; elle ne pourrait pas lui offrir son morceau d'œuf bénit.

— Depuis vingt-sept ans, murmura-t-elle, voici la première fois que nous ne célébrons pas la pâque ensemble. Toujours, à pareille époque, quelque loin qu'il

fût, il accourait à la maison... Où donc est Alexis? Que peut-il lui être arrivé?

Puis, faisant tous ses efforts pour dissimuler son inquiétude et sa douleur, elle tendit l'assiette et l'œuf à sa fille, qui s'approchait d'elle.

— Sois heureuse, ma petite Sophie, dit-elle en la lui présentant.

— Merci, mère... Je serai toujours heureuse, à coup sûr, tant que je serai près de vous... Mais prenez courage, maman chérie; ne vous affligez point. Je suis certaine que bientôt nous allons voir venir mon frère. Et, tenez, je vais me mettre près de la fenêtre, je l'apercevrai tout d'abord.

Mais l'aimable petite Sophie perdit sa joyeuse assurance et sa cordiale gaieté, dès le premier regard qu'elle jeta sur la campagne. La steppe, ce jour-là, ne conservait pas la moindre trace de son aspect ordinaire, grandiose par son calme et par sa majesté. Sur le fond brumeux du ciel, de gros nuages gris foncé roulaient impétueusement, chassés et tourmentés par le souffle du vent d'orage; à la surface de la plaine, la neige s'amassait en monceaux, se gonflait en vagues blanches, s'envolait en tourbillons.

Aussi, dans ces ténèbres, dans ce naissant orage, les jolis yeux attristés de la mignonne Sophie ne distinguaient rien, en effet; mais à son oreille retentit bientôt le bruit perçant d'une sonnette tintant sur la plaine de neige.

— Maman, oh! voici un traîneau, cria-t-elle en battant des mains. C'est sans doute Alexis qui arrive...

Mais non ; ce n'est pas lui, murmura Sophie au bout d'un moment, avec un accent de tristesse... Ah ! une casquette galonnée !... Un officier russe, je crois... Ah ! je le reconnais, c'est le colonel Steinköller.

Le colonel Steinköller, fils d'un général allemand occupant un poste élevé dans l'armée russe, était un bel homme de trente-cinq ans environ, qui paraissait fier de ses épaulettes d'or, fier de sa barbe noire, fier de son délicieux accent français, des beaux domaines de son père en Courlande et de son énorme influence à Pétersbourg. Aussi parfois regardait-il d'un peu haut la noblesse polonaise, où il était moins accueilli que toléré, et dont il s'était fait médiocrement aimer, quoiqu'il ne se fût jamais fait craindre. Cependant, depuis deux ans que son régiment tenait garnison à Kiew, il avait paru rechercher la société de M. Pierre Madejski, et il n'avait jamais manqué une occasion d'être agréable aux membres de la famille. Il envoyait à Medówka des plantes rares, du gibier de ses chasses ; il se présentait dans la loge de ces dames, chaque fois qu'elles se trouvaient au théâtre à Kiew. Son éducation était soignée, ses manières irréprochables, son tact exquis ; c'était, en un mot, un homme du meilleur monde. Peut-être ne croyait-il guère, au fond de son cœur, au dévouement, à la vertu, à la douceur du sacrifice ; mais il se fût bien gardé de les railler, c'eût été mauvais ton. Son code était celui du savoir-vivre ; la petite diplomatie mondaine composait tout son *Credo*. La seule chose qu'il ne pardonnât jamais à l'un de ses semblables, c'était d'être original ; un original, à ses yeux,

était un homme jugé et condamné, un individu dangereux dont on n'avait rien à espérer et tout à craindre.

Gustave von Steinköller avait, pour cette solennelle occasion du *bénit*, revêtu son plus gracieux sourire et son plus brillant uniforme. Il s'approcha de M^{me} Madejska avec une inclination profonde, lui baisa respectueusement la main, accepta le morceau d'œuf qu'elle lui présentait, et lui offrit ses vœux et ses hommages.

— Ni le vent ni la neige, ajouta-t-il, n'aurait pu l'empêcher de venir exprimer ses souhaits et prendre part au *bénit*. Il aurait plutôt crevé dix chevaux et manqué l'exercice, ou même la revue.

Puis il alla serrer la main de M. Madejski, le complimenta sur sa brillante réception, sur son aimable fête; il salua les principaux hôtes, et finit par se ménager un bon moment de liberté pour causer avec Sophie.

C'est que, depuis son entrée, en effet, il ne voyait qu'elle, bien qu'il se montrât pour tous si empressé et si poli. Debout telle qu'elle était là, un peu rêveuse et toute blanche auprès de la fenêtre, avec ses nœuds bleus, ses longues manches de gaze flottant comme des ailes et lui donnant l'air d'un ange prêt à s'envoler, elle lui paraissait plus belle et plus charmante que toutes les grandes dames qu'il avait vues à la cour, dans les fêtes, avec leurs regards pleins d'étincelles et leurs corsages semés de brillants.

Sophie, malgré sa tristesse, l'accueillit avec plus d'empressement qu'elle ne le faisait d'ordinaire.

— Vous venez de Kiew? lui demanda-t-elle. Avez-vous vu mon frère? Que fait donc Alexis? Il n'est

point encore arrivé, et jusqu'à présent rien ne l'avait jamais empêché de se trouver avec nous pour le festin de Pâques.

— Mademoiselle, je l'ai vu hier; il se disposait à partir. Quelque affaire importante l'aura retenu sans doute; autrement, aurait-il pu manquer à votre belle fête de famille, où tous, réunis à la même table, échan- gent les mêmes vœux d'espérance et d'amour?... Et à ce sujet... j'y pense... vous seule, de toute votre famille, n'avez pas partagé avec moi l'œuf bénit : vous ne m'avez pas accordé cette marque si précieuse de bienveillance et d'amitié.

Sophie, en soupirant, s'approcha de la table, y prit l'assiette et l'œuf bénit, et les présenta à Steinköller, en disant :

— Monsieur le colonel, je vous souhaite toute la prospérité que votre cœur désire.

— Et moi, mademoiselle, tout le bonheur que vous méritez... Mais me permettriez-vous?...

— Vous restez éloigné de la table, monsieur, dit la jeune fille, interrompant le discours qui allait suivre. J'espère pourtant que vous voudrez faire honneur à notre festin.

— Certes, mademoiselle, avec le plus grand plaisir.

Alors Sophie et son compagnon quittèrent l'em- brasure de la croisée. Autour de la table, tous les convives étaient en pleine activité; ils dépeçaient les jambons, découpaient les volailles, éventraient les pâtés, démolissaient les pyramides de babas, écornaient les gâteaux de miel, mangeant, buvant debout, et ne s'interrom-

pant que pour saisir, sur les plateaux circulant dans la salle, les longs verres pleins de champagne rose, les coupes de bordeaux vermeil ou de tokai doré.

Enfin, M^{me} Madejska annonça que le café était préparé dans le salon, et, prenant le bras d'un vieil ami, quitta la salle la première pour montrer le chemin à ses hôtes.

Le grand salon de Medówka était tout resplendissant de fleurs, de glaces, de lumières. Au fond, dans une arcade profonde, s'élevait une estrade destinée à l'orchestre ; dans les deux pièces plus petites qui s'ouvraient à côté se dressaient, pour les joueurs, des tables recouvertes de drap vert, où s'étaient des jetons, des échiquiers, des cartes. Mais ce qui causa le plus vif plaisir à la foule des invités, ce fut la vue de l'orchestre.

« Dansons ! dansons ! » s'écriait-on de toutes parts.

Et les jeunes cavaliers, faisant quelques glissades, choquèrent leurs talons, comme pour se donner un avant-goût de la mazurke ; les jeunes filles rajustèrent leur chevelure et enfilèrent leurs gants ; les musiciens se hâtèrent d'accorder leurs instruments, et les mams de prendre leurs places. Bientôt les invitations furent faites, les premiers accords eurent résonné, et l'on vit glisser, tournoyer, bondir, dans le vaste salon, les groupes joyeux, animés par l'orchestre, entraînés par la danse.

M^{me} Madejska était allée se placer auprès de la fenêtre, d'une main écartant le rideau, de l'autre essuyant les larmes qui, malgré elle, s'accumulaient dans ses yeux. Le vent était encore plus fort, le ciel plus noir, la neige

plus agitée. Quelques rayons de pâle lumière, égarés au couchant, avaient peine à percer ce chaos de brume et de frimas étendu sur la plaine entière. Par moments, la tempête devenait si farouche que la pauvre mère au désespoir n'osait plus regarder ; elle se rappelait alors avec terreur toutes sortes d'histoires funèbres. Combien de fois de malheureux voyageurs, surpris par un ouragan de neige, aveuglés, effarés, transis, n'avaient plus aperçu autour d'eux de leur conductrice ou de route tracée ! Puis le froid les avait saisis, le sommeil était venu ; ils s'étaient laissés défaillir et s'étaient étendus à terre, se raidissant et mourant peu à peu sous ce grand linceul blanc qui les recouvrait, flocon à flocon, plume à plume ; couche molle, mais mortelle ; duvet brillant, mais glacé... Et souvent c'était tout près de leur maison, au seuil de leur porte, qu'ils étaient morts, et que, le lendemain, la tempête ayant disparu, on avait retrouvé leurs cadavres. Oh ! il est bien affreux pour une mère de se rappeler de telles histoires en songeant à son fils !

Il y eut un moment surtout où M^{me} Madejska et Sophie arrivèrent au comble de la terreur : ce fut lorsqu'un des invités, qui était allé visiter ses chevaux à l'écurie, revint, les yeux troublés, les cheveux épars, les vêtements pleins de neige, et s'écria en chancelant :

— Le chasse-neige d'aujourd'hui est véritablement épouvantable... J'ai été renversé deux fois en traversant la cour, et, pour trouver l'entrée de l'écurie, j'ai dû tâtonner pendant un quart d'heure.

— S'il y a des voyageurs dans la steppe à l'heure

qu'il est, ajouta un de ses voisins, on pourrait presque parier que demain ils ne seront plus en vie.

— S'il y en a... prions pour eux! murmura M^{me} Madejska, quittant la fenêtre et s'avançant, tremblante et pâle.

Alors la musique cessa, les danseurs s'interrompirent, et tous, rangés en cercle, écoutèrent avec piété une prière que la pauvre mère adressait à la sainte Vierge et à saint Julien, patron des voyageurs.

Un silence profond régnait dans l'assistance; cette voix seule, cette voix inquiète et tendre s'élevait et murmurait les mots consolateurs; toute l'assistance allait répondre *Amen*, lorsqu'au milieu de ce silence retentit soudain, dans la nuit, la détonation d'une arme à feu.

M^{me} Madejska s'interrompit; tous les assistants tressaillirent, retenant leur souffle pour écouter; une autre détonation se fit entendre. On se précipita vers les croisées, mais rien ne paraissait: l'obscurité la plus impénétrable et la tempête la plus violente régnaient au dehors.

— Ce sont des coups de fusil tirés dans la steppe, dit alors M. Madejski. Sans doute quelque voyageur égaré, quelque malheureux errant qui demande assistance.

— Alexis, peut-être! s'écria M^{me} Madejska en frissonnant.

— Hélas! mon amie, il est bien rare, tu le sais, qu'Alexis prenne avec lui des armes... Mais, n'importe, que les domestiques sortent, qu'ils se munissent de lanternes, de fusils. J'irai moi-même, et quelques-uns d'entre

vous, messieurs, voudront peut-être bien m'accompagner.

— Volontiers, nous irons, s'écrièrent quelques-uns des assistants.

M. Madejski et ses compagnons s'éloignèrent, et bientôt le bruit de leurs pas se perdit dans la neige.

X

DANS LA NEIGE

Le matin même, avant le jour, Alexis Madejski avait quitté Kiew. Il n'avait pris avec lui ni bagages ni domestique; ses chevaux de sang arabe et son traîneau léger devaient le transporter à Medówka avec la rapidité d'une flèche; aussi comptait-il arriver au dwór paternel vers midi.

Il fut bientôt hors de la ville, et alors, saluant d'un dernier regard la coupole de la Lawra, qui se dessinait vaguement sous les brumes du matin, il mit ses chevaux à un galop précipité; puis, sans quitter les rênes, renversé à demi dans son traîneau, il regarda disparaître, au couchant, les dernières étoiles.

Alexis Madejski était d'une nature à la fois ardente et contemplative, esclave du beau, éprise du grand, mais moins portée à l'action qu'à la rêverie. Il aimait les horizons grandioses, l'art sévère, la poésie profonde. Et c'est à cause de cela que sa jeunesse était pure, son cœur vaillant, son esprit ferme et droit, et qu'il savait porter dignement le deuil de sa patrie.

Sa patrie!... c'était pour elle surtout qu'il avait fait de beaux rêves, car on rêve toujours quand on est généreux, poète, et qu'on n'a pas trente ans. Mais s'il avait rêvé d'abord, il avait réfléchi ensuite, et lorsqu'il avait vu mille défaillances morales, mille mesquines vanités, souiller les plus nobles entreprises et flétrir les plus beaux dévouements, il ne s'était plus guère confié qu'en Dieu, et il avait désespéré des hommes.

Puis il s'était dit qu'il faudrait beaucoup de cœurs sincères, beaucoup d'âmes héroïques, de mains vaillantes et pures, pour régénérer sa Pologne chérie. Alors il s'était offert de bon cœur pour cette tâche, à Dieu et à son pays.

Toutefois ce courageux exemple ne trouvait dans la jeunesse d'Ukraine qu'un fort petit nombre d'imitateurs, et des railleurs en quantité. Comme Alexis ne jouait pas, on le disait avare; on le croyait poltron, parce qu'il n'était point querelleur; timide et naïf, parce qu'il respectait les femmes; taciturne, parce qu'il était sérieux; maladif, parce qu'il ne se grisait point. Du reste, il était adoré par ses paysans, tendrement aimé de ses amis, chéri de sa famille. C'était plus qu'il n'en fallait pour qu'il se trouvât heureux.

Pendant qu'il glissait ainsi sur la neige, sans secousse et presque sans bruit, entraîné sur la steppe par son traîneau rapide, le jeune homme pensait à la grande fête de Pâques, à ce festin de famille auquel il allait assister.

Mais, tandis qu'il rêvait ainsi, l'orage approchait, grandissait. Un vent furieux s'était levé, balayant la

steppe, chassant la brume ; le ciel s'était obscurci, de gros nuages s'amoncelaient, noirs et lourds. La neige tombait comme une cendre fine, s'engouffrait en rafales, volait en tourbillons, tombant à chaque instant plus épaisse, plus pressée, et couvrait de son duvet mobile les rares vestiges du chemin.

Oh ! s'il est dangereux de s'égarer en hiver, c'est surtout dans l'immensité de la steppe, dans ce désert blanc et glacé ! Là, pas de forêt, pas de buisson, de ligne de collines, d'ondulations sensibles de terrain, qui permettent au voyageur de s'orienter lorsqu'il ne voit plus la route. Il n'a plus désormais pour guides que l'instinct de son cheval, sa propre connaissance du terrain et la position des étoiles. Mais, quand le vent mugit en bourrasques, quand la neige vole en tourbillons, quand ce grand rideau d'un blanc mat se place entre le voyageur et la plaine, les chevaux fatigués, étourdis, perdent leurs forces et leur route ; l'homme cesse de distinguer les objets à quatre ou cinq pas devant lui, et les étoiles, qui pourraient le guider encore, sont cachées à ses yeux par cet immense voile de flocons et de vapeur.

Ainsi Alexis erra longtemps, poussant ses chevaux au hasard, les arrêtant parfois, sortant de son traîneau et courant çà et là dans la neige, pour essayer de rencontrer une trace, une pierre, une touffe de broussailles, un signe quelconque, sur son chemin.

Mais, pendant ce temps, la nuit était venue. Ce n'étaient plus des ténèbres blanchâtres qui environnaient Alexis ; c'était un immense horizon noir sur

lequel à peine, aux yeux du voyageur, se dessinaient les légers flocons blancs. Et puis, hors le mugissement du vent, hors le piétinement des chevaux dans la neige, pas une voix, pas un murmure, pas un bruit. Il semblait que tout fût mort : les herbes, les étoiles, les eaux, la plaine, et que le vaste linceul qui renfermait tout cet univers endormi dût bientôt se refermer sur les membres glacés, les yeux clos du jeune voyageur. Alexis arrêta son traîneau et inclina un instant le front avec tristesse.

« A Medówka, on chante, on danse, on rit à cette heure, pensa-t-il. Pourtant il y a quelqu'un, j'en suis sûr, qui ne chante et ne rit pas... Pauvre mère ! si je ne puis pas me sauver ce soir, que deviendra-t-elle demain ?... Voyons, il ne faut pas faiblir ; essayons encore, luttons, pour l'amour d'elle. »

Il parla à ses chevaux, les caressa de la main ; puis, élevant son fouet en l'air, les excita de la voix et du geste. Les nobles bêtes firent un dernier effort, s'élançèrent, galopèrent un instant, puis s'abattirent, étourdies, épuisées.

« Ainsi nous restons là, se dit Alexis. Il me faudra passer la nuit ici ; au point du jour, la tempête se calmera peut-être... Mais la nuit, c'est la mort sans doute. N'importe, résignons-nous, tâchons de lutter et de vivre, et abandonnons le reste à la volonté de Dieu. »

Alors le jeune homme s'assit commodément dans son traîneau, s'enveloppa soigneusement dans les plis de sa fourrure pour se soustraire autant que possible au froid qui le glaçait. Mais peu à peu, malgré lui, sa

tête se renversa, ses yeux se fermèrent, une molle langue envahit tous ses membres; il s'endormait, enfin, et, de ce sommeil-là, on ne se réveille plus.

Il dormait, bercé par la tempête, couvert par les flocons blancs. La neige, qui assoupit et glace les voyageurs, leur réserve une mort calme et douce. Elle a pour eux les soins d'une nourrice ou d'une mère; elle étale sous leurs membres son drap éblouissant, sous leur tête son moelleux oreiller, sur leur corps sa grande couverture de duvet, et c'est ainsi qu'elle les fait passer de ce doux berceau au cercueil, entre deux songes.

Soudain Alexis, dans sa torpeur profonde, au milieu de ses rêves confus, crut entendre une voix, lointaine et vague d'abord, s'élever dans le silence. Puis cette voix se rapprocha, elle devint plus forte, mieux timbrée, puis toute proche; elle chantait :

Le ciel, la tempête,
Pour que je m'arrête,
Versent sur ma tête
La neige et la nuit.
Mais rien ne me lasse,
Je vois dans l'espace
Un rayon qui passe,
Un rayon qui luit.
L'onde fugitive,
Trop longtemps captive,
Inonde la rive
Et devient torrent.
Et l'aigle puissante,
L'aile frémissante,
Dompte la tourmente
Dans son vol errant.

L'HETMAN MAXIME.

La foudre rapide,
 D'un éclair livide,
 Fend le ciel limpide,
 Frappe les sommets.
 L'océan agite
 Son flot qui palpite,
 Qui toujours s'irrite
 Et ne dort jamais.

Ni l'aigle, ni l'onde,
 Ni la mer profonde,
 Ni l'éclair qui gronde
 Dans un ciel d'été,
 N'égalent en rage
 Mon élan sauvage,
 Que tout encourage,
 Que rien n'a dompté.

Telles étaient les paroles que chantait la voix, sur un rythme à la fois entraînant et sauvage. Alexis crut d'abord les entendre dans son rêve ; puis, la chanson continuant, la voix se rapprochant, il se réveilla tout à fait. Encore plongé dans son engourdissement pénible, il se souleva avec peine sur son coude, appuya sa tête sur sa main et s'écria, aussi haut qu'il put :

— Eh quoi, par cette nuit terrible, dans ces ténèbres et cet ouragan, il y a ici un homme, un homme qui chante ?

— Eh ! certainement, répondit la voix. Et il se trouve en même temps qu'il y a ici un homme qui gèle !

— Qui gèle, vous l'avez dit, répliqua Alexis en se redressant.

— Vraiment ? j'ai bien fait de venir. Ce sera du moins

plus gai de geler en compagnie... Après tout, nous ne gèlerons pas peut-être ; je connais des remèdes à presque tous les maux... Semenko, bats le briquet, allume ta lanterne et donne-moi ta gourde.

Et le jeune Madejski vit alors, à la clarté d'une faible lueur, un homme de haute taille s'avancer vers lui au milieu de l'obscurité et se pencher vers le traîneau, tenant d'une main un revolver, de l'autre une bouteille.

Le nouveau venu regarda un instant avec attention le visage pâle d'Alexis, qui lui tendit la main avec un sourire ; alors il se retourna vers son serviteur, lui donna son revolver et lui dit :

— Serre ceci, je n'en ai pas besoin.

Puis il se mit en devoir de déboucher la bouteille.

Alors il l'approcha des lèvres d'Alexis, et le jeune homme se sentit ranimé, après avoir bu quelques gorgées d'une excellente eau-de-vie parfumée de menthe et de cumin. Ensuite son nouveau compagnon en versa quelques gouttes dans sa main, lui en frotta le front, les mains, les tempes, et lui dit, tout en se livrant à cette bienfaisante occupation :

— Vous voyez, comme je vous le disais, qu'à tous les maux j'ai des remèdes : des armes contre les malfaiteurs, un cordial parfait pour les évanouissements... Et maintenant comment vous trouvez-vous?... Que puis-je faire pour votre service ?

— Ah ! permettez-moi d'abord de vous remercier, s'écria Alexis, serrant la main de l'inconnu. Si vous n'aviez pas chanté tout à l'heure, rien ne m'aurait arraché à mon sommeil ; si vous n'aviez pas répondu à

mon appel, j'aurais cru vous entendre en rêve ; si vous n'étiez pas venu, je serais mort. Ne vous dois-je pas beaucoup, monsieur, dites-le-moi ?

— Bah ! monsieur, qu'est-ce que cela ? Dettes du cœur, dettes de reconnaissance, dettes d'honneur, fa-daises, en vérité ! Il n'y a de sacré que les dettes de jeu ; celles-ci, oui, on les acquitte ; mais les autres, est-ce qu'on les paye ?

— Oh ! permettez... Les dettes de jeu, je ne les connais pas. Et quant aux autres, je les ai toujours payées, répondit Alexis en souriant.

— Ah !... alors vous êtes un original... Ce n'est pas un mauvais compliment que je vous fais, au contraire. Et comme les gens m'accusent d'en être un, moi aussi, nous sommes deux originaux.

— Que cette commune originalité puisse du moins établir entre nous une commune sympathie ! répondit Alexis, en pressant avec affection la main de l'inconnu.

Pendant cette brève conversation, en effet, les deux jeunes gens avaient pu s'examiner à la lueur de la lanterne. Et si le nouveau venu avait vu avec intérêt l'expression de noblesse, d'intelligence et de loyauté répandue sur les traits du frère de Sophie, celui-ci n'avait pas remarqué avec moins de plaisir les grands yeux noirs pleins de flamme, le front ouvert et altier, le visage mâle et fier de son interlocuteur.

— Je n'ai plus maintenant qu'une prière à vous adresser, continua Alexis. Si vous voulez me faire l'honneur de m'accompagner chez moi...

— Chez vous ?... Et où est-il, votre chez vous ?

— A vrai dire, je ne le sais pas positivement à cette heure, car il m'est encore impossible de m'orienter. Je croyais cependant pouvoir arriver avant la nuit à Medówka.

— A Medówka?... Vous allez à Medówka? répéta l'inconnu avec un accent de surprise.

— Oui, je suis le fils de M. Pierre Madejski, qui en est le propriétaire.

— Alexis! s'écria l'autre en reculant d'un pas. Ah! dites-moi ce qu'est devenue votre sœur, et si elle est mariée?

— Vous me connaissez?... Qui donc êtes-vous? dit Alexis à son tour, saisissant vivement la lanterne pour examiner les traits de l'inconnu.

— Ah! regardez-moi bien, interrogez tous vos souvenirs d'enfance, et vous ne me reconnaîtrez point encore, tant les années d'exil ont amené de changements en moi et sur mes traits... Vous, à présent que je vous vois mieux et que vous êtes moins pâle, je sens que je vous aurais aisément reconnu, heureux Alexis, qui êtes toujours resté le même... Vous avez dû tout oublier de moi... jusqu'à mon nom... Tenez, voici du moins qui vous rappellera le nom de mes ancêtres.

Et l'inconnu, en ce moment, ôtant la toque de velours qui recouvrait sa chevelure noire, fit briller aux yeux d'Alexis l'aigrette noire et grise, l'aigrette chatoyante de plumes de héron.

— La plume des hetmans!... Vous seriez Nekrasa?... s'écria Alexis après un moment de silence, en serrant avec émotion la main de son nouvel ami.

— Oui, je suis votre ancien compagnon, votre ancien ami, je suis Maxime, répondit Nekrasa, répondant chaleureusement à sa cordiale étreinte.

— Ah ! venez alors, venez, que je vous conduise à ma famille. Combien ils seront heureux de retrouver dans mon sauveur un ancien ami !

Maxime, avant de répondre, parut réfléchir un moment ; puis, ayant jeté de nouveau un regard interrogateur sur la noble figure d'Alexis, où se peignait si bien une âme loyale et forte, il cessa d'hésiter et répondit :

— Eh bien, oui, j'irai avec vous. Nous allons nous remettre en route. Semenko et moi, nous avons des fusils, ainsi que vous le voyez ; toutes les cinq minutes, nous déchargerons nos armes. Il est probable que, de quelque village ou dans quelque maison, on finira par nous entendre et par venir nous chercher. Ou bien la bourrasque se calmera, et alors nous reverrons les étoiles... Ah ! la mienne brille encore, je le sens, Alexis, puisque je vous retrouve, et si elle est cachée à cette heure, ce ne sera pas pour longtemps.

— En route ! espérons que Dieu nous conduira ! s'écria le jeune Madejski.

— En avant, répéta Maxime.

Il lâcha les rênes, en faisant claquer son fouet. Et les deux traîneaux, se suivant de près, sillonnèrent rapidement la plaine immense, sur laquelle le vent continuait à mugir et la neige à tomber.

De temps en temps, Maxime et son serviteur, entraînés sur la steppe, déchargeaient en courant leurs

fusils. Mais longtemps leurs tentatives furent vaines, longtemps nulle clarté amie, nul pas humain ne s'approcha d'eux dans cette morne solitude.

Enfin l'on entendit, dans le salon de Medówka, ces détonations éclatantes retentir dans la plaine, et M. Madejski sortit avec ses serviteurs, qui portaient des flambeaux.

Ces lueurs errantes frappèrent bientôt les regards des deux jeunes gens, et Alexis courut le premier se jeter dans les bras de son père.

— Mon fils, te voici enfin ! s'écria le vieillard tout ému. Mais tu ne reviens pas seul ?

— Non, j'amène avec moi un sauveur, dans lequel j'ai reconnu un compagnon d'enfance... Maxime Nekrasa, notre ancien ami ; vous le rappelez-vous ?

— Oui.

— Maxime l'orphelin, Maxime l'exilé, qui se retrouve enfin sous le ciel de son pays, sous le toit de ses pères, répondit le jeune homme en s'approchant.

— Qu'il vienne se reposer sous le nôtre ! dit Pierre Madejski, prenant la main du jeune officier.

Le cortège, éclairé par les torches, reprit le chemin de la maison. En ce moment le vent cessait un peu et la neige tombait moins pressée. Au moment où les hôtes de Medówka entraient dans la cour, on commençait à apercevoir un petit coin du ciel.

— Tiens, c'est là qu'est mon étoile, murmura Maxime, en élevant la main vers les nuages et se penchant à l'oreille d'Alexis : vois comme, après cette tempête, elle reparait souriante et dorée... Et elle ne m'a jamais

trompé : c'est du bonheur qui m'attend à Medówka, j'en suis sûr.

Et, avec cette espérance, le fils des hetmans se dirigea, le pas ferme et les regards brillants, vers l'entrée de la grande salle.

XI

ANCIENNES ET NOUVELLES CONNAISSANCES.

— Enfin, voici votre frère ! s'écria le colonel Steinkoller, qui causait avec Sophie et qui vit Alexis entrer dans le salon. Mais quel est donc ce beau jeune homme brun qui l'accompagne ?..... Il n'est pas en tenue de fête, ce ne peut être un invité.

Mais Sophie n'avait entendu que les premiers mots de l'officier. Tout émue, elle avait couru vers Alexis et l'embrassait, appuyant sur l'épaule de son frère sa jolie tête aux boucles blondes. Dans sa joie de revoir son Alexis tant aimé, elle n'avait point regardé Maxime. Pourtant Alexis la prit par la main et, se tournant vers ce dernier :

— Vous m'avez demandé tantôt si ma sœur était mariée, lui dit-il. Regardez-la bien ; vous verrez que ce front radieux, ce sourire enfantin et surtout cette tendre affection pour un vieux frère un peu grondeur, vous disent clairement qu'elle est libre et presque enfant encore.

Sophie rougit à ces paroles de son frère, en jetant un rapide regard sur le nouveau venu.



Oui, je vous reconnais. Vous êtes Maxime Nekrasa.

— Mademoiselle, dit alors Maxime d'une voix un peu émue, je suis un ancien ami de votre famille; pourtant aucun des vôtres n'a pu me reconnaître aujourd'hui en me revoyant : ni Alexis d'abord, ce qui se conçoit, car je me suis présenté à lui dans un terrible moment; ni votre père ensuite, ni votre mère, qui m'a jadis fait tant de caresses... Aurez-vous conservé de moi un plus fidèle souvenir? pourrez-vous me reconnaître?..... Je vous en prie, mademoiselle, dites-le-moi, regardez-moi un peu.

Il y avait dans l'accent de Nekrasa, ordinairement fier, railleur et impérieux, quelque chose de doux, de presque caressant, qui sembla entraîner vers lui le cœur de la jeune fille. Toute rougissante, elle leva un instant ses grands yeux, considéra avec attention ce visage qui lui souriait. Puis l'expression de ses regards, qui n'avait été d'abord qu'incertaine et timide, devint rayonnante et joyeuse. Ses lèvres s'entr'ouvrirent, sa petite main fit un geste aussitôt interrompu, comme si elle eût été prête à la tendre au jeune homme, et elle murmura avec un sourire plein de grâce, en inclinant de nouveau la tête :

— Oui, je vous reconnais. Vous êtes Maxime Nekrasa.

— En vérité? C'est étonnant! dit Alexis. Je n'aurais jamais cru que ma petite Sophie eût si bonne mémoire.

— Vous seule... ne m'avez pas oublié, murmura Maxime avec une émotion visible.

— Mais, frère, on n'oublie pas aisément un compagnon d'enfance, de travail et de jeu. M. Maxime et moi,

nous avons cherché bien des nids, partagé bien des gâteaux, appris bien des fables ensemble, et ce sont là de ces choses qu'on ne peut pas oublier.

— Surtout lorsque l'on est, comme vous, bonne et tendre, ajouta Maxime doucement.

— Allons, enfants, la présentation est faite? demanda M. Madejski, qui s'était approché.

— Oui, monsieur, et pour la compléter il ne me reste plus qu'à prier mademoiselle de vouloir bien m'accorder la première mazurke.

— Monsieur... je ne puis pas;... je suis... déjà engagée, répondit un peu tristement Sophie, regardant du côté où l'attendait Steinkoller.

— Oh! c'est vraiment fâcheux, mademoiselle... mais enfin, ce sera pour plus tard. Pouvez-vous m'accorder la seconde?

— Très volontiers, monsieur Nekrasa.

Et Sophie, laissant pour adieu un sourire à son futur cavalier, alla tendre la main au colonel Steinkoller, car déjà retentissaient les premiers accords de la mazurke.

— Dans le fait, je ne puis guère danser ainsi, se dit Maxime, jetant un regard sur son costume, qui se ressentait de son long voyage dans la neige et l'obscurité. Mais j'ai quelques vêtements dans ma valise...

— Et moi, j'ai une chambre à votre service, interrompit Alexis.

Aussi le capitaine Maxime, aidé de Semenko, eut promptement refait une nouvelle toilette. Il se trouva même, au miroir, tout à fait à son gré lorsqu'il l'eut

terminée. Sa *czamarka*¹ de velours noir, chamarrée de cordons et de glands de soie, ses larges pantalons de velours à la cosaque, retenus dans des bottes montant à mi-jambes, ses fins éperons d'argent, sa toque amaranthe où brillait la plume de héron, et le bouton de rubis qui étincelait au col de sa chemise, composaient un costume élégant, plus seyant et plus pittoresque. C'était à peu près celui qu'avait porté Maxime lorsqu'il était enfant.

— Ah! lorsqu'elle me verra ainsi, elle me reconnaîtra bien mieux encore! se dit-il, pensant à Sophie, qui l'attendait dans la salle de bal.

Et il sortit de sa chambre, le cœur ému, le sourire aux lèvres.

— Moi, je reconnais bien la maison! pensa-t-il. Je n'ai pas besoin de guide pour me conduire dans ces corridors, dans ces salles où j'ai passé tant de jours heureux.

Mais, comme il traversait une longue pièce à demi obscure qui aboutissait à la salle de bal, il vit flotter dans l'ombre, devant lui, la forme légère, les rubans rouges, le jupon à galons d'or d'une jeune Ukrainienne. Celle-ci se retourna au bruit des pas, poussa un cri à demi étouffé et porta une main à son cœur, de l'autre cachant son visage :

— Le seigneur à l'aigrette grise! murmura-t-elle en baissant les yeux.

— Qu'as-tu, ma fille?... Ah! c'est toi, Oxana?.....

¹ Redingote serrée à la taille, ornée de brandebourgs et de cordes de soie sur les coutures.

Dans le fait, je devais m'attendre à te retrouver auprès de ta maîtresse Sophie. Pauvre enfant, je vois que tu ne m'as pas oublié.

— Oublié?... Non, seigneur, cela ne me serait pas possible.

— Eh bien, Oxana, puisque tu as pour moi de la reconnaissance et un peu d'affection, veux-tu me rendre un service?

— Oh! parlez, seigneur, dites-moi ce que je puis faire pour vous... Si je pouvais vous servir, je serais si heureuse!

— Vraiment, pauvre petite?... Enfin, mon enfant, je te prie de ne laisser voir à personne que tu me connais, que tu m'as rencontré ailleurs, dans une... bruyante compagnie. Tu ne sais pas combien il est important pour moi que mon secret soit bien gardé..... Il te sera bien difficile de te taire, sans doute... Demander le silence à une femme, c'est demander de la chaleur à la lune ou de la patience à un créancier..... Mais, dis-moi, ma petite, que veux-tu pour te taire? De l'or, une robe neuve, ou des colliers et des rubans?

— Je ne veux rien, seigneur, répondit Oxana d'une voix qui tremblait, en même temps que ses yeux noirs devenaient tout humides de larmes. Vous avez commandé... comptez sur moi pour obéir..... A présent, je mourrais plutôt que de dire un seul mot de vous, puisque mes paroles pourraient vous inquiéter ou vous nuire.

Ici la jeune serve, par un geste ordinaire aux paysans de ces contrées, plia le genou devant Maxime, se dé-

tourna avec un geste à la fois humble et fier, et disparut par une autre porte de la salle.

« La singulière fille ! » se dit Maxime avec un soupir, mais en hâtant le pas, car il entendait résonner les premiers accords de la mazurke.

Lorsque Maxime franchit le seuil du salon, les regards de tous les invités s'arrêtèrent sur lui avec un commencement de sympathie, avec une vive curiosité. Presque tous exprimaient pourtant un hommage muet, une déférence involontaire. Mais le fils des hetmans paraissait accoutumé à recevoir de tels hommages, et peut-être à les dédaigner. Passant au milieu des groupes avec un geste froid, un sourire hautain, il n'ôta respectueusement sa toque que lorsqu'il fut près de Sophie. Celle-ci l'accueillit d'un regard plein de naïve admiration et de joie enfantine; elle accepta sa main en souriant, et, ses petits pieds frémissant d'aise, alla se placer avec lui au milieu des danseurs.

Pendant ce temps, on échangeait des réflexions, on se parlait bas dans les groupes.

— Quel beau danseur ! quel élégant cavalier ! murmuraient les jeunes filles.

— Ce doit être un homme distingué, disaient les vieillards.

— Ce doit être un homme dangereux ! chuchotaient quelques mères.

Pendant ce temps, il dansait, l'homme distingué, l'homme dangereux, l'homme brave ; il se délassait et se réjouissait comme un enfant, laissant dire les hôtes et passer l'heure. Sa plume de héron ondulait sur sa

toque, son agrafe de rubis jetait des feux empourprés, ses éperons d'argent se choquaient gaiement, marquant la mesure. Tantôt il se détournait à demi, tenant serrée la main de sa danseuse, tantôt il se rapprochait d'elle, cherchant un regard de ces doux yeux bleus qui lui souriaient toujours. Puis, dans les intervalles de repos — ils sont fréquents dans la mazurke — les deux jeunes gens parlaient de leur enfance, évoquant leurs souvenirs.

— Monsieur Maxime, vous avez bien fait de prendre ce costume, disait Sophie. Je vous revois bien mieux tel que vous étiez jadis, quand nous allions cueillir des marguerites et faire des couronnes au pied du grand tombeau.

— Et vous, Sophie... pardon! mademoiselle Sophie... portez-vous toujours du blanc comme vous le faisiez alors? Tous les jours, une petite robe blanche, si fraîche, si bien soignée!... Je ne sais pas comment vous pouviez faire, mais on eût dit que vous ne la tachiez jamais. Cette robe blanche, je la vois toujours, elle semblait vraiment vous appartenir, comme le calice blanc aux nénuphars et le plumage blanc aux colombes.

— Oui, j'aime encore le blanc. Et vous, aimez-vous toujours la chasse?... Vous souvenez-vous qu'un soir, dans la steppe, près d'ici, vous vous êtes embusqué derrière un buisson, pour guetter un loup qui venait parfois enlever des moutons à mon père?... Oh! quand j'y pense, monsieur Maxime, vous n'aviez qu'un couteau!...

— Et les deux cygnes, vous les rappelez-vous? les

cygnes de votre lac bleu, de l'étang de Medówka. Un jour, ils y étaient arrivés ensemble; ils ne se quittaient pas, nageant l'un près de l'autre ou foulant gravement les grandes herbes, les roseaux. Si bien qu'on disait au dwór, ne vous le rappelez-vous pas? « Ce sont deux inséparables : on dirait Maxime et Sophie. » Il y en avait un cependant plus timide et plus doux; l'autre était sauvage et méchant; un jour, d'un coup d'aile, il renversa un enfant dans le lac. Alors votre père le donna à l'un de ses amis qui demeurait bien loin. Le cygne fut emmené à quinze milles d'ici, et l'on pensait que sa compagne languirait, mourrait de douleur. Mais il n'en fut rien pourtant; un jour, on ne la vit plus sur le lac, et le lendemain elle venait tomber sur le bord de l'étang où nageait son frère, ensanglantée, mourante : un chasseur l'avait blessée... Elle n'avait pu vivre sans son compagnon, et elle avait trouvé la mort en route.

— Oui, en effet, je me rappelle. J'ai beaucoup pleuré le départ de nos pauvres oiseaux.

— Naturellement, on disait qu'ils nous ressemblaient : c'était un fort triste présage. Heureusement que nous, nous avons pu nous séparer sans mourir.

— Oui... heureusement, soupira Sophie.

— Sans mourir; mais puis-je dire aussi : sans oublier?

— Oui, vous le pouvez, murmura la jeune fille en baissant la tête.

Et ils allèrent reprendre leurs places, car leur tour de danser était venu. Ensuite, ils ne dansèrent pas tou-

jours, mais ils causèrent souvent ensemble. Leur joie de se retrouver se laissait voir aisément, tant elle était sincère et pure ; la douce surprise de leur cœur, la naïve sympathie de leur âme, se lisaient dans leur attitude, dans leurs gestes, dans leurs regards. Et Alexis, encore sous le charme de cette soudaine rencontre, souriait doucement en regardant sa sœur glisser, passer comme une ombre, heureuse au bras de son nouvel hôte, et en retrouvant dans la grâce des deux danseurs la tendresse des deux enfants.

Mais la nuit touchait à sa fin, l'orchestre était las, les danseuses pâles, les bougies consumées. Il fallut bien cesser le bal ; les hôtes se séparèrent : le plus grand nombre s'en retournant, car l'ouragan s'était calmé ; quelques autres restant, pour profiter encore de la cordiale hospitalité du *dwór* de *Medówka*.

Et Maxime resta, naturellement. Les instances de ses hôtes furent pressantes, peut-être son désir de rester était-il pressant aussi. L'affaire qui l'avait amené dans la contrée ne souffrirait point trop, dit-il, pour éprouver un certain délai. Et puis, à *Medówka*, ses souvenirs lui revenaient si purs, si doux ! Depuis les jours de son enfance sereine, immaculée, Maxime avait supporté bien des épreuves, commis bien des erreurs, et plus que des erreurs peut-être... En outre, il n'était pas libre : il avait fait un serment dans le passé, un plan dans l'avenir. Ce fier descendant des hetmans, cet aventurier brave et beau, avait parfois des nuages au front, des remords et des angoisses au cœur, et au pied traînait une chaîne. Tout ceci lui pesait fort d'or-

dinaire ; mais, depuis qu'il était à Medówka, il avait tout oublié, tout, excepté son enfance et Sophie.

Parfois il se disait bien, avec un soupir, que ce repos si doux ne pouvait pas longtemps durer, qu'il faudrait bientôt aller bien loin, au hasard, tendre ses bras au péril et sa voile à l'orage... Et puis il pensait, à part lui, qu'il avait beaucoup fait déjà, et qu'avant de reprendre sa carrière de fatigues et de dangers, il était bon de passer quelques jours de paix dans cette calme oasis, où il pouvait nourrir un rêve et peut-être laisser une espérance.

XII.

COMMENT IL SE FIT QUE SEMENKO RACONTA SON ODYSSÉE.

— Oxana, dit Sophie à sa jeune servante, deux ou trois jours après la fête au dwór, la journée me semble longue : ces messieurs sont à la chasse, ma mère fait des visites depuis ce matin. Comment me désennuyer, ma chère?... Ah! va donc appeler le vieux Semenko, qui est resté ici: il a été loin avec son maître, par delà la mer, dans les monts et les vallées du Caucase. Je crois même qu'ils ont été tous deux captifs chez les Circassiens... Ce sera fort curieux de l'entendre conter ses aventures... Tu verras, nous allons nous amuser.

— Oui, j'y vais, demoiselle, dit Oxana, qui s'éloigna d'un pas rapide.

A ces paroles de sa maîtresse, la pauvre fille avait rougi. Il lui semblait qu'une pensée étrangère répondait

à sa propre pensée. N'était-il pas bien doux, et triste aussi peut-être, de savoir d'où il venait, ce qu'il avait fait, ce qu'il avait souffert, ce beau seigneur auquel elle songeait toujours, elle, l'humble serve, l'insensée? N'était-ce pas du bonheur encore que d'entendre raconter sa vie et prononcer son nom?

Mais un secret instinct du cœur avertit Oxana qu'elle n'était pas seule à concevoir cette humble joie, à en bercer sa pensée: « Hélas! c'est un bonheur pour elle aussi », se dit-elle, en songeant à sa jeune maîtresse, qui venait de lui dire d'une voix si douce: « Oxana, va donc chercher Semenko. »

Un instant, elle pâlit, et puis une amère résignation se peignit sur son visage.

« Mais moi, je ne suis rien, se dit-elle, qu'une pauvre paysanne, une esclave ignorante, qui est faite pour les respecter, les craindre et les servir. Le bonheur qui les attend n'est pas le mien; la vie qui leur sourit ne peut être la mienne... S'il plaît à ma maîtresse, à ceux de sa famille, eh bien! qu'elle l'épouse, qu'elle le rende heureux, le noble gentilhomme!... Mais que du moins je me souvienne encore, que je trouve mon dernier bonheur à entendre parler de lui! »

Sophie, de son côté, était émue d'une curiosité timide. Un instinct mystérieux la portait à soulever les voiles de ce passé inconnu. Qu'avait-il fait, ce gentil camarade, ce fier Maxime, depuis le jour où il avait quitté sa petite compagne d'études et de jeux; où il avait été, disait-on, à l'armée, puis à la guerre? Et pourquoi, à son retour du Caucase, n'était-il pas revenu en toute hâte aux lieux

où il avait grandi, où tous l'avaient aimé? Sans doute, Semenko ne pouvait pas savoir tout ceci; mais enfin ils avaient partagé les mêmes épreuves, les mêmes fatigues, les mêmes périls. Nul mieux que lui ne pouvait donc connaître le passé, raconter les exploits, et peut-être, pour l'avenir, pressentir les résolutions de son jeune maître.

Ce fut donc avec un visage épanoui et une contenance amicale que Sophie reçut le vieux Cosaque, qui se présenta bientôt, conduit par Oxana.

— Assieds-toi, mon bon Semenko, lui dit-elle en lui donnant sa petite main à baiser, et rappelle bien à toi tout ton courage, ta mémoire, car tu as beaucoup de choses à me raconter. Figure-toi que tu es dans ce monde un de ces vieux *lirniki*, poètes et chanteurs, à longue barbe blanche, à voix sonore, qui, chantant nos ballades, allaient par le pays... C'était là un beau rôle, n'est-ce pas, Semenko?... Eh bien! c'est toi qui vas être notre *lirnik* aujourd'hui, et nous deux que tu vois, nous serons ton auditoire.

— Très bien... demoiselle, daignez me dire ce que je dois vous chanter ou vous conter... Est-ce la ballade de Mazeppa ou la légende de l'hetman Dimitri? répliqua le vieillard en souriant avec finesse.

— Oh! non... non... quelque chose de plus nouveau... Tout cela est trop connu, trop vieux, répliqua Sophie, rougissant légèrement. Tiens, raconte-moi tout simplement ce que ton maître et toi vous avez fait au Caucase.

— Ce sera bientôt dit, répliqua Semenko gravement.

Ensemble, nous avons sabré des Tcherkesses, tué des sangliers et fumé des pipes... A part, mon maître a été boire du champagne et jouer aux cartes dans le monde, tandis que je nettoyait ses armes et cirais ses bottes à la maison. Et cela a duré ainsi jusqu'au moment où la grosse lettre cachetée de noir est arrivée.

— Quelle grosse lettre? demanda Sophie.

— La lettre où l'on nous annonçait que l'oncle de mon maître était mort, et qu'il allait hériter de tous les biens de ses ancêtres. C'est que, demoiselle, mon maître a des projets, voyez-vous, et pourtant il ne pouvait pas les accomplir avant d'être devenu riche.

— Ah!... ton maître a des projets? répéta Sophie en souriant, pensant qu'un brillant cavalier tel que Maxime, indépendant, riche et heureux, ne pouvait guère songer à autre chose qu'à s'établir convenablement, se choisissant une épouse selon son cœur.

— Oh ! oui; mais, sur ces projets-là, chut! Je les devine, je les comprends; mais ce n'est pas mon affaire d'en parler. Je puis vous dire seulement, demoiselle, que lorsque la grosse lettre est arrivée, mon maître a été naturellement aussi content que moi, quoique dans le premier moment cela lui ait fait une fameuse surprise... D'abord, je lui avais apporté la lettre au milieu d'un bal; ma foi, le contraste était assez drôle. Il n'est pas étonnant que, dans le premier moment, il soit devenu pâle et que les jambes lui aient manqué... Mais, lorsqu'il est rentré à la maison, il a repris son air brave et m'a dit : « Mon vieux Semenko, maintenant, je suis libre, je suis prêt, je suis riche. Tu sais ce qui m'attend

là-bas ; fais les paquets, nous partons dans deux jours. » Et au bout de deux jours nous étions en route, demoiselle. Le plus beau de l'aventure devait nous arriver en chemin.

Nous n'avions pas marché depuis deux jours que nous nous engageons dans un défilé d'enfer. Des montagnes qui touchent le ciel, des torrents et des gouffres qui s'ouvrent dans la terre !... Et à peine sommes-nous au milieu de ce couloir, avec un mur de rochers d'un côté et un abîme de cent brasses de l'autre, que voilà des bandits de ce pays-là, des Lesghiens, de vrais sauvages, qui nous barrent le chemin et nous envoient des coups de fusil... Nous n'étions que trois, demoiselle, nous ne pouvions pas en assommer trente. En un clin d'œil, le cocher était tué, mon maître blessé, moi prisonnier, et l'on nous emmenait tous les deux dans un des aouls les mieux fortifiés du Caucase.

Au-dessus de nos têtes, nous ne voyions que le ciel et les cimes des montagnes étincelantes de neige ; autour du plateau où était bâti le village, ce n'étaient que précipices, ravins, torrents. Aussi, demoiselle, si nous en sommes sortis, c'est grâce au dévouement d'une Lesghienne, d'une jeune fille. Sans elle, nous serions peut-être encore dans l'aoul, à l'heure qu'il est.

— Vraiment?... C'est une femme qui vous a sauvés... qui a sauvé ton maître ? s'écria Sophie vivement.

Et Oxana, qui jusqu'alors n'avait prêté au récit du vieillard qu'une oreille assez distraite, se rapprocha, jeta sur sa maîtresse un regard doux et triste, et s'age-

nouilla silencieusement sur le tapis, derrière le siège de Sophie.

Je dois tout d'abord vous dire, commença Semenko reprenant son récit, que les Lesghiens, qui sont braves, respectent aussi les braves. Bien loin de massacrer mon maître, ils l'avaient relevé avec respect ; ils bandèrent ses blessures. C'est que, voyez-vous, demoiselle, continua le vieillard fièrement, le nom de Nekrasa est presque aussi connu dans ces rudes montagnes qu'il l'est ici, dans la steppe où dorment les hetmans d'autrefois ; c'est que Russes et Lesghiens disent également, en parlant d'un homme qui ne connaît pas la peur : « Brave comme le capitaine Maxime. » Ce fut donc à sa réputation de vaillance que mon maître dut la vie ; seulement les Lesghiens, fiers d'une aussi belle capture, le gardèrent étroitement, tout malade qu'il était, presque mourant.

Ce fut alors que Libia le connut et prit pitié de lui... Libia, c'était la fille du chef de l'aoûl ; ce fut elle qui soigna mon maître. Elle connaissait les herbes qui guérissent. Chaque matin, elle s'en allait pour les cueillir dans la montagne, et nous la voyions revenir, portant les plantes vertes et les tiges fleuries enveloppées dans un coin de son voile blanc. A peine revenue, elle ravivait la flamme du foyer et préparait une boisson pour mon maître, ou bien elle exprimait le suc des herbes pour le verser sur sa blessure. Lorsqu'il était endormi, elle prenait une branche de sycomore, ou bien son éventail de plumes, et écartait les mouches qui auraient troublé son sommeil. Lorsqu'il veillait, las et triste, la fièvre

l'ayant quitté, elle allait décrocher sa mandoline, suspendue dans un coin par une écharpe de soie verte, et chantait d'une voix douce et plaintive quelques airs de son pays. Elle était toujours voilée quand elle s'approchait de nous ; mais par moment on pouvait entrevoir l'ombre noire de deux beaux sourcils et de grands yeux bleus qui semblaient rayonner sous la fine gaze blanche ; du reste, ni mon maître ni moi n'avons jamais vu son visage à découvert.

Les soins de Libia étaient précieux, assurément et ses remèdes salutaires. En moins de trois mois, mon maître revint à la santé ; mais la gaieté ne lui revint pas. Ah ! demoiselle, se sentir jeune et brave, et être prisonnier, tandis qu'il y a ailleurs un pays qui vous appelle et des amis qui vous attendent !...

Je ne m'étonnais pas, allez, que mon maître restât triste et pâle, alors même qu'il revenait à la santé. Lorsqu'il sortait de la maison, car on nous laissait errer tous deux en liberté dans l'enceinte fortifiée du village, il allait s'asseoir au bord du plateau, sur quelque touffe d'herbe ou sur un bloc de rocher, et il regardait sans parler, pendant des heures entières, le ciel bleu qui s'étendait au-dessus de lui, ou le précipice voilé qui s'ouvrait au-dessous.

Sur la face du ciel passaient des nuages blancs ; au-dessus des gouffres et des vapeurs s'envolaient de grands aigles. Mon maître suivait les uns et les autres du regard et je comprenais bien le langage de ses yeux : « Nuages, enlevez-moi dans vos flocons légers ; aigles, prenez-moi sur vos ailes, disait ce regard toujours

triste. Que je retrouve ailleurs, avec vous, l'espace et la liberté ! » Et ce regard me faisait mal ; si vous saviez comme il était déchirant ! Alors, tout en gardant le silence, moi aussi j'examinais tout autour de moi, je me creusais l'esprit pour former des plans de fuite ; mais je ne voyais rien que des rochers à pic, des torrents écumants, et, à trois cents pieds au-dessous de nous, la vallée, la vallée profonde. Alors je ne songeais plus à la ruse et aux ténèbres, je pensais à la force. Mais je savais bien qu'à nous deux nous ne pourrions pas égorger les hommes qui gardaient le sentier, et, sentant que tout nous abandonnait et que la patrie fuyait loin de nous, je me disais qu'il faudrait mourir captifs, et je n'osais plus regarder mon maître.

— Et Libia ? interrompit Sophie.

— Libia ?... Ah ! justement, j'allais vous en parler... La pauvre fille ! Quand elle vit qu'elle avait guéri le prisonnier, mais qu'elle ne pouvait pas le distraire ; quand elle sentit qu'en vain elle lui disait ses contes merveilleux et lui chantait ses chansons douces, elle devint triste et silencieuse aussi. Bien souvent je la vis nous épier quand nous regardions, mon maître et moi, les hauteurs du ciel et les profondeurs de la vallée. Elle se cachait à demi derrière un massif de verdure ou un pan de rocher, et, sans avancer, nous contemplait longtemps, toute droite et immobile. Et mon maître ne la voyait pas, et elle finissait par appuyer un coin de son voile sur ses yeux, comme si elle y eût séché des larmes.

Un soir, au moment où tous les habitants de l'aouï

étaient réunis pour la prière, nous vîmes Libia s'approcher doucement de nous. Sous prétexte de puiser de l'eau, elle avait quitté ses compagnes, et sur son épaule soutenait sa cruche d'une main, en laissant pendre l'autre sous les plis de son voile ; ses pas, en glissant sur la mousse, étaient si doux, si légers, que mon maître ne les entendit pas. Elle posa sa cruche à terre, étendit sa petite main pour toucher l'épaule de mon maître, et en cet instant je vis avec étonnement que la main de Libia était bien plus fine, bien plus transparente que jadis, lorsque, six mois auparavant, nous étions arrivés à l'aouï.

« — Étranger, dit-elle (et mon maître tressaillit à cette voix si timide et si douce), étranger, pourquoi es-tu triste ? Les herbes de mon pays ont guéri ta blessure. Est-ce l'air de mon pays qui courbe ta tête et éteint ton regard ?

« — Ce n'est pas l'air de ton pays qui m'opprime, Libia, c'est la captivité qui me pèse.

« — Ah ! si tu l'avais voulu, tu ne serais plus captif... Tu aurais maintenant de beaux chevaux mingréliens, des armes brillantes, une maison à toi, des serviteurs et... peut-être... une épouse. Pour cela, tu consentirais seulement à t'armer avec mes frères, à descendre avec eux de la montagne, pendant la nuit, pour massacrer les Russes, nos ennemis et les tiens, pour brûler leurs villes, écraser leurs soldats et rapporter leurs mains sanglantes, que tu clouerais comme un trophée à la porte de ta cabane. Bien des Polonais, tes frères, vivent ainsi et combattent, et se trouvent heureux avec nous ;

mais toi, tu ne veux pas... peut-être tu ne peux pas le faire... Ton cœur est resté bien loin, là-bas, dans ton pays, et c'est là qu'à chaque instant tes regards et tes rêves s'envolent... Eh bien ! pauvre étranger, il faut que tu te consoles et que tu vives, il faut que tu revoies tes frères et ton pays... Seulement, tu dois avoir pour cela beaucoup de confiance et de courage.

« — Le courage ne m'a jamais manqué, Libia ; la confiance en toi, douce fille, ne me manquera pas non plus.

« — C'est bien ; alors, approche-toi, regarde l'endroit que je te montrerai, et écoute. »

En parlant ainsi, elle s'approcha de la limite extrême du plateau et étendit sa main vers la ravine. Mon maître s'avança tout près d'elle pour qu'elle lui parlât bas, si près, que les boucles de ses cheveux effleuraient le voile blanc. Alors Libia porta la main à son cœur, puis à son front, s'assit un moment sur la mousse, et reprit enfin, d'un ton mal assuré :

« — Tu vois là-bas cette pointe de rocher, qui se recourbe comme le bec d'un aigle et s'avance sur le précipice ? L'abîme est au-dessous, et l'on ne pourrait s'y hasarder sans avoir le vertige. Pourtant, à soixante pieds plus bas, il y a une petite terrasse cachée au milieu des ronces et des buissons, et de laquelle, en glissant le long du roc, on peut descendre à la vallée. Pour parvenir jusque-là, il ne faut qu'une corde solide, une nuit sombre et une forte résolution..... Étranger, je te donnerai la corde, la nuit sombre viendra bientôt, et quant à la résolution, je ne te dirai qu'un mot. Jadis

une jeune fille d'une autre tribu, que le chef retenait ici prisonnière, se hasarda dans cet abîme, suspendue à une corde qu'elle avait filée de ses propres mains, pour aller retrouver son fiancé et sa famille..... Ah! tu pourras bien faire pour ta liberté ce qu'elle a fait, elle, pour son amour!

« — Oh! Libia, est-ce bien vrai?... Grâce à vous, serai-je libre? Mais quand pourrai-je partir? Le jour viendra-t-il bientôt? »

« — Bientôt, répondit Libia, dont la voix tremblait. Attends seulement que la corde soit prête et la nuit noire. Alors rien ne te retiendra plus, tu partiras... et tu seras heureux loin de nous. »

Ici elle fut sur le point de laisser échapper un sanglot, et elle se détourna pour s'éloigner; mais bientôt, revenant sur ses pas, elle reprit d'une voix tremblante :

« — J'allais oublier une recommandation, très importante, je t'assure... Lorsque vous serez arrivés dans la vallée, vous verrez tout près de vous une grande prairie, où les habitants des villages d'en bas laissent paître leurs chevaux. Vous en prendrez deux, et vous vous éloignerez dans la direction de cette étoile; vous arriverez à un poste russe avant le jour... Rappelle-toi bien, étranger, ce que je te dis aujourd'hui; au dernier moment, je n'aurais peut-être plus le temps... ni la force... de te le dire. »

En achevant ces mots, Libia s'éloigna promptement, nous laissant joyeux, agités, et surtout pleins d'espoir en elle... Et quelques jours après, en effet, par

une nuit noire et orageuse, où la pluie ruisselait et jaillissait sur nous, comme de grandes cascades tombant du haut des monts, nous entendîmes frapper doucement au volet de notre fenêtre. J'ouvris, et j'aperçus Libia, qui nous faisait signe de venir. Nous allâmes la rejoindre sans faire le moindre bruit ; elle nous remit un gros rouleau de cordes.

« — Je ne puis pas t'accompagner jusqu'au rocher, étranger, dit-elle à mon maître. Pars vite, adieu ! Que le Prophète et ton Dieu te protègent !

« — Mais ne saura-t-on point que tu nous as aidés ? Ne souffriras-tu point de notre fuite ?

« — Si j'en souffre, il n'y aura pour le savoir que mon cœur et mon Dieu, et si l'on me punit à cause de vous, je me résignerai aisément..... Étranger, je ne veux pas te voir mourir ; va-t'en vers ta patrie.

« — Mais ne pourrais-tu pas nous suivre, ma douce Libia ?

« — Étranger, quand je te donne la liberté, pourquoi m'adresser une insulte?... Je suis une fille de ces monts, de ce peuple, de ce ciel ; je ne les abandonnerai point, pas même pour partager ton sort. Pars vite, et laisse-moi ici : à chacun sa patrie !

« — Mais ne puis-je rien faire, chère fille, pour te prouver à quel point je te suis reconnaissant ? »

Libia réfléchit un instant, puis elle reprit d'une voix qui faiblissait un peu :

« — Si, tu peux faire pour moi quelque chose. Garde longtemps mon souvenir, et quand tu seras revenu parmi les tiens, à cause de moi, protège et respecte les fem-

mes. Ici, il y en a une qui t'a sauvé; là-bas, peut-être il y en a une qui t'aimera... Adieu!»

Et ici je vis la jeune Lesghienne prendre la main de mon maître, la serrer une dernière fois et disparaître dans l'ombre.

En prononçant ces mots, Semenko entendit pousser derrière lui un long soupir. Il se retourna et vit Oxana qui le regardait, les yeux pleins de larmes.

— Tu es une brave fille, Oxana, lui dit-il. En effet, une vraie fille cosaque, comme toi, doit pleurer de tout son cœur en entendant chanter une *dumka*¹, et sauter de tout son cœur en entendant jouer une danse... Mais tu ne t'attendras pas longtemps, voici que je vais finir.

Mais Oxana, qui n'écoutait pas le vieillard, revoyait la grande plaine au bord du Boh, les touffes de roseaux, le fleuve glacé, l'eau s'entr'ouvrant autour d'elle, et puis le fier cavalier qui, en ce danger pressant, lui tendait la main.

« Ah! se disait-elle avec un regret amer, c'est en souvenir d'elle qu'il m'a sauvée et protégée. C'est une heureuse fille, cette Lesghienne; elle a pu se dévouer et peut-être mourir pour lui. »

Mais, continuait Semenko, je m'étais hâté d'entraîner mon jeune maître. Malgré la nuit et le vent, les ténèbres et la pluie, nous atteignîmes bientôt la pointe de roc recourbée en bec de vautour. Là, nous attachâmes la corde au tronc d'un sapin vigoureux qui croissait au-dessus du précipice, et nous discutâmes

¹ Poésie populaire, plaintive et mélancolique.

un moment pour savoir lequel de nous deux s'y laisserait glisser le premier.

Demoiselle, c'est la seule circonstance de ma vie où j'aie refusé de faire la volonté de mon maître ; mais je ne m'en repens pas, je vous le déclare sincèrement. Lui, qui voulait descendre avant moi, me parlait de sa force, de son agilité, de sa jeunesse ; moi, je lui représentais que le vieux Semenko pouvait se briser les os au fond de ce ravin sans que l'Ukraine y perdît autre chose qu'un de ses fils obscurs, mourant obscurément loin d'elle, tandis que le nom des Nekrasa était un nom illustre, qu'il fallait tirer de l'oubli et couvrir d'une nouvelle gloire. Ces souvenirs persuadèrent enfin mon maître ; il céda et je descendis...

Ah ! je me rappelle encore l'impression que je ressentis lorsque, arrivé au bout du long rouleau de cordes, j'allongeai mes pieds dans l'abîme autant que je le pus et ne rencontrai que le vide... Avions-nous fait fausse route ? La terrasse de rochers n'existait-elle plus ? Libia nous avait-elle trompés ?... Toutes ces idées me passèrent en un instant par l'esprit, et je sentis alors mes cheveux se dresser sur mon front et mes mains s'humecter d'une sueur froide. Autour de moi, la nuit ; au-dessus de moi, le rocher escarpé ; au-dessous, le gouffre peut-être...

— Ne descendez pas, criai-je à mon maître, la corde est trop courte ou l'abîme est trop grand... Je vais me laisser aller, et dans un instant, vous saurez le reste. Je vous crierai de descendre ou je vous dirai adieu !

Et avant qu'il eût le temps de me répondre, je lâchai la corde, en me recommandant à Dieu... La bonne Libia ne nous avait pas trahis. Quelques pieds à peine me séparaient de la terrasse couverte de mousse, et je n'y fus pas plutôt arrivé que j'appelai mon maître à haute voix.

Et, une demi-heure plus tard, nous arrivions à la prairie, où nous nous emparions de deux beaux chevaux mingréliens. Le lendemain soir, nous étions à Vladikaukaz ; quinze jours après, en Ukraine, où mon maître retrouvait ses biens, sa belle maison, ses fidèles serviteurs, et, ce qui vaut mieux encore que tout cela, sa liberté de citoyen et son pouvoir de maître.

— Combien donc y a-t-il de temps que vous êtes en Ukraine, mon bon Semenko? lui dit alors Sophie.

— Mais... neuf mois à peine, demoiselle. Depuis la Saint-Michel de l'an dernier.

— Et... depuis ce temps? balbutia Sophie.

— Oui... depuis ce temps..., murmura Semenko. »

Mais ni l'un ni l'autre ne paraissait disposé à formuler une phrase plus positive, et juste en ce moment, comme pour les tirer d'embarras, on entendit le bruit des roues d'une voiture.

— C'est ma mère qui revient... Je te remercie, Semenko, d'avoir bien voulu me raconter votre histoire.

Et Sophie se leva vivement pour aller à la rencontre de sa mère, tandis que le vieux Cosaque, se dirigeant vers la cuisine, gagnait, avec un salut, la petite porte du corridor.

XIII

AVANT LE DÉPART.

Le lendemain, après le déjeuner, au moment où l'on quittait la table, M. Madejski fit à son fils un signe presque imperceptible, et Alexis, abandonnant pour un instant son ami Maxime, se dirigea vers le cabinet de travail où son père se tenait habituellement.

— Assieds-toi, mon enfant, lui dit celui-ci aussitôt. Nous avons à causer tous deux de choses sérieuses. Ce n'est pas pour rien que Dieu m'a donné un fils. Il y a des circonstances dans lesquelles je suis heureux de te consulter, Alexis.

— Merci, père, je ferai tous mes efforts pour me montrer digne de votre confiance.

— Oui, je le sais... Eh bien, allons droit au but. Mon enfant, que penses-tu de Maxime?

— Beaucoup de bien; rien que du bien jusqu'à présent. Maintenant, il ne faut pas oublier que je l'ai perdu de vue encore enfant, et que nous le revoyons depuis quinze jours à peine.

— C'est précisément ce que je me dis. Du reste, Maxime est brave.

— Comme une épée.

— Franc.

— Jusqu'à la brusquerie.

— Dévoué.

— Jusqu'à l'abnégation.

— Ouvert et gai.

— Jusqu'à l'étourderie. Le seul défaut qu'actuellement je lui connaisse, c'est un peu de présomption et de témérité.

— Je vois bien celui-là, mais à mes yeux il en a un autre encore, reprit M. Madejski en souriant. Il nous laisse voir un peu trop qu'il n'a point oublié Sophie, ou du moins il paraît disposé à renouer connaissance avec une nouvelle ardeur. En un mot, il semble aimer ta sœur, mon fils, et, innocente, naïve comme elle l'est, elle pourrait l'aimer à son tour... C'est pour cette raison surtout que nous devons chercher à mieux connaître Maxime, qui a certainement, d'autre part, de brillants avantages en sa faveur. D'abord, il porte dignement un des plus beaux, un des plus anciens noms de notre chère Ukraine; il vient d'hériter d'une magnifique fortune; il est jeune, brave, robuste, intelligent, instruit... Mais quant à ses mœurs, ses habitudes, ses principes, toi et moi, avouons-le, nous n'en connaissons rien, mon fils. Eh bien, pour le bonheur de ta sœur, il faut absolument que tous ces points, encore obscurs, soient déterminés. Seulement, pour cela, nous ne nous adresserons pas au monde. Le monde ne rend le plus souvent que des arrêts suspects, des sentences partiales et intéressées. Dans les choses du cœur et de la conscience, ne le consultons jamais, mon fils.

— Eh bien, père, si nous ne devons nous en rapporter qu'à nous-mêmes, il ne me sera pas difficile, je pense, de vous satisfaire sur ce point. Maxime m'a déjà invité plusieurs fois à l'accompagner à sa résidence de

Bolanki ; je n'ai qu'à accepter sa proposition et à aller passer quelque temps avec lui, pour étudier à loisir ses goûts, ses mœurs et ses habitudes.

— Mais, Alexis, seras-tu bon juge ? Souviens-toi qu'il s'agit de Maxime, et que, par suite de circonstances fort naturelles, tu es déjà prévenu en sa faveur.

— Père, ne craignez rien, comptez sur moi, dit le jeune homme en se levant. Je pourrais me tromper si j'étais un simple honnête homme ; mais j'ai votre exemple devant les yeux. Il ne me sera donc pas difficile de voir si mon ami vous ressemble.

— D'un autre côté, Alexis, ne sois pas trop sévère. Songe que Maxime a passé huit ans dans les rangs de l'armée russe, et que les garnisons du Caucase ne sont pas précisément une école de moralité... Mais si le jeune Nekrasa a conservé le respect de ses ancêtres, s'il paraît disposé à vénérer la sainteté de la famille et la paix du foyer, eh bien, il y aurait beaucoup d'espoir ; on pourrait, pour le rendre tout à fait vertueux, compter sur Dieu d'abord, sur l'amour pur et sur Sophie.

— Père, soyez tranquille, je ne dirai que ce que j'aurai bien vu, et je vous dirai tout. Maxime m'a prié bien souvent de ne pas le laisser partir seul, et il l'a fait en des termes si pressants qu'il semble avoir quelque importante raison pour expliquer cette insistance.

— C'est bien ; fais tes préparatifs et donne tes ordres en conséquence, afin que rien ne puisse retarder ton départ pour Bolanki.

Après cet entretien, Alexis annonça à son ami que décidément il l'accompagnait à sa terre. Il fut tout

étonné de voir alors le mouvement de joie subit qui anima Maxime, et le regard profond que son ami attachait sur lui en lui serrant la main.

— Enfin, tu seras avec moi, avec moi seul, Alexis! murmura-t-il d'un ton joyeux. C'est presque dire que tu seras à moi... Ah! je te montrerai là le beau, le grand chemin que je me suis ouvert, et, si tu y consens, nous marcherons ensemble... Quelle belle campagne nous pourrions faire, si tu veux bien toujours m'accompagner!

— A propos de campagne, il faut songer aux munitions, dit Alexis en souriant. Tu ne trouveras pas mauvais, mon ami, que j'aie préparé nos bagages.

— Va, achève vite, dit Maxime. Et il regardait son ami s'éloigner en murmurant :

« Encore un, le plus sage et peut-être le plus héroïque, le plus persévérant de tous... Ah! comme le disait autrefois Daniel, je suis vraiment un homme heureux! »

Pourtant Maxime allait laisser un souvenir et un regret à Medówka. Le lendemain soir, au salon, il se rapprocha de Sophie. La jeune fille, assise à son piano, jouait avec une nonchalance rêveuse quelques fragments de Mendelssohn, qu'elle reliait les uns aux autres par des improvisations capricieuses.

— Vous jouiez déjà ainsi, doucement, délicieusement, quand je vous ai quittée, dit Maxime en s'approchant. Et moi, je vous écoutais comme aujourd'hui, en rêvant, en pleurant presque; vous le rappelez-vous, Sophie?

Sophie!.... C'était la première fois depuis quinze jours qu'il l'appelait ainsi. La jeune fille s'en émut d'abord un peu, puis elle se dit doucement : « Combien de fois ne m'a-t-il pas nommée Sophie, lorsque nous étions compagnons, amis tous deux, dans notre enfance! »

Et, tout heureux de ces bons souvenirs, de cette affection naïve, Maxime continua, car il avait compris :

— Vous l'avez peut-être oublié, vous; mais moi, voudrez-vous bien me croire? dans mes voyages et mes dangers, mes combats et mes aventures, je n'ai jamais cessé un seul jour de me rappeler Medówka. C'était vous que je voyais surtout, avec votre robe blanche et vos tresses blondes, quand vous couriez à côté de moi dans les plaines, ou quand vous étendiez votre tablier aux branches des haies, pour que je pusse avoir un peu d'ombre et de sommeil. Figurez-vous donc combien je me suis senti heureux lorsque je vous ai revue ici, dans notre pays, sous votre toit, bien plus aimable encore et plus belle!

Sophie garda le silence, et le jeune homme poursuivit :

— Jugez si je vous oublierai, maintenant que j'ai passé quelques jours auprès de vous, maintenant qu'il n'y aura plus entre nous qu'une distance si courte, si facile à franchir!... Me permettrez-vous de revenir souvent, mademoiselle?... Si je ne devais pas vous voir, quelque chose manquerait pour moi au charme de ma patrie.

— Monsieur Maxime, vous êtes l'ami de mon frère,

le bienvenu chez mes parents. Ainsi, tout naturellement, notre maison vous est ouverte.

— Et que suis-je pour vous, Sophie ?

— Un bien bon... bien ancien ami.

— Voilà pour le passé ; mais pour l'avenir?... J'étais, dites-vous, votre ami autrefois ; voulez-vous que je le sois encore, toujours ?

— Oh ! oui ; toujours !

— Mais vous aurez plus d'un ami. Me permettrez-vous d'être le plus dévoué, le plus tendre de tous, afin que nous ayons peut-être un jour un seul toit, un seul cœur, le même amour et les mêmes pensées ?

Sophie rougit davantage à ces mots, et un instant, sans répondre, laissa glisser ses doigts du piano, inclinant la tête et n'osant lever les yeux.

— Si Dieu le veut... si mes parents le veulent... si vous le voulez toujours vous-même, dit-elle enfin. Pas plus que je n'ai changé de cœur, je ne pourrai changer d'ami.

— Sophie, ma première amie, ma douce compagne, vous me rendez bien heureux... Je vais vous quitter maintenant, parce que j'ai une mission qui m'attend, un devoir qui m'appelle. Mais, quand ce devoir sera accompli, je pourrai alors penser au bonheur de ma vie, je viendrai le chercher près de vous, dans votre cœur.

— Hélas ! je ne sais si le bonheur y sera, murmura-t-elle ; mais ma tendresse y sera toujours et ne vous manquera jamais.

Voici pourquoi, lorsque Alexis et Maxime partirent,

deux jours plus tard, se dirigeant vers les steppes de Bolanki, l'héritier des Nekrasa, en se retournant plusieurs fois vers la maison blanche au bord du lac, se dit, avec un soupir joyeux, que s'il y laissait un regret, il y laissait aussi une espérance.

XIV

LES BALAGOULES

C'était encore dans un coin de la steppe, bien éloigné du dwór de Medówka, et bien plus boisé, plus accidenté, plus sauvage. La grande plaine où s'étendait le regard était moins calme et moins unie. Ici des fossés profonds la sillonnaient ; là s'élevaient d'après talus recouverts de naissante verdure ; vieux retranchements inutiles, vestiges du passé dont le temps emportait chaque jour quelques poignées de poussière, que la pluie du ciel dégradait en les arrosant, et que l'*herbe aux Tartares* enserrait dans ses tiges parfumées.

Cette terre isolée, ce grand village cosaque entrevu dans le lointain, ce dwór à deux étages, sombre et majestueux, qui se dressait au sommet d'une éminence, avaient vu bien des combats, enseveli bien des morts. Vous n'auriez pu remuer une parcelle de terre dans toute l'étendue de ce vaste horizon, sans mettre à découvert quelque fragment de casque rouillé, de cuirasse, de lance tordue, de sabre brisé ou de squelette humain.

Le dwór, isolé, bruni et un peu sombre, semblait

regarder de sa hauteur les fossés et la plaine, et secouer ses girouettes avec mélancolie, en disant : « Je me souviens ! » Les choses, en effet, empruntent à ceux qui les habitent quelque chose de leur caractère et de leur aspect, et le dernier possesseur de Bolanki, le vieux Jean Nekrasa, retenu de longues années dans la solitude et l'inaction par suite d'anciennes blessures, s'était isolé dans son *dwór* superbe, en lui communiquant un peu de sa tristesse et de son austérité. Son neveu Maxime, venu ensuite, avait eu à peine le temps de rajeunir les choses et les hommes autour de lui.

Du moins, il l'avait tenté vaillamment, et si nous nous introduisons dans la grande cour de l'habitation seigneuriale, nous y verrons à l'œuvre, dès l'abord, sinon la personne de Maxime, du moins ses inspirations et son esprit. Cette vaste cour, qui s'étendait au-devant de la façade, était bordée des deux côtés par les écuries, les chenils et quelques logis de domestiques ; les hennissements des chevaux, les aboiements des meutes s'y mêlaient et s'y répondaient, formant un vacarme confus et presque belliqueux.

Une trentaine de jeunes gens portant le costume cosaque : larges pantalons de velours serrés par une ceinture de cuir, courte tunique flottante, bottes montant à mi-jambe, s'y trouvaient rassemblés, formant des groupes joyeux.

Les uns, dans un angle de la cour, s'étaient armés de pistolets et tiraient à la cible ; d'autres, ayant jeté bas leur tunique, malgré la fraîcheur de l'air, avaient en main des fleurets mouchetés et s'escrimaient vaillam-

ment. Ailleurs, quelque hardi cavalier, sur un cheval au galop, d'un bond s'élançait en croupe, se tenant de côté, se penchant en avant, en arrière, sans selle, sans bride, et de temps en temps déchargeant un pistolet et poussant des cris de triomphe aux oreilles de son coursier.

Une des portes du dwór était ouverte, et souvent quelqu'un des jeunes *sportsmen* rentrait dans la maison et paraissait à la fenêtre d'une salle basse, portant un verre à ses lèvres, agitant dans sa main un paquet de cartes, ou faisant sauter en l'air quelques pièces d'or.

Au milieu de ces groupes animés s'élevaient des conversations bruyantes, acclamations passionnées, rires, contestations, paris, toasts, railleries, saluts, enfin toutes les folies soudaines et joyeuses qu'inspirent une jeunesse sans rêves et une liberté sans frein.

— Mais, messieurs, comment allons-nous achever la journée? demanda soudain l'un de ces joyeux compagnons. Il n'y a pas de foire aux chevaux à la ronde, pas de noces de paysans aux environs, et notre chef ne revient pas... Si nous allions à la chasse?

— Bah! toujours du gibier, cela ennuie... Si nous tirions sur d'autres bêtes, cela nous distrairait bien mieux... Mais il paraît qu'il n'est pas encore temps, et, d'ailleurs, nous ne pouvons pas commencer sans Maxime.

— Que diantre peut-il faire en un si long voyage?... Ne lui serait-il pas arrivé quelque accident? A-t-il eu maille à partir avec la police? A-t-il été enseveli par la neige et dévoré par les loups?

— Bah! il ne se déconcerte pas pour si peu. En attendant, il faut nous amuser, nous autres... Donc prenons des chevaux, courons sur la grande route et allons chercher des aventures.

— C'est cela! c'est cela!... Des aventures! crièrent-ils tous, joyeux, battant des mains et faisant sauter leurs toques en l'air.

Alors les uns donnèrent des ordres, les autres coururent aux écuries... En moins de dix minutes, tous ces turbulents étourdis, débouchant en tumulte par la porte cochère, descendaient à un galop forcené la pente raide de l'éminence, et aboutissaient à la chaussée large, bourrée de cailloux et bordée de fils télégraphiques, qui traversait la steppe et allait se perdre dans les lointains de l'horizon.

La première aventure ne se fit pas attendre. Elle se présenta sous la forme d'un juif, d'un de ces juifs roux, à la barbe frêle, aux épaules courbées, à la longue souquenille d'un noir déteint; d'un [de ces colporteurs chétifs que l'on rencontre sur toutes les routes, conduisant leurs carrioles grinçantes, couvertes de toile grise, et faisant trotliner leurs maigres petits chevaux. Celui-ci paraissait content, car si sa carriole était vide, on voyait rebondir la sacoche pendue à son côté, et tout en faisant claquer son fouet, il faisait claquer sa langue, penchant en même temps la tête avec un sourire de bonne humeur.

— Voilà un juif heureux, dit à ses compagnons Xavier, qui marchait en tête de la troupe. J'aime les gens heureux et dont le bonheur ne tient qu'à un fil. Dans la

coupe de miel qu'ils tiennent à la main, vous versez tout à coup une bonne dose de vinaigre, et puis vous vous divertissez de la mine désappointée qu'ils font en l'avalant.

— Je suis de ton avis; mais que veux-tu faire à ce juif?... Lui faire manger du porc?

— Eh! non, mon ami, ce serait donner une jouissance à son estomac, en préparant un remords à sa conscience. Il n'y aurait pas assez de vinaigre et trop de miel. Je médite quelque chose de plus amer.

— Quoi donc?... Lui couper sa barbe? Lui voler sa sacoche?

— Non, non : tu vas voir quelque chose de plus drôle et de mieux imaginé.

Et ici Xavier, faisant avancer sa monture, alla se placer en travers de la route, et barra le passage à l'équipage du juif.

— Dis donc, vieux drôle, tu as bien vendu? lui cria-t-il en arrêtant les chevaux par la bride.

— Mon jeune seigneur, vous êtes bien bon... Le commerce ne va pas fort, murmura la pauvre victime en jetant un regard de terreur sur son sac rebondi, et tourmentant d'un geste inquiet les deux touffes de sa barbe rousse.

— Le commerce ne va pas fort, dis-tu?... Eh bien, nous qui sommes de braves garçons, nous voulons te dédommager, en te procurant l'occasion de gagner une bonne petite somme. Si tu veux m'obéir, je te promets huit roubles en argent. C'est un pari que j'ai fait, vois-tu. Tu sais, nous parions souvent, nous autres gentils-

hommes. Donc, si tu me le fais gagner, tu auras, je te le répète, huit roubles en argent.

— Huit roubles en argent, — répéta le fils d'Israël, dont les yeux gris pétillaient d'un éclair de convoitise. Et pour cela, cher seigneur, que faut-il faire ?

— Ce qu'il faut faire, noble israélite?... Descendre de ta carriole et grimper à cet arbre qui est là-bas. Mes amis affirment que la chose est impossible, que tu n'es pas pour cela assez bien découplé. Moi, je soutiens que tu caches sous ta souquenille râpée la grâce et l'agilité d'un chat sauvage... J'ai dit huit roubles, et je suis sûr que tu me donneras raison.

— Monter sur cet arbre! murmura le juif, se grattant le front et secouant la tête. Mais je déchirerai ma robe!

— Je te la payerai; ne suis-je pas pour cela assez grand seigneur ?

— Je m'écorcherai les mains.

— Et les huit roubles?... Ce sera pour acheter les emplâtres.

— Et puis, ma carriole ?

— Que crains-tu ? Elle est vide, nous n'en mangerons pas le foin.

Le juif, sans oser parler, jeta sur sa sacoche un regard craintif.

— Et tu garderas, pour grimper, ton sac en bandoulière, continua le prévoyant Xavier. Et voici les huit roubles d'argent... Juif, allons, descends, et puis monte.

— Et vous me les donnerez ? Bien vrai ? demanda le

pauvre marchand, allongeant la jambe et le cou, fasciné qu'il était par le son et l'éclat des pièces brillantes.

— Aussi vrai que tu vis, mon vieux ; je te le jure par la sagesse de Salomon et par la barbe de Moïse. Et, pour te rassurer mieux encore par un serment plus chrétien, j'engage dans la conclusion du marché mon honneur de gentilhomme.

Ici, le juif comprit que le pari était sérieux ; il avait assez vécu pour ne point s'étonner des excentricités des jeunes gentilshommes ; aussi mit-il résolument pied à terre, et, concluant le marché d'un signe de tête, il s'avança vers l'arbre désigné.

C'était un orme vigoureux, au tronc assez élevé, aux branches largement étendues. Le juif s'en approcha, saisit le tronc, mit en avant un pied, puis l'autre, et, après maintes grimaces qui excitèrent au plus haut point la gaieté des jeunes seigneurs, il commença son ascension, faisant craquer sa souquenille, s'écorchant les mains, les genoux, glissant à mi-chemin pour remonter encore, jusqu'à ce qu'enfin, après beaucoup d'efforts, de peine et d'interjections piteuses, il criât d'un air vainqueur : « Les huit roubles sont à moi ! » en saisissant joyeusement les premières branches de l'arbre.

— Victoire ! victoire !... Il m'a fait gagner mon pari ! Juif, tu es un véritable écureuil, s'écria Xavier en faisant sonner la bourse.

— Un écureuil ? Dis plutôt un pierrot. Ne vois-tu pas son nez crochu, qui lui forme un bec, et la souquenille en lambeaux qui lui tient lieu de plumage ?

— Écureuil ou moineau, il offre maintenant une cible magnifique... Messieurs, nous sommes à peu près à soixante pas. Si nous le tirions ? dit Xavier.

A ces mots, le malheureux juif, poussant un cri inarticulé, étendit les bras et se précipita en avant pour s'élançer. Mais, dans ce brusque élan, sa souquenille s'accrocha à l'une des branches de l'ormeau; le poids de son corps fit plier le rameau, et le pauvre homme, tête en bas, pieds pendants, bras étendus, resta ainsi ballotté entre l'arbre et la terre.

Soudain, sur la chaussée, le galop de plusieurs chevaux retentit tout près d'eux, et détourna leur attention de l'arbre où gémissait le juif.

— Eh ! vraiment, c'est Maxime ! notre brave, notre cher Maxime ! s'écrièrent-ils avec une surprise joyeuse, en s'élançant vers le nouveau venu.

— Oui, c'est moi... Que faites-vous ici ? Quelque sottise plaisanterie, ce me semble?... Assez de farces, n'est-ce pas ? Détachez promptement cet homme. Enfin, pas de morale ; vous me revaudrez cela à l'occasion. Pour le moment, suivez-moi au dwór. J'ai un bien aimable hôte, un excellent ami, à vous présenter....

— Alexis, je vous en conjure, ne vous découragez pas dès le début, ne vous laissez pas impressionner, murmura alors Maxime à l'oreille de son ami. Je vous dois une explication, une confidence sérieuse et solennelle ; mais je ne puis vous la faire en ce moment. Attendez que nous soyons seuls ; jusque-là, soyez calme et conservez-moi votre amitié.

— Je serai calme et confiant autant que vous le

voudrez, Maxime, répondit le jeune homme, jetant un regard scrutateur sur la belle et loyale figure de son ami.

En conséquence, il ne témoigna rien de l'étonnement qu'il éprouvait ; mais il lui fut impossible de se mettre à l'unisson des dispositions bruyantes et joviales des convives, et il s'assit le front rêveur, l'âme troublée, au copieux festin du dwór de Bolanki.

XV

MASQUE ET VISAGE.

Le repas avait été long, splendide, on était au dessert ; les verres pleins succédaient aux verres vides et pétillaient à leur tour entre les mains des buveurs ; les propos bruyants, les interpellations, les rires, s'échangeaient, se croisaient tout autour de la table ; Maxime y prenait part, tantôt avec un véritable élan, tantôt avec une réserve un peu narquoise, et Alexis, gardant le silence, contemplait avec une sorte de stupéfaction ce spectacle nouveau pour lui. Enfin Maxime, las de la confusion et du bruit, saisit sa grande coupe d'argent et en frappa quelques coups sur la table. A l'instant, toutes les voix se turent et tous les regards se tournèrent vers lui.

— Mes amis, commença-t-il, jusqu'à présent je suis content de vous. Vos langues sont suffisamment déliées, votre humeur joyeuse et votre appétit solide. On vous trouvera toujours prêts lorsqu'il s'agira de s'amuser...

Mais voyons, le dessert est venu, si nous parlions d'affaires sérieuses? C'est ma méthode, à moi; je trouve qu'un peu de vin met beaucoup de flamme au cœur et beaucoup de clarté dans la cervelle... Dites-moi donc à quoi, pendant mon absence, vous avez passé le temps.

— Oh! Maxime, nous nous sommes amusés comme des dieux et nous avons travaillé comme des hommes... D'abord, le lendemain de ton départ, nous avons fait une grande battue aux loups. Un résultat superbe, imagine-toi: nous avons rapporté quarante têtes. Par compensation, Wladimir est tombé de cheval au milieu de la bande; il a eu le bras déchiré. Nous le lui avons lavé avec de l'eau-de-vie et nous l'avons conduit chez le chirurgien. Dans huit jours, il sera ici... C'est singulier comme on s'endurcit quand on est Balagoule. S'il avait reçu jadis une pareille blessure, il en aurait eu pour deux mois... Le lendemain, nous avons été dans la steppe, prendre des chevaux sauvages. Nous en avons amené douze, qui sont ici. Dix sont déjà domptés; pour les deux autres, la chose est regardée comme impossible. Émilien et Victor, les meilleurs d'entre nous, ont eu, l'un la mâchoire fracassée, l'autre a fait un saut gigantesque qui l'a envoyé au milieu du bassin; le Cosaque Nieczaja a été relevé la poitrine enfoncée et probablement n'en reviendra pas.

— Bien, dit Maxime, je monterai moi-même ces chevaux demain, dans la matinée. Gustave, continue ton récit.

— Un des nôtres, poursuivit Gustave, a encore accompli un acte de dévouement que je ne veux pas

passer sous silence, M. Kracewicz, le riche propriétaire que tu connais, a offert à Stanislas la main de son héritière, la petite Julie, qui a de si beaux yeux et une si belle dot. Il ne posait qu'une condition à son futur gendre : c'était de renoncer à notre honorable compagnie... Eh bien, Stanislas a refusé nettement. Il a répondu que les demoiselles trouveront toujours de bons maris, mais qu'il n'y aura jamais assez de francs et vaillants Balagoules.

— Bien répondu, dit Maxime, tendant la main à Stanislas avec un regard affectueux. Mais, continua-t-il avec un soupir, tu n'aimes donc pas Julie ?

— Si vraiment, dit le jeune homme. Mais il y a quelque chose que j'aime mieux, ce sont mes projets et mon pays.

A peine eut-il prononcé ces mots qu'il jeta sur Alexis un regard troublé, comme s'il craignait d'en avoir trop dit.

— Ne crains rien, Stanislas, reprit Maxime, qui surprit ce regard. Tu peux parler librement devant Alexis Madejski, car il est mon ami, presque mon frère. Et je ne suis pas fâché du tout que vous vous soyez confessés devant lui. Oh ! mes amis, vous êtes turbulents, insensés, parfois féroces ; mais c'est que, tout simplement, vous êtes venus trop tard. Deux cents ans plus tôt, vous auriez été des Bogdan, des Czarniecki, des Mazeppa !... Hélas ! en ce siècle d'industrie et de progrès, où tout se rapetisse, où tout vieillit, pauvres héros devenus nains, vous ne serez plus que des Balagoules !... Ah ! ce n'est pas votre faute, mes

frères, c'est celle de votre temps et de votre pays!

Ici Maxime, appuyant un instant ses coudes sur la table, cacha dans ses mains son visage, sur lequel retombaient les anneaux de ses longs cheveux noirs.

— Oh! soupira-t-il avec une expression amère, que font-ils, les tyrans, les maîtres, sur cette terre où nous sommes nés, où nous devons mourir? Tiens, Alexis, pour bien me comprendre, ouvre les yeux, regarde ce que devient notre pays. Que font-ils de la steppe, notre nourrice, notre mère, le berceau sans limites où nos aïeux, avec les brises lointaines, respiraient la vie et la liberté?... La steppe disparaît, la steppe est morte. A peine, de loin en loin, rencontre-t-on, comme chez toi, comme ici, quelque espace vierge où croissent encore les plantes vigoureuses, les herbes parfumées; où le vent passe et murmure sur les tombes modestes, mais immortelles, des héros du passé... Partout ailleurs, ce n'est plus le romarin des morts, ni le chêne isolé, ni la menthe sauvage, ce n'est pas même le blé, ce grand nourricier des Cosaques, qui croissent sur les tombeaux; c'est... j'ai honte de le dire!... c'est la plante des raffineurs, l'espoir des trafiquants. On a comblé les fossés des Tartares, aplani les monticules des héros, pour avoir des champs vastes, féconds et plats, comme ceux qui les cultivent... Et la betterave naît dans les vieux casques de fer, elle étale ses feuilles larges et bêtes sur les sillons sans gloire où dorment les aïeux. Mon pays était un camp et un arsenal; ils en ont fait une fabrique et une boutique... O poétique et mystérieuse Ukraine, que nous avons tous vue, dans nos jeunes

rêves, si mélancolique et si fière, avec tes légendes naïves, tes combats gigantesques, tes fils héroïques et songeurs, tu n'as plus de guerriers, de bandits, ni de poètes, mais rien que des industriels, des trafiquants, des commis, qui plantent leurs moissons sur des tombeaux, qui raffinent leurs produits avec les os de leurs pères, qui oublient l'histoire pour apprendre la comptabilité, qui font du sucre et prennent du ventre !

Et Maxime, en achevant ces mots, laissa tomber ses bras sur la table, et garda le silence un instant, sombre et découragé.

— Et cependant, reprit-il après un long soupir, tout cela nous serait utile et bon si nous étions libres. Mais, tant que notre terre n'est pas à nous, ne nous chargeons point de liens qui nous attachent à elle... Plutôt mille fois vivre redoutés, indépendants, sauvages, comme vous le faites, ô mes amis ! A notre époque, les fils de notre pays ne peuvent plus être soldats vaillants, citoyens libres ; il faut qu'ils s'aplatissent ou s'insurgent, qu'ils soient courtisans ou bandits... ce sont deux partis extrêmes... Les Balagoules ont choisi le dernier !

— Bravo ! vivat ! il a raison, s'écrièrent en chœur les convives. La balance et l'aune ne sont point armes de gentilshommes... A nous les verres, les cartes, les haches et les fusils !... Vivent les Balagoules ! vive leur hetman Maxime ! vive la liberté !

Ils prononcèrent ces mots en choquant leurs verres, en faisant tinter sur la table les couteaux et les bouteilles, et leurs bruyants éclats de voix, répétés en écho dans la haute salle du dwór, retentirent jusque dans la



Vivent les Balagoules !

cour, où ils s'éteignirent en un souffle faible, emporté par le vent qui passait.

— Bien, mes amis, dit alors Maxime en se levant. J'ai parlé, vous m'avez répondu. J'espère qu'en plus grave occasion vous me répondrez encore de même. Maintenant, je vous laisse pour quelques heures. Amusez-vous bien ; à ce soir !

Les convives alors se dispersèrent, les uns allant fumer leurs pipes sur le perron, les autres recommençant leur éternelle partie de cartes, quelques-uns ouvrant la porte des chenils et sifflant une partie de la meute, pour tirer des lièvres dans les champs voisins. Quant à Maxime, il prit le bras d'Alexis et l'emmena dans sa chambre.

— Mon ami, lui dit-il, je te dois une explication. Mes épanchements de tout à l'heure te l'ont déjà à moitié donnée ; pourtant mon but véritable est encore caché à tes yeux... Il ne doit pas y avoir d'ombre entre nous, Alexis, et pour toi seul je lèverai le voile... Tu vois mes compagnons, mes amis, ceux avec lesquels je passe mes jours depuis mon retour du Caucase... Que penses-tu d'eux et de moi ? dis-le-moi franchement.

— D'eux ? répondit aussitôt Alexis ; je pense que ce sont des fous et des barbares. De toi, je pense que tu es un songeur, un esprit sans frein, un cœur noble, une pauvre âme errante, à laquelle la suprême lumière a manqué.

— Ne parlons pas de cette lumière-là, Alexis. Si elle luisait maintenant pour moi, elle n'aurait à éclairer que des décombres. Mais tu as dit que je suis un rêveur, et

sur ce point tu as raison. Laisse-moi te parler un moment, je vais te raconter mon rêve.

Et ici Maxime, se penchant sur son fauteuil, fixa ses yeux profonds sur les yeux sereins de son ami.

— Quand j'étais bien loin d'ici, reprit-il alors, pendant de longues années de combats et d'exil, j'ai fait un songe trompeur et doux, j'ai rêvé la patrie!... C'était à elle qu'on m'avait donné tout enfant ; moi, le dernier d'une race antique et vaillante qui a versé tout son sang pour elle... C'est pour cela que je lui tendais les bras comme à une mère, tout en la révérançant comme une majesté... Eh bien, lorsque je suis revenu ici, je n'y ai trouvé ni reine ni mère, mais une esclave... Partout la corruption et la servitude ! partout l'égoïsme ! partout la peur ! Et la Pologne vivra, disait-on. Comment donc vivra-t-elle, puisque ses fils sont des laquais ou des esclaves?... Songe que je ne parle pas ici des gens comme toi, Alexis, que je n'ai rencontrés qu'en nombre insignifiant, et qui se font une patrie, une foi, une liberté, dans ce sanctuaire mystérieux de leur Dieu et de leur âme. Mais, mon ami, je te le jure, je n'ai trouvé quelques étincelles d'ardeur, de dévouement, d'illusions vivaces et généreuses, que parmi ces fous et ces barbares, comme tu les appelles ; parmi ces jeunes débauchés qui se sont fait un monde, une vie et une morale à part, qui ne craignent et ne respectent rien, qui n'estiment et ne demandent rien, et auxquels les plus grands excès semblent aussi naturels que les plus grands sacrifices... Alors, j'ai pensé à utiliser cette ardeur sans but, cette fougue sans lendemain ; j'ai voulu

creuser un lit au torrent, l'y rassembler, l'y contenir, afin qu'un jour, irrésistible, foudroyant, il se précipite, comme une cataracte, et submerge tout, comme un déluge... Et le plus beau de mon plan, vois-tu, c'est que nos ennemis nous laissent faire. Ils nous voient boire, jouer, chasser; ils se frottent les mains en disant: « Les ivrognes et les joueurs ne conspirent pas; que ces jeunes gens s'amuse. » Mais c'est qu'ils n'ont pas bien épié nos jeux; autrement ils verraient des images sanglantes se mêler à nos cartes dorées; ils ne savent pas qu'avec la dernière goutte restée au fond de nos verres, nous porterons un toast à la vengeance et à la mort!

Et Maxime s'était levé soudain. Parcourant la chambre à grands pas, le visage rayonnant, la tête haute, les cheveux rejetés en arrière, il semblait saluer déjà l'aurore du dernier combat.

— D'ailleurs, continua-t-il, en ce moment leurs yeux sont tournés vers un autre danger, tout proche et formidable d'aspect. Les flottes alliées se dirigent vers la Crimée. Avant quelques semaines, Sébastopol verra deux armées sous ses murs. Nous aurons alors le champ libre et la victoire aisée. Depuis longtemps déjà nos Cosaques d'Ukraine se plaignent et s'agitent: tous ont des griefs, des souvenirs, des armes; tous se soulèveront, le jour où ils verront paraître leur ancien étendard, porté par le fils de leurs hetmans, par un Cosaque comme eux, qui viendra avec eux mourir en brave ou vivre libre... Alexis, voilà ce que je ferai, ce que nous voulons faire... Comprends-tu maintenant le motif de tout ce que nous faisons aujourd'hui?

— Je le comprends, mais je ne l'excuse pas, Maxime, répondit le jeune homme, avec une expression de douloureuse gravité. Tu te sers de moyens pervers pour arriver à un but héroïque. Notre cause est si belle et si pure qu'on ne doit la servir qu'avec des mains pures, des esprits sans ombre et des cœurs dévoués. Tes compagnons méprisent la vie et bravent la mort, je le sais ; mais pourquoi ne pas leur apprendre d'abord à purifier, à ennoblir leur vie, pour qu'ils puissent ensuite rencontrer la mort d'un œil plus tranquille et d'un pas plus assuré ? La tâche qui se présente à vous est difficile, sombre, sanglante ; crois-tu qu'un peu de foi, d'espérance et d'amour n'eût pas rendu vos âmes plus sereines et votre horizon plus souriant ?

— Alexis, tu parles ici comme un apôtre, tandis qu'il faut comploter comme un conspirateur... Nous ne songeons pas à fonder, vois-tu ; nous avons d'abord à détruire. Et c'est une sale besogne qui se présente à nous. Un homme bien avisé, n'est-ce pas ? ne prend pas de gants blancs pour nettoyer une écurie.

— Non, sans doute ; mais un homme qui tient à se conserver pur, rejette loin de lui la boue, et ne va pas se plonger de gaieté de cœur au milieu des ordures... Mon ami, ton rêve est généreux, mais il est impossible : on ne crée rien de noble avec ce qui est souillé.

— Pauvre ami, répondit Maxime en haussant les épaules et en souriant, on voit que tu as beaucoup vécu avec tes livres et avec Dieu, et fort peu avec les hommes. Crois-tu qu'ils me suivraient, mes compagnons d'aujourd'hui et mes soldats de demain, si je leur prê-

chais la pénitence et l'austérité ; si, au lieu du verre de champagne et des cartes à jouer, je leur offrais le cilice et la cendre ? Ah ! nous savons trop, eux et moi, que la vie est courte ; aussi nous voulons l'avoir belle. Un peu de joie et de folie, au moins, et une rasade dernière, avant la balle ou la corde qui nous attend demain.

— Oui, voici sur quoi je comptais, murmura Alexis tristement. Sombre gaieté du désespoir, dont s'enivrent ceux qui n'ont jamais regardé plus haut que la terre !... Pauvres fous, hélas ! et pauvres frères ; vous saurez mourir, mais vous ne saurez pas fonder... L'œuvre de notre rédemption sera bien difficile, ô ma pauvre patrie !

— Ainsi, répliqua Maxime brusquement, faisant un geste d'impatience et venant se placer en face de son ami, ainsi tu ne marcheras pas avec nous ? tu nous abandonneras à notre damnation, et tu poursuivras tranquillement tes patenôtres et tes homélies ?

— Dans la route que vous suivez maintenant, je ne vous rencontrerai certainement pas, répondit Alexis d'une voix tranquille. Que ferais-je au milieu de vous ? Je ne sais ni boire ni jouer ; je respecte la personne et le bien d'autrui, et surtout la dignité de ma propre conscience... Mais la main qui se refuse aux étreintes de la folie, peut s'offrir encore à vous au moment du péril. Pas plus que vous, je ne crains la mort ; seulement je tâche d'employer mieux ma vie. Si mon appui, mon dévouement, mon exemple peuvent quelque chose à l'heure décisive, tu n'as qu'à dire un mot, Maxime,

tu me trouveras prêt... Seulement, d'ici là, nos entrevues seront rares. Ma présence gêne tes compagnons ; mon austérité les effraie... Je pourrais involontairement les éloigner, et à moi seul je ne les remplacerais pas. Je te quitterai donc bientôt ; mais promets-moi que nous te saluerons encore dans la maison de mon père.

— Oh ! oui, j'irai certainement. Un jour, dans quelque temps, j'aurai à causer avec lui. Oh ! qu'il apprenne à me connaître, Alexis ! fais-lui bien distinguer mon masque de mon visage ; dis-lui qu'une fois la honte et le péril oubliés et la patrie triomphante, je secouerais bien loin de moi tous les vestiges du passé, que je redeviendrais un homme sage, un citoyen honnête ; que je ne penserai plus qu'au bonheur des miens et à la prospérité de mon pays... Quand j'étais enfant, il m'a plusieurs fois donné sa bénédiction paternelle ; dis-lui que je m'en souviens, prie-le qu'il me la conserve... Et en attendant, tolère mes compagnons, supporte-les par amitié pour moi, je t'en prie... Je te promets, Alexis, que je te dédommagerai un jour.

Et certes le jeune Madejski avait assez le sentiment des convenances pour ne point se montrer ennuyé ou scandalisé. Pendant les deux jours qu'il passa à Bollandki, ses bruyants compagnons n'eurent à lui reprocher autre chose que de mettre de l'eau dans son vin, de négliger les cartes, d'être taciturne, distrait, un peu dévot.

Seulement, dès qu'il fut rentré dans son *dwór* de *Medówka*, il eut une longue et sérieuse conversation avec son père, il lui dit tout : ce qu'il avait vu, ce qu'il

avait deviné, et aussi ce qui lui avait été révélé, ce que projetait Maxime. Il y allait d'abord de l'avenir, du bonheur de Sophie; puis, quand même Alexis n'eût pas eu de sœur, il ne savait pas mentir... Et pourtant, il se sentit le cœur serré quand, à la fin de son récit, il vit son père secouer tristement la tête et passer sa main ridée dans ses cheveux blancs, en murmurant : « Pauvre Maxime ! »

— Père, s'écria alors Alexis, sans le savoir, je vous l'ai peut-être mal représenté. Maxime a le cœur le plus noble, l'âme la plus généreuse, les projets les plus vastes et les plus désintéressés...

— Qui n'aboutiraient, hélas ! qu'à semer autour de lui du sang et des ruines. Mon fils, tu les connais aussi bien que moi, ces belles paroles du prophète : « Si le Seigneur ne bâtit lui-même la maison, en vain s'appliquent et se fatiguent ceux qui la construisent. » Et ici le Seigneur, crois-moi, ne mettra pas la main à l'œuvre : Maxime ne le lui a pas même demandé... Maintenant ta sœur me paraît un peu triste depuis quelques jours. Je crois qu'il serait à propos de lui faire quitter Medówka, de la distraire par un séjour à la ville.

— Précisément on attend à Kiew, ces jours-ci, le grand-duc et sa femme. Il y aura en leur honneur des fêtes brillantes, et, quoique nous ne les recherchions pas, d'ordinaire, à la rigueur pourtant nous pouvons y assister.

— Eh bien, mon enfant, dit le vieillard, je vais parler de notre projet à ta mère, et si elle ne fait pas d'objec-

tions, dans deux jours nous nous mettrons en chemin.

Et M^{me} Thècle Madejska ne fit point d'objections. Elle n'aurait pas été mère si elle ne se fût pas réjouie à l'idée de montrer au monde une fille aimable et charmante, fraîche rose des plaines allant s'épanouir, dans toute sa virginale beauté, au milieu des salons qu'elle ornerait pour la première fois.

Aussi, deux jours plus tard, tous les préparatifs étaient faits, toutes les malles closes, et en face du perron, au fond de la grande cour, se présentaient à la file la vaste berline de famille, la *bryczka*, la *tarantas* et le chariot de transport qui allaient entraîner sur la route de Kiew les propriétaires de Medówka, leurs servantes, leur cuisinier, leurs provisions et leurs bagages.

XVI

UN ANCIEN AMI.

La vieille ville des grands-ducs était déjà pleine de mouvement et de bruit lorsque nos amis y arrivèrent. Le Kryschatki¹ était sillonné par d'élégantes voitures se croisant dans tous les sens, étalant au soleil de mai leurs housses frangées de soie et d'or; sur les sièges, sur le strapontin des laquais, la vue des domestiques en costumes russes, polonais, cosaques, cracoviens, tartares, rappelait, en passant, que le luxe des deux

¹ Sorte de boulevard ou d'avenue qui est le centre élégant de la ville de Kiew.

mondes se donnait là rendez-vous, rassemblant les types les plus variés de l'Europe et de l'Asie.

Dans les salons, se pressait la foule la plus diverse, la plus brillante. A la suite du prince et de la princesse, étaient venues maintes grandes dames, puis nombre d'officiers d'état-major de l'empereur. En outre, c'était la saison où les grands dignitaires du Caucase, lorsqu'ils obtiennent la faveur d'un congé, traversent les steppes des régions orientales et les flots de la mer Noire, pour venir respirer l'air de leur beau ciel européen.

Cette année-là précisément, l'émigration caucasienne était encore plus brillante que de coutume. On y comptait, entre autres, au premier rang des notabilités, le vieux général gouverneur de notre connaissance. Ce digne officier avait, quant à l'extérieur, considérablement changé. Ses cheveux avaient sensiblement blanchi; mais ils étaient pommadés, soyeux, partagés au milieu du front par une raie bien nette, comme si, au lieu d'appartenir à un Tartare, ils eussent crû sur le crâne d'un gandin. La moustache en brosse était devenue une moustache en croc, grâce à un puissant renfort de cosmétique; et, enfin, le général, au lieu de sentir l'oignon, répandait ordinairement autour de lui le suave parfum de la violette. De plus, on remarquait qu'il s'habillait bien plus élégamment, et qu'il avait une autre manière de saluer les dames. Aussi ses anciens amis, qui l'avaient connu soudard, grognard, grenadier dans toute l'acception du mot, et qui le retrouvaient parfumé, ganté, et gandin à demi, s'en étonnaient pro-

fondément et ne trouvaient qu'une seule raison pour expliquer cette étonnante métamorphose : « Une femme a passé par là, » disaient-ils. Et en vérité ils n'avaient pas tort.

Car désormais les officiers, admis dans le salon du vieux commandant pour y prendre le thé, n'apercevaient plus sur la table les cartes, le bol de punch, les pipes ; mais ils voyaient, assise sur le sofa de brocard, une dame aux yeux de velours, aux dents de perles, à la chevelure de jais, parée comme une reine et belle comme une fée. Le général gouverneur baisait le bout de ses doigts roses et lui disait : « Ma femme », et l'on comprenait alors pourquoi le général ne sentait plus l'oignon.

On conçoit qu'en cette atmosphère de dissipations, de splendeurs, de fêtes, les Balagoules dussent se trouver comme dans leur élément. Il y avait là, pour la plupart d'entre eux, des émotions à attendre, des triomphes à obtenir, du butin à espérer, et peut-être quelques brillantes recrues à faire. Leur hetman, leur guide bien-aimé, Maxime, ne pouvait manquer de se montrer en une aussi splendide occasion.

Il se montra donc, et d'une manière presque royale.

La première fois qu'il parut sur le Kryszczałki, dans une calèche éblouissante traînée par quatre chevaux d'un noir d'ébène, aux rênes rouge et or, aux rosettes de diamants, tous ceux qui ne le connaissaient pas le prirent pour un prince. Gustave von Steinköller passa à côté de lui à cheval, répondit à son salut par un geste poli, mais guindé, et pensa immédiatement à engager

une de ses terres en Courlande, pour se procurer un équipage au moins égal à celui-là.

De sa fenêtre, Sophie Madejska l'aperçut aussi, et se pencha à son balcon, le suivant des yeux, murmurant, fière de lui et doucement joyeuse :

« Oh ! quel bonheur de le voir ainsi, lui, mon ami d'enfance !... le plus riche, le plus fier et le plus beau de tous ! »

Elle avait peut-être parlé un peu trop haut, car elle entendit soudain un soupir derrière elle, et, se retournant, elle aperçut Oxana, toute pâle, qui soulevait un coin du rideau, et laissait tomber un regard à la fois triste et brillant sur l'éblouissante calèche.

— Je le crois bien, demoiselle... On dit qu'il est roi ! murmura la jeune serve avec l'expression d'un respect involontaire.

— Roi?... quelle folie ! M. Nekrasa est, comme mon père, un simple gentilhomme, mais de très noble famille, et très riche assurément. De quoi donc serait-il roi ?

— Je ne sais pas, murmura Oxana en s'éloignant de la fenêtre. Et elle ajouta bien bas, un peu plus loin : « Peut-être de quelques cœurs ».

Et Maxime était passé.

Il avait aussi, lui, jeté vers ce balcon un regard radieux accompagné d'un sourire, puis un soupir était venu. Aussi, inclinant la tête et lâchant les rênes à demi, il cessa de regarder la foule qui passait sur la chaussée, sur les trottoirs. Tout à coup une voix bien connue retentit à côté de lui, et fit entendre cette exclamation joyeuse :

— Maxime!... c'est toi!... Que je suis heureux de te retrouver ici!

— En vérité! c'est toi, Daniel! dit Nekrasa, qui avait vivement relevé la tête. Allons, viens; monte ici, nous causerons. Tant de jours se sont passés depuis nos adieux du Caucase!

— Oui, certes, et tant de changements aussi, dit Daniel, enchanté de faire briller son uniforme dans une aussi splendide voiture, traînée par d'aussi magnifiques chevaux. D'abord, celui de nous deux qui a le plus changé, c'est toi, mon cher, et, j'en remercie le ciel, à ton grand avantage. Tu comprends qu'à mon arrivée dans cette ville, mon premier soin a été de m'informer de toi... Or, le capitaine Maxime, personne ne le connaît; mais, à sa place, on admire le seigneur Maxime, l'élégant Maxime, le riche Maxime... Tu es un des illustres du gouvernement, et je t'en félicite. Quant à moi, je poursuis mon petit bonhomme de chemin, en montant doucement de grade en grade. Que veux-tu! moi, je n'ai pas à attendre de grosses lettres cachetées de noir, des testaments d'oncles et d'ébouriffantes successions... Seulement, je suis depuis quelques mois le satellite de deux astres de première grandeur: le gouverneur et sa femme.

— Et sa femme? répéta Maxime au comble de la surprise. Le général est marié?

— Assurément... et tu ne sais pas avec qui, encore? Eh bien, il est marié avec la belle des belles, l'étoile du Caucase; avec Praxède, fille et veuve des princes Valiani.

— Avec Praxède?... Est-il possible ! s'écria Nekrasa stupéfait.

— Eh ! oui, mon cher... le dépit ! Le dépit fait faire tant de choses aux hommes et aux femmes !... Or, le général et sa présente épouse étaient l'année dernière fort dépités tous les deux. D'une part, le petit enseigne Nicolas Constantinowicz tournait mal, faisait des dettes et riait au nez de son oncle ; de l'autre, le pauvre cœur de la princesse était encore gros de rancune à l'adresse de certain fuyard que je connais. Le général voulait punir son neveu, l'aimable veuve oublier son infidèle. Bref, le dépit aidant, et puis l'immense fortune du général aussi, ces deux ressentiments ont fini par une alliance... Quant à moi, pour cadeau de nocces, j'ai reçu mon brevet d'aide de camp. Je m'étais fait des deux fiancés autant d'amis ; la complaisance ne peut jamais nuire. D'abord, j'ai été souvent admis à l'honneur de faire la partie d'échecs du général, et, comme il convient, je me suis laissé battre. Ensuite, j'ai rendu assez fréquemment visite à la princesse ; je lui ai parlé de toi, et, ne t'en fâche pas, j'en ai toujours dit du mal. C'était là, mon bien cher ami, le meilleur moyen de lui plaire. Bref, depuis que le gouverneur et la princesse sont mariés, je suis leur aide de camp, leur régisseur, leur factotum à tous les deux. Je rédige les ordres du jour de l'un, et je fais les commissions de l'autre. Position très complexe, très laborieuse assurément, mais aussi très agréable ; elle me vaut d'excellents dîners, de nombreuses invitations, parfois quelques jurons du général ou quelques remerciements de sa femme. J'ai le carac-

tère bien fait, tu sais ; les uns ne m'enorgueillissent pas plus que les autres ne me découragent. Et tout cela contribue à mon avancement, mon cher ; tout cela me mettra à même, l'un de ces jours, de faire quelque beau mariage..... Mais toi... dis-moi franchement, Maxime... tu ne penses pas à te marier ?

— Si vraiment... quelquefois. Mais je pense à autre chose encore. J'ai assez vécu, il est vrai, pour voir se réaliser une partie de mes rêves. Mais le reste, mon ami ? ce mirage éblouissant qui devant moi rayonne et s'envole ?... l'atteindrai-je jamais, ce splendide horizon ?... Va, le vieux général a la peau bien tannée et la chevelure bien grise ; que savons-nous cependant s'il ne tordra pas sa moustache et ne commandera pas le feu, sur le cercueil de l'un de nous ?

— En vérité, Maxime, voilà des idées lugubres !... Conçoit-on qu'il puisse t'en venir de pareilles, sur le Kryszczatki de Kiew, en face des balcons des dames, par un beau soleil de printemps et vingt-deux degrés de chaleur ?

— Tu le sais, j'aime les contrastes... Et puis, il n'y a rien de tel que de penser à la mort pour trouver le soleil radieux, le vin bon et la beauté charmante. Plus les biens d'ici-bas sont fugitifs, plus on les apprécie.

— Merci de la philosophie ! Si je l'adoptais pour mon usage, elle inonderait d'amertume les huîtres et le filet de chevreuil qui m'attendent chez le général... Tiens, voici justement son hôtel. Tu ne veux pas te présenter chez lui ? Non, parjure, ta conscience est là... Ainsi, au revoir, Maxime.

Et Daniel, serrant la main de son ami, s'élança hors de la voiture et disparut sous le porche de l'élégante habitation.

— Hélas ! celui-ci n'a pas placé son idéal bien haut, murmura Maxime en le regardant s'éloigner. Tout ce qu'il désire pour le présent, il l'a sous la main ; tout ce qu'il rêve pour l'avenir, peut lui échoir sans trop de peine. Ah ! Daniel, tu te trompais, à Tiflis ; ce n'était pas de moi, mais de toi, qu'il fallait dire : « Tu es vraiment un homme heureux ! »

Ici, il se laissa aller à rêver un instant, puis il reprit :

Non, non, je n'irai pas chez le général ; j'y reverrais Praxède. Elle doit me haïr, ce n'est que juste. Et ce n'est pas son souvenir qui pourrait chasser de mon cœur, aujourd'hui, la chère image de Sophie... Oh ! oui, je le sens maintenant, c'est cette compagne de mon enfance, c'est cette bonne petite amie, qui seule est faite pour moi... Avec elle, je n'aurai à craindre ni fierté ni caprices ; elle croira en moi toujours, elle m'aimera toujours, elle ne se plaindra jamais... Oh ! quels beaux jours nous aurons tous deux dans ma vieille maison de Bolanki, si Dieu m'exauce !... Dieu ! répéta-t-il après un moment, comme surpris que ce nom fût venu par hasard sur ses lèvres. Dieu !... Alexis avait raison, je l'ai trop oublié... Mais, bah ! on ne peut pas servir deux maîtres à la fois. Il n'est guère facile d'être dévot quand on est Balagoule... Allons, les amis, du vin plein les verres, de l'or plein les mains, de l'audace plein le cœur ! Soyez les joyeux fous, les héros, les rois du monde, avant d'en être les vainqueurs ;

émerveillez-le avant de l'effrayer ! Nous sommes bien près du but... Avant trois mois, nous aurons compté avec notre destinée.

C'était à haute voix que Maxime avait prononcé ces derniers mots, car il était arrivé au cercle où se tenaient les réunions de sa brillante troupe, et ses camarades étaient accourus à sa rencontre, dès qu'ils avaient aperçu sur la chaussée les quatre fringants chevaux noirs.

Et, dans les premiers moments où ils le tinrent au milieu d'eux, la jeunesse et la gaieté prenant le dessus, ils ne lui parlèrent ni de leurs projets sérieux ni des chances de l'avenir, mais bien du présent, du monde, du bruit, des fêtes auxquelles ils avaient assisté, et de celles qui se préparaient encore.

XVII

LE BAL MASQUÉ.

Kiew a vu rarement dans ses murs autant de réunions splendides, autant de fêtes brillantes, que celles qui s'y donnaient à cette époque. L'une des plus éblouissantes, dont les habitants de Kiew conservent encore le souvenir, fut le bal masqué offert à ses hôtes impériaux par le prince W..., gouverneur de la ville, dont l'affabilité charmante, le naturel conciliant et le tact délicat n'établissaient aucune distinction entre tous ses administrés, et lui attiraient, en retour, les sympathies de la foule. Aussi vit-il ses invitations de toutes

parts acceptées; aussi ses salons s'ouvrirent-ils, le grand jour venu, à tout ce qu'il y avait de brillant dans l'une et l'autre société.

La princesse W... avait particulièrement insisté pour que M^{lle} Sophie Madejska voulût bien consentir à être l'une des étoiles de cette fête. Lorsqu'il fut question du costume, M. Madejski, qui n'avait accordé son consentement qu'avec peine et qui respectait les anciennes traditions, voulait que sa fille parût en habit de Cracovienne; M^{me} Madejska, qui avait toujours conservé de délicieux souvenirs d'un voyage dans l'Oberland, proposait à Sophie de devenir Suisse. Mais ce fut une amie qui trancha la question, en représentant que le teint de la jeune fille, suave de coloris et éblouissant de blancheur, paraîtrait encore plus merveilleux auprès d'une chevelure poudrée, et décida que Sophie porterait à cette fête les jupes satinées, les paniers bouffants, les manches à sabots de dentelle, les souliers à talons rouge et la coiffure mêlée de fleurs et de perles, des marquises Pompadour.

De toutes les personnes qui discutèrent à cette occasion, ce fut Sophie qui se montra la plus désintéressée, la plus indifférente. Elle ne ressentait qu'un attrait médiocre pour tout ce monde, ce mouvement, ce bruit, et de ce bal, en particulier, elle n'attendait qu'un seul plaisir: celui d'y retrouver Maxime. Depuis son arrivée à Kiew, elle ne l'avait vu que deux fois, en passant, et il lui tardait de pouvoir causer encore du passé, de leurs beaux jours, à cet ami de son enfance.

Aussi, quand, le soir du bal, la jeune fille, donnant le

bras à son père, fit son entrée dans les salons éblouissants de lumière, de pierreries, de fleurs, elle ne jeta qu'un regard sur les magnificences et les enchantements de la salle, puis chercha attentivement parmi la foule celui qui, depuis tant d'années, occupait une des meilleures places dans son cœur. Tous ces hommes aux brillants costumes, qui se pressaient autour d'elle, étaient travestis et masqués; elle n'aurait pu dire le nom d'un seul d'entre eux, mais elle savait bien qu'elle reconnaîtrait Maxime. Il y aurait pour elle, dans sa tournure, dans son aspect, dans les plis de sa chevelure, dans le son de sa voix, un charme particulier qui le ferait aussitôt reconnaître, quelque chose qui dirait : « C'est lui ! » Et elle resta, en attendant, silencieuse, presque indifférente, jusqu'au moment où elle vit s'approcher d'elle un beau cavalier, dont le costume de velours noir était encore moins noir que sa riche chevelure.

Alors, sous sa poudre, ses dentelles, la gentille marquise tressaillit, et le contour de ses joues, si blanches à côté du masque de satin, se colora d'une belle nuance rosée.

Maxime avait pris le costume des nobles génois des premières années du dix-septième siècle : le pourpoint de velours brodé de jais, les hauts-de-chausses à touffes de rubans violets, le col de fine guipure, la toque à plumes, la chaîne d'or, la dague finement ciselée de ce fier et séduisant Fiesco, qui cacha tant d'audace et de profondeur sous tant de légèreté et de coquetterie, et qui, avant de devenir le héros des places

publiques, fut l'astre des salons patriciens. Le descendant des hetmans cosaques avait, dans sa tournure; quelque chose de la hautaine dignité et du laisser aller superbe du descendant des marquis génois; c'était la même assurance, la même grâce, la même témérité, et, s'il eût ôté son masque, on eût pu voir briller sur son front et dans ses yeux un feu à la fois plus ardent et plus sombre que les feux du bal, comme le lointain reflet d'un volcan voilé à demi par des buissons de fleurs et des massifs de verdure. Il s'inclina profondément en approchant de Sophie, et lui tendit la main.

— On n'a pas encore dansé, dit-il. Voulez-vous m'accepter pour cette polonaise ?

— Oui, n'est-ce pas, mère ? dit Sophie, c'est Ma... c'est M. Maxime.

— Oui, vraiment, puisque c'est Maxime... Ah ! mon cher enfant, je ne vous aurais pas reconnu sous ce noir costume de conspirateur.

— Un costume historique, madame ; une idée... une fantaisie. Il ne m'empêchera pas d'être gai, je vous assure. Entre le masque et le visage, il faut savoir distinguer.

Mais les danseurs étaient en place, le défilé commençait, et Maxime, radieux, s'éloigna avec Sophie.

Ils s'en allaient ainsi, rayonnants, silencieux, émus. Depuis longtemps ils attendaient ce moment qui devait les rapprocher l'un de l'autre, et ils n'avaient pas besoin de se parler pour se dire qu'ils étaient heureux.

Lorsqu'ils furent arrivés dans un petit salon que traversait la longue et joyeuse file, une des roses qui

relevaient la tunique bouffante de Sophie se détacha et tomba sur le parquet. Tous deux alors s'arrêtèrent, et Maxime ramassa la fleur.

— Elle vous a quittée pour tomber à mes pieds, dit-il en souriant. Voulez-vous la reprendre, ou me la laisserez-vous en souvenir de cette belle soirée où, à travers la foule et malgré nos masques, nous nous sommes reconnus?

— Gardez-la, dit Sophie timidement. Vous m'avez autrefois cueilli bien des fleurs; vous en souvenez-vous?... Que celle-ci vous reste en échange.

— Écoutez-moi, chère Sophie: si je vous la demande, ce n'est qu'en attendant..... Un jour, vous apporterez, je l'espère du moins, des présents bien plus doux dans ma vieille maison déserte: votre main blanche, votre anneau d'or, votre fraîche couronne de mariée, votre cœur surtout, trésor que je ne pourrais pas payer et que je ne mérite pas. Alors vous y retrouverez, aimée, honorée comme un vrai gage de bonheur, votre rose d'aujourd'hui: « Je savais bien que tu me suivrais, vous dira-t-elle, et c'est ici que je t'ai attendue, toujours parlant de toi à ce cœur qui t'appartient. »

Sophie, qui tremblait un peu sous les regards profonds que son ami attachait sur elle, s'assit un instant auprès d'une grande corbeille parfumée, et répondit d'un son de voix timide et frémissant:

— Oh! que j'avais bien fait de ne pas vous oublier, Maxime... C'était justement notre rêve d'autrefois de ne jamais nous quitter, de passer notre vie ensemble!

— Et il y a tant de pauvres cœurs qui jamais ne

voient s'accomplir leurs rêves!..... Oh! Sophie, nous sommes bien heureux!

Et Sophie l'écoutait avec un doux ravissement; elle ne rougissait presque plus, tant elle se sentait à la fois heureuse et innocente. Quel remords pouvait-elle avoir? Quel trouble pouvait l'agiter? Tout, dans sa tendresse, était confiant, naïf et pur. Ce cher compagnon des premiers ans deviendrait le compagnon de toute sa vie; ils s'aimeraient tous deux fidèlement, uniquement, comme ses vieux parents s'étaient aimés.

Elle était sûre que Maxime, ainsi qu'elle, n'avait jamais eu qu'une pensée, qu'une affection, qu'un souvenir au cœur, et que, lorsqu'ils iraient tous deux, la main dans la main, présenter leurs fronts inclinés à la bénédiction de son père, celui-ci leur dirait avec un sourire, en les embrassant tous deux : « Je vous crois et je vous bénis, vous qui êtes également purs, également sincères; allez, aimez-vous, soyez heureux, je ne vous demande rien de plus. »

Elle se taisait en souriant, et Maxime lui parlait à demi-voix. Qu'étaient-ce que ces mots qui se pressaient éloquentement sur ses lèvres? Espérances ou promesses, rêves ou souvenirs?..... Chacun de nous l'a su peut-être, mais personne ne s'en souvient. Ces premières joies tendres et pures sont comme enveloppées d'un nuage; c'est le brouillard doré de l'innocence, du charme et de l'illusion.

Maxime parlait encore, lorsqu'un jeune homme vêtu d'un riche costume grec s'approcha de la porte du salon et lui fit un signe d'intelligence. Nekrasa ne re-

marqua pas d'abord ce signe; alors le nouveau venu l'appela à haute voix.

— Ah! c'est toi, Xavier, dit le jeune homme en relevant la tête. Je te suis pour un instant... Bientôt je serai près de vous, chère Sophie.

Elle le vit disparaître à l'extrémité du petit salon, et, encore émue et glorieuse de son bonheur, voulut le savourer un moment toute seule. Elle s'accouda sur le bras du canapé et renversa de côté, parmi les touffes de fleurs, sa jolie tête, dont les boucles poudrées ressemblaient à un duvet blanc et la rendaient pareille à une colombe endormie au milieu d'un nid de roses. Tandis qu'elle rêvait là, toute joyeuse, les yeux à demi fermés, le frôlement d'une étoffe de soie tout près d'elle la fit tressaillir. Elle ouvrit brusquement les yeux, tressaillit et se releva. Une grande jeune femme, qui était entrée en silence, se trouvait à côté d'elle.

La nouvelle venue était de taille imposante, riche et svelte à la fois; elle portait dans toute sa grâce et son éclat le riche costume des Géorgiennes. Sur sa longue robe de satin blanc lamée d'or descendait une courte tunique de velours incarnat, semée de perles et garnie d'une haute broderie orientale. Une large ceinture de damas aux raies de mille couleurs se perdait dans les plis de sa robe satinée, et sur le front de la jeune femme un diadème de riche étoffe incarnat et or soutenait une étoile de rubis, dont la flamme était moins brillante que celle qui s'échappait de deux grands yeux noirs rayonnant sous le masque de velours. Un léger voile de gaze blanche, brodé de fleurettes d'or, suivait

d'un côté le contour sculptural du visage de l'inconnue, tandis que l'autre pan retombait en arrière, sur de longues tresses noires mêlées de sequins d'or et de chaînes de rubis.

Sophie se releva promptement, éblouie par la gracieuse majesté et le riche costume de la nouvelle venue, et en même temps un peu intimidée par son arrivée subite et par le silence qu'elle gardait.

La jeune dame ne tarda pas à parler, et, de sa main blanche et froide saisissant la main de la jeune fille :

— Vous êtes mademoiselle Sophie Madejska? lui dit-elle.

— Oui, madame... Vous me connaissez?..... Moi, j'ignore qui vous êtes, ou peut-être, tout simplement, je ne vous reconnais pas.

— Je ne crois pas que vous me connaissiez, reprit la dame, attachant sur elle un regard étincelant à travers les trous de son masque. Mais moi, je vous ai rencontrée plusieurs fois dans le monde; j'ai remarqué, comme tant d'autres, votre grâce et votre beauté; je me suis prise à ressentir un peu... d'intérêt, peut-être même un peu d'affection pour vous, et c'est pourquoi je viens à vous aujourd'hui, afin de vous donner un bon conseil, un conseil d'amie.

A ces paroles de la dame, Sophie éprouva tout d'abord une impression singulière. Ces paroles étaient affectueuses sans doute, mais elles étaient dites d'un ton glacial. La pression de cette belle main était plutôt impérieuse que cordiale. Cependant la jeune fille essaya de dominer l'espèce de crainte qu'elle ressentait.

— Vous êtes bien bonne en vérité, répondit-elle en balbutiant, et je vous suis... infiniment... reconnaissante.

— Non, vous ne pouvez pas l'être encore, répondit la Géorgienne, avec un sourire amer qui contracta légèrement ses lèvres, d'un rouge vif, et son profil de marbre. Mais vous me remercirez un jour, certainement, car je vous aurai préservée d'une grande souffrance et affranchie d'une grave erreur... C'est avec le capitaine, je veux dire le seigneur Maxime Nekrasa, que vous causiez tout à l'heure dans ce salon, jeune fille ?

— Madame ! s'écria Sophie, dont les joues, sous son masque, se couvrirent de rougeur.

— Ne vous récriez pas, mon enfant ; ce n'est pas un reproche que je vous fais, c'est un avertissement que je vous donne... Je sais ce qu'il vous disait : il vous parlait de sa tendresse, il vous faisait entrevoir les joies d'un avenir à deux, les promesses et les bénédictions d'un heureux mariage. Et ce mirage était bien doux, car je le voyais dans vos yeux.

Sophie, effrayée et confuse, reculait, faiblissait, cherchant à s'éloigner. Mais l'étrangère, la saisissant par la main, la retint à sa place.

— Ces promesses qu'il vous a faites, ces serments qu'il vous a répétés, croyez-moi, méprisez-les, oubliez-les bien vite, jeune fille. Ou, si vous ne le pouvez, par malheur, considérez-les comme un jeu cruel, une perfide raillerie. Car, moi qui suis de race royale et qui n'ai jamais menti, je vous le déclare, cet homme est un menteur.

— Un menteur!... lui, madame? s'écria Sophie, se ranimant à ce mot. Lui, mon plus ancien ami, mon compagnon d'enfance!... Oh! vous vous êtes méprise, vous ne le connaissez pas... Savez-vous bien que, lorsque nous nous sommes séparés, nous nous aimions autant que peuvent s'aimer deux enfants, et que depuis, si loin de moi qu'il ait été, de même que je me souvenais toujours de lui, il ne m'a jamais oubliée!

— Vraiment?... C'est lui qui vous l'a dit? répliqua l'étrangère avec un éclat de rire moqueur. Et vous croyez, enfant naïve, que le souvenir d'une fillette mangeant des cerises et cueillant des fleurs dans les prés ait suffi, pendant tant d'années, à l'occuper exclusivement? Vous pensez que votre image seule flottait devant ses yeux pendant les jours d'exil, le tumulte du combat et dans les rêves de la tente?... Eh bien, ce serait là une énorme présomption, si ce n'était avant tout une énorme naïveté, ma chère. Tenez, ne me demandez point des détails, ne m'obligez pas aux confidences; croyez-moi sur parole quand je vous avertis et quand je vous répète : « Cet homme est un menteur. »

— Encore? Mais cela n'est pas!... Je ne le crois point. A qui donc a-t-il menti! Qui a-t-il trompé, madame?

— Qui il a trompé?... Moi, répondit l'étrangère après un moment d'hésitation, pendant lequel la blancheur de ses joues était devenue presque livide. Moi qui le croyais comme vous, qui lui aurais donné plus de richesses, de gloire et de bonheur que vous; moi qui lui avait promis ma main et me considérais comme sa

fiancée; moi qui l'entendais aussi épancher son cœur, conter ses rêves, et qui l'ai vu s'enfuir, sans savoir pourquoi, dans un moment de vertige, de caprice et de légèreté.

— Il vous aimait, lui, Maxime? murmura Sophie, reculant toute tremblante et jetant à l'inconnue un regard de terreur.

— Il le disait du moins, et quelque temps je l'ai cru, car j'étais confiante et tendre comme vous, ma belle enfant, quoique moins naïve, parce que j'étais princesse. Et, justement aussi parce que j'étais princesse, j'espérais que l'ambition, la vanité, l'orgueil, l'attacheraient à moi au moins autant que l'amour. Dans ce pays où il se trouvait exilé, j'avais à lui donner, non seulement ma main et ma beauté, mais un nom ancien et illustre, des distinctions, des honneurs, des richesses considérables, une couronne de prince même, sans compter mon cœur... Eh bien, pourquoi tous ces trésors, qui l'avaient d'abord séduit, n'ont-ils pu le retenir? Pourquoi, au moment de conquérir tout ce bonheur, s'est-il enfui sans jeter un regard en arrière? Ah! c'est qu'il se fait une joie de trahir ceux qui se sont fiés à lui, ou bien qu'il a un esprit faible, un cœur irrésolu, enclin à se tromper lui-même... En un mot, c'est qu'il est un lâche, ou bien un insensé.

— Vous vous trompez, madame, dit lentement Sophie, dont la voix et l'attitude se raffermirent peu à peu. Si Maxime s'est enfui au moment de vous donner sa main et de vous promettre son amour, ce n'est pas, je le vois maintenant, qu'il fût insensé ou lâche, c'est...

qu'il ne vous aimait pas d'une souveraine tendresse... c'est qu'il y avait quelque chose qu'il aimait plus que vous : son devoir et son pays !

La jeune femme fit un geste dédaigneux, et ne répondit d'abord que par un sourire ironique.

— Oh ! je n'ai pas l'intention de vous offenser ni de vous railler, madame, continua Sophie, en jetant sur l'étrangère un regard plein de douceur. Maxime a dû vous admirer, sans doute, car vous êtes certainement bien plus belle que moi, ajouta-t-elle avec un geste d'humilité naïve. Et si votre tendresse et votre beauté ne l'ont pas retenu, ne vous étonnez pas qu'il ait laissé là vos honneurs, votre couronne, car, avec tous ces biens-là, on ne peut acheter un cœur... Il y a peut-être des cœurs qui se vendent, madame, mais non point celui de Maxime ! Et, au milieu de vos grandeurs, de vos honneurs, malgré votre affection, il sentait bien qu'il lui aurait toujours manqué quelque chose... Bien peu de chose, allez : rien que le son aimé de la langue natale, l'air des champs paternels, le ciel du doux pays ? Eh bien, ce peu de chose aurait suffi pour que vos richesses lui devinssent un fardeau, et votre tendresse, une chaîne. Et, à cause de cela, il sera plus heureux près de moi, qui n'ai à lui offrir ni beauté de fée ni trésors de reine : rien que ma jeunesse, mon cœur, les souvenirs de mon passé et le dévouement de mon avenir... C'est que tout sera commun entre nous, les espérances, les pensées, les mots, les choses, et jusqu'à la prière ; c'est que nos deux existences, commençant au même berceau, couleront, en se mêlant, jusqu'au

même rivage, et que nous mourrons ensemble dans la steppe où ensemble nous avons grandi.

— Vous avez de l'âme, ma chère enfant, reprit la Géorgienne avec un sourire amer, ou, tout au moins, vous avez fait un cours complet de poétique. C'est tout un chapitre de Mickiewicz ou de Zalewski que vous me débitez là, en vérité... Mais, quoi que vous puissiez dire, l'illustre seigneur Maxime, à Tiflis, aimait encore autre chose que la steppe, le ciel et les étoiles du pays. Je vous jure qu'il avait oublié les bergères, et que les princesses lui plaisaient fort... Vous ne me croiriez peut-être pas, mais, tenez, le voici ! Demandez-le-lui à lui-même.

Et Praxède, en effet, montrait à Sophie, avec un dédaigneux sourire, Maxime, qui venait d'entrer dans le petit salon.

Maxime, qui se hâtait d'arriver, parut tout à coup surpris et s'arrêta subitement, considérant de loin les deux jeunes femmes.

— Il me reconnaît, j'en suis sûre, dit la générale en prenant la main de Sophie et la contraignant d'avancer.

Puis elle vint se placer devant Maxime, et lui dit d'une voix tranquille, légèrement ironique, où perçait par moments une indignation contenue :

— Quand même vous auriez oublié mes traits et le son de ma voix, vous pourriez vous rappeler encore ces bijoux, ce costume. Ce sont ceux que je portais le jour où nous avons échangé nos dernières paroles amies. Je les ai repris aujourd'hui pour vous rencontrer encore ; mais si les vêtements sont restés les

mêmes, les cœurs ont bien changé. Le mien n'a plus pour vous que mépris et pitié ; le vôtre n'a plus pour moi qu'oubli et indifférence... Ah ! capitaine Maxime, je m'étais trop pressée en vous racontant, avec tant d'orgueil et de joie tendre, notre fable du roi des Serpents ! Le monarque éblouissant, à la crête de rubis, n'a pas fasciné son hôte... Celui-ci s'est enfui en lui jetant à la face, ainsi que le disait le lieutenant Daniel, non pas le nom de sa mère, mais une poignée de la poussière de son pays.

— Vous l'avez dit, madame, répondit Maxime en s'inclinant. Je l'avoue ici sans crainte, votre beauté, votre grâce, votre aimable bienveillance vous avaient acquis bien des droits sur mon cœur. Mais ce cœur ne m'appartenait plus : je l'avais donné à ma patrie. Voilà pourquoi, lorsque mon devoir m'y a rappelé, j'ai dû partir, sans me laisser retenir par tant d'espérances de bonheur, sans reculer devant ma propre souffrance... Mais ce fugitif épisode de ma vie d'exil a-t-il pu vous laisser un souvenir durable, et sentiez-vous le besoin d'en faire actuellement le récit à une personne étrangère, à mademoiselle Madejska ?

— Ce souvenir ne m'est resté, mon cher monsieur Nekrasa, que comme une leçon à méditer, un précieux exemple de légèreté et de capricieuse folie... Mais je suis une femme sérieuse, une mère de famille à présent, et l'un de mes devoirs consiste à protéger, à éclairer les jeunes filles... Voilà pourquoi j'ai jugé utile de faire repasser à mademoiselle Madejska ce chapitre de ma propre histoire, afin qu'elle puisse entrevoir

l'avenir que votre affection lui réserve, et qu'elle fasse son profit de l'excellent exemple et du bon conseil.

— Et... Sophie... vous a cru? demanda Maxime lentement, en jetant un regard d'angoisse sur le visage de la jeune fille.

— Il y a des choses que je crois, répondit Sophie simplement, et celles-ci, je n'ai pas à les juger, parce que je ne me reconnais point le droit de les connaître. Il y en a d'autres dont je doute aussi... Mais la chose dont je ne douterai jamais, Maxime, c'est que vous n'aimiez votre pays avant tout. Et je ne puis vous en vouloir, car c'est le cher pays de notre enfance.

Maxime ne répondit rien à ces paroles tendres et modestes; seulement son visage rayonna de plaisir, et il jeta sur Sophie un regard brillant de tendresse.

— A merveille, reprit alors Praxède avec un rire ironique et un geste de fierté. Je vois qu'il serait impossible d'arracher maintenant le masque d'une part, d'ébranler la candeur et la confiance de l'autre... Le temps s'en chargera, car le temps éclaire tout. Il ne me reste plus, mademoiselle, qu'à souhaiter heureux espoir à votre enfantine affection, plein succès à vos mensonges, monsieur Nekrasa... bonne chance à vos projets... monsieur... Fiesco!

En prononçant ces derniers mots, Praxède jeta sur Maxime un regard significatif, acéré comme la lame d'un poignard; puis elle fit aux deux jeunes gens une inclination ironique et sortit, jouant d'une main avec son éventail de plumes, et soulevant de l'autre les plis de son épaisse jupe de brocard.

— Que veut-elle dire, Maxime?... Qu'a-t-elle murmuré en nous quittant? demanda Sophie, plus tremblante qu'elle ne l'avait été en présence de la princesse, car maintenant sa fierté ne la soutenait plus.

— Rien, Sophie, absolument rien. Elle veut me railer, m'irriter, se venger de moi, me rendre malheureux si c'est possible... Mais elle n'y parviendra pas, mon amie, si vous avez confiance en moi, si vous ne cessez pas de m'aimer.

— Oh! non, Maxime, je ne pourrais pas cesser maintenant... Il y a pour cela trop longtemps que j'ai commencé, répliqua-t-elle, en secouant gracieusement sa jolie tête poudrée. Vous avez eu pourtant de l'affection pour cette princesse, non pas comme celle que vous avez pour moi... Oh! je ne vous blâme pas, je le comprends bien. C'est comme vous auriez pu admirer un tableau parfait, un paysage magnifique... Elle doit être si belle, cette grande dame, et si gracieuse, si imposante, si fière, avec cela!... Quelque chose me dit pourtant, Maxime, que près d'elle vous n'auriez pas été heureux... Ah! que vous avez bien fait de renoncer à ces grandeurs, de revenir au pays, de vivre avec nous, dans notre Ukraine, qui n'est qu'une seule et grande famille!

— Cette famille-là m'est chère, mais elle est trop grande; elle ne me suffira pas longtemps. Je veux rassembler autour de moi un cercle plus étroit, concentrer sur moi une tendresse plus intime. Celle qui n'a jamais cessé de croire en moi sera l'ange bienfaisant qui pourra seul bénir mon foyer... Ma douce compagne,

mon amie, voulez-vous que je demande votre main à votre père dès demain ?

— Oh ! oui, répondit-elle en élevant sur lui un regard rayonnant de joie naïve. Lorsque nous serons mari et femme, personne n'osera plus venir semer le doute et la douleur entre nous... Ainsi, mon cher Maxime, venez, venez demain.

Et tous deux, se rapprochant des groupes aux sons joyeux de l'orchestre, se confondirent de nouveau dans la foule des danseurs.

XVIII

L'ARRÊT D'UN PÈRE.

Le lendemain, dans la matinée en effet, Maxime se fit annoncer, et fut introduit dans le cabinet de travail du père de Sophie. Celui-ci le reçut avec sa bienveillance ordinaire ; cependant, au bout d'un instant, son visage s'altéra lorsqu'il se prit à remarquer et l'heure matinale de l'entrevue et la tenue de cérémonie du jeune visiteur.

Quant à Maxime, complètement entraîné par le charme de cette affection quasi paternelle, et par la confiance propre à ceux auxquels la bonne chance n'a jamais manqué, il alla tout droit au but, et s'adressa ainsi au vieillard, en attachant sur lui un regard brillant, joyeux, adouci cependant par une émotion intime :

— Vous voyez devant vous un homme bien ambitieux, qui vient, sans l'avoir mérité, vous prier d'assurer le bonheur de sa vie.

— En vérité, mon cher enfant?..... Comment, vous à qui rien ne manque, pouvez-vous avoir besoin de l'appui d'un vieillard? répondit M. Madejski, qui se sentait pâlir.

— Il me manque beaucoup dans les choses du cœur, dit Maxime gravement. La richesse de la demeure n'empêche pas de sentir le vide du foyer. Plus que jamais, je suis las de vivre seul, car, depuis mon retour au pays, j'ai rencontré tout près de moi l'âme la plus naïve, le cœur le plus tendre, que jamais homme ait pu se faire un honneur et un bonheur de posséder..... Mais, entre vous et moi, ces éloges sont inutiles : vous connaissez votre enfant. Vous connaissez aussi ma naissance, ma position, ma fortune; vous me connaissez moi-même, depuis longtemps. Puis-je donc, en vertu de ces titres, vous demander aujourd'hui formellement la main de M^{lle} Sophie?

— Maxime, répondit M. Madejski après un instant de silence pénible, cette demande est bien soudaine; je n'y étais nullement préparé.

— Je le sais, monsieur, cette démarche est un peu irrégulière. J'aurais dû en charger un vieillard, ou tout au moins un homme influent, respectable, dont la parole eût pu faire pencher la balance en ma faveur. Mais veuillez considérer que je suis le dernier de ma famille et que, n'ayant plus de parents que je puisse charger de cette demande, j'ai trouvé plus convenable de la faire moi-même que de la confier à un étranger. Veuillez considérer, en outre, que ce n'est pas un attachement fugitif, sans valeur et sans portée, que je

ressens pour Sophie. C'est l'affection la plus durable, la plus tendre, que jamais un cœur puisse éprouver. Je comprends maintenant pourquoi une si vive sympathie me rapprochait d'elle dès les jours de notre enfance : c'est que Dieu me l'avait destinée, et qu'il me faisait aimer déjà les charmes et les qualités de la femme dans la grâce et l'innocence de l'enfant.

— Maxime, reprit M. Madejski après un moment de silence, la manière dont vous me parlez m'afflige profondément, car, en vérité, je ne puis vous accorder ma fille.

— Vous ne pouvez pas me donner Sophie? s'écria Nekrasa, qui se leva par une brusque secousse, comme si la foudre l'eût frappé.

— Non, mon ami. Croyez qu'il m'en coûte beaucoup d'avoir à vous le dire.

— Mais quelles sont les raisons de ce refus?... Sophie est-elle promise? Avez-vous déjà disposé de sa main?

— Non, Sophie n'est point fiancée. Je pourrais le dire à d'autres; mais vous, je ne veux point vous tromper.

— Ainsi vous me la refusez, à moi?... Dites-moi au moins quelles objections vous avez à me faire! Ne suis-je pas assez jeune, ni assez riche, ni assez aimant pour assurer son bonheur?

— Maxime, mon enfant, reprit M. Madejski avec un regard plein de tristesse, j'aurais bien voulu éviter cet entretien avec vous..... Il m'est pénible de vous faire souffrir, de vous blesser peut-être; mais ce n'est pas ma tendresse seule, ma sympathie pour vous, que je

veux consulter. Je dois d'abord chercher mes inspirations dans ma conscience de chrétien et dans mon cœur de père... Eh bien, voici ce que l'un et l'autre me disent, et ce que je vous dis : Ce qui vous manque, ce n'est ni la jeunesse, ni la fortune, ni la tendresse. Vous pourriez être plus vieux, plus pauvre, moins aimant, sans que j'eusse pensé pour cela à vous refuser ma fille. Mais ce que j'aurais à vous demander et ce que vous n'avez plus, c'est la foi, la modération, la sagesse, la vertu, toutes ces sauvegardes de l'existence commune. Vous avez mis votre bonheur, jeune homme, dans la dissipation, la débauche, le bruit ; pour celui de ma fille, il faut le calme, la protection, la retraite : il n'y a rien de commun entre vous, et vous ne seriez pas heureux.

— Ah ! je comprends enfin, s'écria Nekrasa, le crime dont on m'accuse ! Lorsque je suis revenu ici, j'ai jeté sur les hontes, sur les plaies de mon pays, un regard plus profond que les regards mêmes des vieillards, implacable et froid comme celui d'un juge. Ces plaies et ces hontes m'ont fait peine, et j'ai voulu en délivrer ma patrie... Mais pour cela je n'ai vu qu'un moyen : j'ai caché des projets sérieux sous les apparences de la folie. Je me suis résigné à passer pour un étourdi, pour un dissipateur, pour un libertin ; pour tout ce qu'il y a, en un mot, de plus inutile au monde, afin qu'on ne me prit pas pour un conspirateur..... Et maintenant, voici que mon stratagème tourne contre moi, et qu'un vieillard, mon ancien ami, ne veut pas distinguer mon masque de mon visage !

— Ce que vous venez de me dire, mon pauvre enfant, explique votre conduite, mais ne l'excuse point, par malheur. Celui d'entre nous qui marche vers un but honorable, ne prend pas pour cela des sentiers détournés. Celui qui se consacre à une tâche pure, n'y touche pas avec des mains souillées..... Or, vous êtes souillé, Maxime, par ce contact funeste avec vos insensés compagnons de jeux et de débauche. Qu'aujourd'hui votre cause triomphe, votre plan réussisse, et demain vous reprendrez votre vie de débauche, de bruit et d'agitation, parce que vous êtes habitué à ces excitations factices ; parce qu'un foyer tel que le mien, celui où a grandi ma fille, vous paraîtrait froid, terne, insipide, sans poésie, sans charme et sans grandeur.

— Mais, monsieur, quand bien même la vie tranquille et modeste devrait me peser, j'aimerais toujours Sophie.

— Probablement; mais vous ne la rendriez point heureuse... En vous voyant de près, elle apprendrait à vous connaître, elle cesserait de croire en vous, peut-être de vous respecter. Et le monde, qui l'envierait, je le sais, lui renverrait les échos de votre vie turbulente, de votre vie souillée. Elle verrait peut-être railler, montrer au doigt, l'homme auquel elle aurait donné la meilleure part de son cœur et la naïve confiance de son âme, et ce dédain la tuerait, tombant sur vous.

— C'est assez, monsieur, dit Maxime en se levant. Personne ne rougira pour moi ni de moi, je l'espère. Peut-être un jour, il y aura, au contraire, de la gloire autour de mon nom, ou quelques regrets autour de ma

mémoire. Alors ceux qui me repoussent aujourd'hui me tendront la main, ou accueilleront mon souvenir avec un certain respect... Mais ce retour de leur affection me sera inutile : ce sera trop tard pour mon bonheur.

En achevant ces mots, Nekrasa s'inclina profondément devant M. Madejski et sortit sans le regarder, sans accepter la main que le vieillard lui tendait. Dans le corridor, il rencontra Alexis, qui se dirigeait vers l'appartement de son père. Il alla à lui et lui prit la main :

— Alexis, dit-il, j'espérais devenir votre frère. Mais votre père ne l'a pas permis... Pourquoi? Allez le lui demander... Ah! malheureux que je suis! s'écria-t-il, en se reprenant soudain, c'est vous sans doute qui le lui avez conseillé: votre pieuse raison s'est offensée de mes folies... Ni l'un ni l'autre n'avez voulu regarder jusqu'à mon cœur... Consolerez Sophie; adieu!

Et, sans vouloir entendre un mot, il repoussa brusquement la main qu'Alexis, à son tour, lui avait tendue. Bientôt le bruit de sa voiture apprit aux habitants de la maison qu'il s'était éloigné.

Ce jour-là, dans l'après-midi, comme si tous les prétendants se fussent donné le mot afin d'en arriver à une explication définitive, on annonça à M. Madejski le colonel von Steinköller. Le colonel Gustave se présenta, paré de son plus gracieux sourire et de son plus brillant uniforme, et, après avoir offert à son hôte ses respectueuses salutations, il tira de son portefeuille une lettre et la lui tendit.

Cette missive, fermée d'une énorme cachet de cire aux pompeuses armoiries, était écrite par le baron von

Steinköller, père du colonel. Le gentilhomme courlandais, retenu à Pétersbourg par ses devoirs de chambellan de l'empereur, exprimait ses regrets de ne pouvoir se présenter en personne, et demandait, dans les termes les plus pompeux du cérémonial allemand, la main de M^{lle} Sophie Madejska pour son fils le colonel.

— Veuillez excuser, monsieur, l'irrégularité de ce procédé, dit Gustave lorsque M. Madejski eut achevé sa lecture. Mais mon père, ainsi qu'il le dit, ne peut quitter la cour. Seulement il se propose de venir ici pendant les vacances, en septembre, et nous pourrions alors, si ma demande est agréée, arrêter ensemble l'époque du mariage... Je ne sais si je suis parvenu jusqu'ici à fixer l'attention de mademoiselle votre fille ; mais si de grands biens en Courlande, un village en Lithuanie, une place à la cour, peuvent valoir pour M^{lle} Madejska le don inappréciable qu'elle me ferait en m'accordant...

— Arrêtez, monsieur, je vous prie, dit le vieillard, posant sa main sur le bras du colonel. Tous ces avantages sont beaucoup trop brillants pour ma fille. Ni elle ni moi n'avons jamais porté nos vues si haut, et à vous parler franchement, nous ne sommes ni l'un ni l'autre disposés à accepter en ce moment des propositions de mariage.

— En vérité?... C'est donc un refus ? murmura le colonel, profondément désappointé, tant il était loin de s'attendre à ce que la demande d'un futur chambellan de l'empereur pût être repoussée par la fille d'un obscur gentilhomme.

— C'est tout au moins un remerciement, monsieur, et en même temps une prière de ne plus revenir sur cette demande, qui est, je crois, à peu près inutile.

— Mais, monsieur, vous avez au moins des motifs?... Ah! sans doute, la différence de religion. Mais je suis un homme du monde, et je sais vivre. Chez moi, les convenances seront avant tout respectées, et je puis vous certifier que ma femme et moi nous n'aurions jamais de querelle pour une question de *Credo*. Cela est bon pour les petites gens et pour les fanatiques... Je permettrais même à ma femme d'élever nos enfants dans le catholicisme, si elle le désirait. Ce qui serait, croyez-le, monsieur, une très grande condescendance de ma part; car, je vous l'avoue, à Pétersbourg, la religion catholique n'est pas du tout bien portée.

— Raison de plus, monsieur, pour que votre alliance avec ma fille ne vous expose point à attirer sur vous et votre famille le blâme unanime de ce monde où vous vivez... Du reste, je ne vous ai point donné ma principale raison : c'est que je suis décidé à ne marier ma fille qu'à l'un de ses compatriotes.

— Ah! monsieur, quel préjugé antique! Ces absurdes distinctions de races ne tendent-elles pas chaque jour à se perdre, à s'effacer? Les hommes bien élevés, les gens de goût, ne sont-ils pas tous de la même patrie?

— Oui, tant qu'ils se rencontrent sur le terrain du monde, mais non point lorsqu'ils se retirent dans l'ombre de la maison. Là, il faut, pour la paix du foyer, avoir des habitudes, des idées, des sympathies communes... Et nous sommes terriblement exclusifs, nous

autres Polonais. Nous conservons obstinément les tenances, les préjugés, les manies de nos ancêtres... Monsieur le colonel, je vous l'assure, une petite provinciale d'Ukraine ferait mauvais effet dans les salons de Pétersbourg. Ne vous étonnez donc point de ce que je ne puisse vous accorder ma fille.

— Monsieur, ce ne sont point là des raisons sérieuses, dit le colonel en se levant. Le seul motif que je pourrais admettre serait une répugnance prononcée de la part de M^{lle} Sophie. Or, en ma qualité d'homme du monde, j'ai le coup d'œil exercé, et j'ai toujours vu dans l'accueil que m'a fait mademoiselle votre fille une excessive timidité, mais aucune répugnance. Peut-être, dans quelques mois, une occasion plus favorable me permettra-t-elle de renouveler ma demande, en supposant que, d'ici là, M^{lle} Madejska n'accorde sa main à aucun prétendant... Et alors, comme vous aurez eu le temps de réfléchir, je me permets d'espérer que votre décision sera plus favorable.

Ici le colonel prit congé de son hôte par une inclination des plus courtoises et sortit, remportant sa lettre, mais l'air toujours satisfait.

« Il ne se décourage pas facilement, se dit le vieillard avec tristesse. Mais n'importe, je vais dire à Sophie que je l'ai refusé. Au milieu de son chagrin, ce sera une consolation pour elle. »

Et le pauvre père alla à la rencontre de sa fille. Sophie, tristement assise dans un coin du salon, le vit s'approcher et se leva toute tremblante. Elle jeta sur lui un regard prompt et timide, vit son front pâle et ses

yeux attristés, et retomba sans force sur sa chaise. Elle avait tout compris.

— Mon enfant, lui dit son père en la baisant au front et pressant tendrement sa petite main glacée, Maxime est venu me trouver ce matin... Tu le savais ?

— Oui, père.

— C'était pour me demander ta main. Tu le savais encore ?

— Oui, père.

— Et... pardonne-moi, mon enfant... Tu le sais, tu es libre de le prendre malgré moi pour mari ; mais ma conscience ne me permet d'accorder ta main qu'à celui qui la méritera sous tous les rapports. Et... cette demande de Maxime... quelque précieuse qu'elle fût pour toi peut-être, j'ai dû la refuser... Tu en souffriras beaucoup, ma pauvre enfant. Dis-moi, me maudis-tu ?

— Non... non... je ne vous maudirai jamais, père, murmura Sophie, dont la voix s'en allait. Je sais que vous avez toujours désiré mon bonheur. Mais je voudrais savoir la cause...

— Oui, la cause de mon refus, et voilà, pauvre enfant, ma plus grande douleur. Si je te la fais connaître, je serai cruel ; si je te la laisse ignorer, tu me croiras injuste. Il m'est bien pénible de te dire la vérité, et pourtant... tu l'apprendras plus tard... Écoute, ma fille ; ce Maxime que tu aimes tant, que tu as retrouvé avec tant de bonheur, n'est plus le Maxime que nous avons connu dans ses beaux jours d'enfance. Depuis qu'il nous a quittés, il a livré sa vie à tous les hasards, son imagination à toutes les fantaisies, ses loisirs à tous les dé-

sordres qui peuvent séduire une âme sans foi et une volonté sans frein... Au milieu de sa dégradation, je le sais, il lui est resté quelque grandeur, de nobles qualités viriles, et celles-ci lui suffiront pour se montrer homme d'honneur, mais non pour devenir un bon époux, un digne père. L'homme qui se marie s'impose le devoir de guider dans la voie du bien l'âme tendre d'une épouse, les pas incertains et timides des enfants qui lui naîtront, et pour cela il doit y marcher le premier, afin de la leur rendre facile et douce. Mais cette route-là, Maxime ne la connaît plus. Il a effacé de son cœur tout ce qu'il y avait de grand, de pur et de sacré, tout, excepté l'amour de sa patrie. Un homme plus faible que lui pourrait changer de voie ; mais Maxime n'abandonnera jamais le chemin dans lequel il s'est engagé. L'amour d'une vie chaste et calme ne le reprendra plus... Et à son foyer tu ne le retiendrais pas, ma fille ; tu y resterais seule, triste, désabusée, pleurant sur lui, priant pour lui.

— Hélas ! murmura Sophie au milieu de ses sanglots, ce serait du bonheur encore... Mais je ne vous fais pas de reproches, père ; mieux que moi vous connaissez la vie, et sans doute vous avez bien fait.

Et la pauvre enfant se disait en son cœur : « Hier, elle ne me trompait pas, cette princesse, cette étrangère ; seulement elle ne m'avait pas tout dit... Et pourtant, je l'aime donc bien, je lui aurais tout pardonné ! »

— Il y a une autre réponse encore que j'ai donnée aujourd'hui en ton nom, ma fille, continua M. Madejski. Le colonel von Steinköller est venu me de-

mander ta main. Je n'ai pas besoin de te dire que j'ai refusé.

— Oh ! certainement, vous avez bien fait, père... Vous le comprenez... à présent... je n'accepterai aucune proposition... je ne me marierai pas... Je resterai près de vous, je vieillirai près d'Alexis... O mon père, mon père, ce sont nos ennemis qui l'ont perdu!... S'il était resté ici, il serait toujours bon et pur... vous l'aimeriez encore, père, et je serais devenue sa femme!... Oh ! nos ennemis ne se contentent pas de nous opprimer, ils nous corrompent... Mon Dieu, mon Dieu, est-ce que vous ne nous vengerez pas?...

Et ici Sophie, qui jusqu'à ce moment avait fait de courageux efforts pour vaincre sa douleur, se redressa, en levant les mains et les yeux au ciel par un mouvement énergique. Mais cette crise passa vite. Toute pâle, elle retomba en arrière, et sa mère courut à elle pour lui donner ses soins.

Toutefois la jeune fille se calma promptement. Elle parla peu, ne pleura point et garda une contenance très tranquille, très résignée. Seulement, dans un moment où elle vit ses parents occupés ailleurs, elle s'approcha de son frère, lui prit la main, et fixa sur lui un regard empreint d'une singulière expression de douleur et de gravité :

— Alexis, murmura-t-elle, sans doute, toi, tu le reverras un jour... Dis-lui que je ne l'épouserai pas, parce que je ne veux pas désobéir à mon père; mais dis-lui en même temps que je ne l'oublierai jamais, que je le pleurerai toujours.

XIX

EN AVANT.

Le dwór de Bolanki, debout sur sa haute éminence, rayonnait aux douces clartés d'une nuit de juillet. La lune venait de se lever, et ses lueurs, glissant sur les retranchements de la plaine sans atteindre le fond des fossés sombres, traçaient çà et là des sillons d'or, comme sur la surface immense d'un océan aux flots verts. Dans le grand village cosaque situé à cinq cents pas du dwór, toutes les lumières étaient éteintes, et les formes noires des cabanes se profilaient en masses sombres sur le bleu foncé du ciel.

Au bout de la plaine seulement, tout en haut du monticule, étincelait un point lumineux, éclairant une des fenêtres du dwór. De loin on eût dit une étoile, une petite étoile immobile, et il eût fallu s'en rapprocher pour reconnaître une lumière, resplendissant comme un œil ouvert sur la sombre façade de la maison.

Cette lumière brûlait sur une grande table dans la chambre de Maxime. Là étaient jetés en désordre des papiers, des livres, des rouleaux d'or, un poignard, des pistolets ; sur cette table aussi, le jeune maître du dwór était accoudé, appuyant sa tête dans ses mains et paraissant plongé dans une rêverie profonde. Devant lui, une grande feuille de parchemin, portant le timbre impérial, était déroulée et venait d'être fraîchement

remplie. Tout en haut ces mots étaient écrits : « Ceci est mon testament », et l'encre, humide encore, reluisait, à la clarté de la lampe, à l'endroit où se trouvait tracée la signature : « Maxime Nekrasa. »

Le jeune homme avait bien changé depuis le moment où nous l'avons vu à Kiew, flatté et admiré, fier et beau, objet de l'attention et de l'envie générales. Ses joues s'étaient légèrement creusées, son front se sillonnait de quelques plis ; sa bouche avait une expression moins hautaine, mais plus amère. Ses yeux seuls n'avaient rien perdu de leur audace et de leur éclat. Le feu étrange, à peine contenu, qui les rendait si sauvages et si beaux, y subsistait dans toute son énergie, même en ce moment où Maxime pensait à mourir.

Soudain, relevant vivement son front appuyé sur ses mains brunies, il agita une sonnette placée auprès de lui.

Une porte s'ouvrit.

— Allez me chercher Semenko, dit-il, sans se retourner, au domestique qui parut.

— Maître, c'est Semenko lui-même.

— Ah ! c'est toi, mon vieux brave... Eh bien, entre et reste avec moi, nous avons à causer.

Le Cosaque obéit ; il s'approcha de la table et vint se placer debout en face de son maître.

Maxime considéra un instant en silence sa haute et fière stature, ses traits énergiques et creusés, sa longue chevelure blanche, et sur sa physionomie hautaine se peignit une certaine expression de respect ; il tendit la main au vieux serviteur et lui dit :

— Assieds-toi, Semenko.

— Non, seigneur, répondit ce dernier. A la Saint-Georges, j'ai eu soixante et dix ans, et ce n'est pas à cet âge-là qu'on commence à manquer de respect à son maître.

— Semenko, tous tes pères sont morts au service de mes ancêtres. Toi-même, tu me sers depuis bientôt trente ans, et nous sommes à la veille d'une dangereuse entreprise. Demain nous pouvons mourir, et en présence de la mort commence l'égalité. Laisse là ton respect; j'ai besoin de ton dévouement. Je veux causer avec toi, j'exige que tu t'asseyes.

— Quand le maître commande, le serviteur doit obéir.

Et Semenko, s'inclinant profondément, alla chercher un des plus humbles sièges.

Maxime alors, jetant les yeux sur la feuille ouverte devant lui, recommença à parler.

— Semenko, dans les périls où je vais m'engager, j'ai certainement besoin d'avoir auprès de moi un serviteur fidèle. Mais j'aurais besoin aussi d'un ami, qui voulût bien rester ici pour exécuter mes derniers ordres et disposer, en cas de mort, des biens que je laisserai après moi... Dis-moi, vieillard, ce que tu penses faire.

— Vous suivre, maître.

— Songe que notre entreprise est hasardeuse, presque désespérée, et que tu es bien vieux, Semenko.

— Maître, il y a deux choses qui ne vieillissent pas : le dévouement, la haine. Mon dévouement pour vous

me rendra l'ardeur de mes vingt ans, et ma haine pour les Moscovites, la vigueur et la résolution que j'avais à trente.

— Mon brave, je connais ton cœur; mais tes forces peuvent te trahir.

— Non, maître, les forces, ce sont les soldats d'un régiment, et le cœur, le capitaine qui les commande. Quand le capitaine crie à ses hommes : « En avant ! » après s'être élancé le premier pour leur donner l'exemple, pas un ne défaille ni ne recule, et tous s'élancent après lui. Quand les soldats faiblissent et se laissent aller à la déroute, c'est que leur chef est mort ou qu'il s'est enfui le premier... Je vous le jure, mon cœur ne faiblira pas, ô maître, et mes vieilles mains auront bien encore la force de soulever une hache, d'ajuster un fusil.

— Ainsi tu ne veux pas rester ici, me conserver mon château, peut-être ?

— Maître, je suis, moi aussi, le dernier de ma maison ; tous mes aïeux sont morts à la guerre. Si je venais à eux, sortant de mon lit bien chaud auprès du poêle, dans ma chambre de l'*officine*, où je serais mort à l'abri, comme un économe, comme un juif ou comme un chien, mes pères diraient en m'apercevant : « Quel est donc celui-ci, qui ne s'est pas souvenu de notre exemple et de nos batailles ? Il est mort sur le duvet, et nous, sur l'herbe ; ses yeux mourants ont compté les planches de son lit, et les nôtres, les nuages du ciel... Qu'il s'éloigne de nous ! nous ne le connaissons pas. » Et que diraient-ils surtout si, par hasard, j'avais laissé mourir mon maître ? Deux vieillards de ma race ont

accompagné aux batailles l'hetman votre aïeul, et sont morts en le défendant, seigneur.

— Allons, c'est bien, je vois que ta résolution est inébranlable. Tu me suivras, Semenko. Va chercher à l'instant le prêtre catholique de Bolanki. C'est entre ses mains que je remettrai ces papiers, et c'est lui qui, après moi, disposera de mon héritage.

Semenko, joyeux, se hâta d'exécuter les ordres de son maître, craignant que celui-ci ne revînt sur sa décision et ne lui commandât de rester au dwór. Maxime, demeuré seul, tantôt se levait et se promenait à grands pas, ou bien, se rasseyant, il traçait quelques lignes sur une feuille blanche, tout en prêtant l'oreille au bruit des chansons, des vivats, qui lui venaient de ses compagnons assemblés dans la grande salle, et en secouant la tête, quand il les entendait, comme s'il eût envié cette gaieté qu'il ne partageait pas.

Au bout d'une demi-heure enfin, le curé de Bolanki parut.

— Asseyez-vous, mon révérend père, lui dit le jeune maître du dwór en lui présentant un fauteuil, et veuillez être assez bienveillant pour me rendre le service que je vous demande.

— De tout mon cœur, mon enfant. Quel est-il?

— Mon père, je touche à l'une des crises importantes, dangereuses, de mon existence : je ne sais si j'en sortirai vivant. J'ai donc jugé nécessaire de me préparer à la mort, et voici mon testament, que je vous confie... Je suis le dernier de ma famille; je puis donc disposer de ma fortune selon les désirs de mon cœur. J'institue

pour ma seule héritière M^{lle} Sophie Madejska, en lui demandant, pour toute condition, de vouloir bien élever, en face du château, une croix de pierre à la mémoire de mes ancêtres. Veuillez, monsieur le curé, conserver ce papier chez vous. Après ma mort, vous le remettrez entre les mains de celle qu'il concerne, en lui disant qu'elle a eu ma dernière pensée et mes derniers vœux. En reconnaissance de l'important service que vous me rendrez, je vous prie d'accepter ce rouleau d'or pour les pauvres de votre paroisse.

Le prêtre prit des mains de Maxime le testament, le rouleau, mais il ne s'éloigna point et attacha sur lui un regard pénétrant et triste.

— N'avez-vous rien de plus à me dire, mon enfant ? murmura-t-il enfin. Sont-ce là *toutes* vos dernières dispositions ?

— Oui, toutes celles qui me restaient à prendre avec les hommes. Maintenant, je n'ai plus à compter qu'avec mon destin et Dieu... J'y suffirai seul ; la tâche n'est pas au-dessus de mes forces.

— N'écoutez pas votre orgueil, mon fils, il vous conseille mal. Dieu ne serait-il pas assez puissant pour prendre la plus grande part de vos douleurs, et vous envoyer la consolation en échange ?

— Monsieur le curé, les paroles ne peuvent rien pour moi ; ma seule consolation sera dans les faits... Si Dieu a pitié de moi, qu'il me donne la victoire et l'oubli, ou bien la défaite et la mort : l'une sera l'apaisement ; l'autre, peut-être l'espérance. Mais, excepté ces deux choses, je n'ai rien à lui demander.

Maxime avait prononcé ces mots d'un ton froid et fier, qui ne permettait pas de réplique. Le curé s'inclina et allait s'éloigner.

— Ah! voulez-vous me consacrer encore un moment? reprit Nekrasa. J'ai ici plusieurs compagnons qui, comme moi, se préparent à combattre et à mourir. Peut-être quelqu'un d'entre eux réclamera-t-il vos services... Je vais les faire mander ici... Dans tous les cas, révérend père, nous ne vous retiendrons pas longtemps. Au point du jour nous nous mettrons en route.

Le prêtre fit un signe d'assentiment et se replaça dans son fauteuil. Maxime sonna et ordonna qu'on introduisît ses compagnons dans sa chambre.

Alors le curé fut surpris du changement subit qui s'opéra sur ses traits. Par un suprême effort de volonté, le jeune homme parvint à écarter de son front les ombres de tristesse et d'amertume qui l'avaient jusque-là opiniâtrément voilé. Il redressa la tête fièrement, un sourire intrépide et dédaigneux rayonna sur ses lèvres, la flamme de ses regards devint radieuse et moins troublée; toute la douleur de l'homme s'effaça devant l'audace du chef de parti. Le moment des regrets était passé, celui de l'action était venu, et Maxime recouvrait tout son entrain, toute son énergie.

Bientôt les éclats de voix cessèrent dans la salle basse, des pas pressés et tumultueux retentirent dans l'escalier. La porte, s'ouvrant à deux battants, livra passage aux compagnons de Maxime.

Les uns venaient de quitter les dés, d'autres les

cartes, ceux-ci leur bol de punch ou les bouteilles de champagne et de tokai; il y avait encore dans leurs gestes, leurs regards, leur allure, quelque chose de fiévreux qui altérait la dignité naturelle de leurs physionomies, mais qui s'effaçait graduellement au moment du dernier entretien et du dernier signal. Tous, en entrant, serrèrent chaleureusement la main de Maxime et parurent enthousiasmés par l'expression d'audace et d'espoir rayonnant dans ses yeux.

— Enfin, nous te voyons, Maxime! lui dit Thadée. Toute la journée, tu t'es enfermé chez toi; tu nous as bien manqué.

— Ah! mes amis, j'avais tant de préparatifs à faire!... Je n'ai pas perdu mon temps. J'espère que vous avez bien employé le vôtre?

Et Maxime, se détournant avec un geste de fierté, s'adressa à ses compagnons en leur disant :

— Maintenant, pour le départ, pour la bataille, vous êtes tous prêts, mes amis?

— Oui, tous.

— Vous avez des armes?

— En abondance.

— De l'or?

— Autant qu'il en faut.

— Du courage?

— C'est ce qui nous manque le moins.

— Eh bien, alors, marchez pour le salut de la patrie. Vous êtes tous hommes libres, descendants de pères libres, fils d'une terre libre. L'esclavage autocratique ne peut être imposé aux fils, aux compagnons des vieux

hetmans... O mon Ukraine, sainte et mystérieuse patrie, vieille terre des combats, renaiss, rajeunis, rayonne ; reflouris pour nous couronner, ou entr'ouvre-toi pour nous engloutir ! Il n'y a pour nous que deux espérances, deux gloires : marcher triomphants sous ton ciel ou nous coucher sanglants dans tes sillons, ô nourrice, ô mère, ô patrie !

Ici Maxime fit un signe, et Semenko, qui s'était tenu jusque-là dans un coin, lui apporta l'ancien étendard des hetmans cosaques.

Le descendant des Nekrasa le prit avec respect, appuya ses lèvres sur les plis soyeux de l'étoffe, puis fit flotter le drapeau au-dessus de toutes les têtes inclinées.

— Voici, s'écria-t-il, l'étendard de la révolte et de la liberté ! Nous l'arborons les premiers, nous, dans ce petit coin du monde. Mais qu'il brille, qu'il triomphe dans nos premiers combats, et nous verrons alors se développer dans le ciel les ailes blanches de l'aigle polonaise. Nos frères de Pologne nous regardent, nous attendent ; à notre première victoire ils viendront se jeter dans nos bras... Ouvrons-leur le chemin et donnons-leur l'exemple. L'ennemi est proche, le soleil se lève, en avant !

— En avant ! répétèrent toutes ces mâles voix, dont l'écho se répandit dans les lointains de la steppe.

— Si quelqu'un d'entre vous veut mettre sa conscience en ordre, M. le curé est là, dit Maxime. Dans trois quarts d'heure, soyez prêts à monter à cheval.

Il s'éloigna en disant ces mots, et trois quarts d'heure

ne s'étaient pas écoulés que, par la grande porte de la cour, toute sa troupe défilait devant lui, joyeuse, enthousiaste, animée, mais en bon ordre et silencieusement.

Lui-même, venant le dernier, se retourna après qu'il eut franchi le seuil et jeta un regard éloquent vers la façade grise de la maison, qui se dessinait, avec une morne grandeur, sous les premières lueurs de l'aube déjà rosée.

« Adieu, mon foyer! murmura-t-il, adieu, maison de mes pères!... Aujourd'hui, je t'envoie peut-être mon dernier salut et mon dernier regard!... Mais plutôt que de vivre sous ton toit, seul, dédaigné, sans amour et sans espérance, j'aime mieux te quitter, mourir et dormir dans un sillon du sol natal... Et si je meurs, ô ma maison, puisses-tu devenir la maison de Sophie! »

Il passa la main sur ses yeux, se détourna et mit son cheval au galop. Le vieux prêtre alors, resté dans le dwór de Bolanki, sortit seul de la cour, et, avant de descendre, s'arrêta un moment au sommet de l'émence.

D'un regard triste et brillant à la fois, il suivit les cavaliers défilant sur le flanc de la montagne, le drapeau flottant au sein des premières vapeurs, le profil noir des lances et des fusils se détachant sur le ciel rose. Tout, dans la steppe, à cette heure matinale, était ravissant de fraîcheur, de paix, de majesté. Le soleil se faisait pressentir au-dessus de l'horizon; une alouette commençait à bégayer son chant dans les herbes; à peine quelques fumées blanches s'élevaient au-dessus

du village endormi. Seule, cette petite troupe qui s'éloignait, respirait la fureur, la guerre et la vengeance.

« O belle nature du bon Dieu ! murmura le vieux prêtre en joignant les mains, que ne peux-tu, dans ta grâce et ta douceur, éteindre les passions des hommes !... O Seigneur ! ces jeunes insensés vont mourir, vont combattre. Et ils sont partis sans vous prier !... Pardonnez-leur et bénissez-les, mon Dieu ; que leur victoire soit pure ou que leur mort soit douce ! »

Et le vieux prêtre, ayant dit ces mots, descendit la colline en soupirant.

XX

LE SOULÈVEMENT.

La grande plaine qui s'étend autour de la ville de K*** présentait, cette même nuit, l'aspect le plus singulier. Au lieu d'être, comme d'ordinaire, abandonnée aux buissons, aux herbes sauvages, aux cailles qui gloussent dans leurs nids sauvages et aux lapins qui y creusent leurs terriers, elle était peuplée par une multitude bruyante, animée par des chants et des cris, éclairée par des flambeaux. Ça et là, sur la bruyère humide, de grands feux étaient allumés, et, de loin, sur le rouge rideau de flammes, se dessinaient les silhouettes noires des Cosaques, assemblés autour des brasiers avec leurs femmes et leurs enfants. De grandes marmites bouillaient au-dessus de ces foyers improvisés dont les lueurs ardentes venaient, au travers des tour-

billons de fumée, se refléter sur les lames acérées et polies des haches, des couteaux, des faux à demi redressées, qui s'entassaient non loin des feux.

Cà et là, des piquets fichés en terre supportaient de grossières draperies, qui faisaient l'office de tentes, et sous lesquelles allaient, les uns après les autres, se blottir les femmes et les enfants. La plupart des hommes s'étaient étendus autour des feux, ayant roulé sous leur tête leur épaisse fourrure de mouton ou quelques sacs de toile.

Pourtant quelques groupes animés ne pensaient pas à dormir et s'agitaient encore : ici on aiguisait des couteaux, on affilait les haches ; là on cherchait à se donner du cœur en faisant circuler les gobelets d'eau-de-vie, et en dépeçant les morceaux de bœuf et de lard bouillis ; ailleurs, un vieillard à l'œil brillant, à la barbe de neige, aux lèvres éloquentes, racontait ou chantait les exploits des pères, pour exciter l'ardeur et le courage des fils.

Ce fut ainsi que se passa cette nuit tout entière. Puis, dès que l'alouette eut fini sa chanson matinale, lorsque le soleil, sortant d'un brouillard rose, commença à verser ses flots d'or, les Cosaques se mirent activement à la besogne pour les préparatifs de la journée.

Soudain un certain mouvement se fit à l'une des extrémités de la plaine ; les sentinelles qui s'y trouvaient placées agitèrent leurs bonnets au bout de leurs baïonnettes, en poussant de joyeuses acclamations. De ce côté s'avancait en effet une petite troupe de cavaliers aux aigrettes brillantes, faisant flotter un drapeau aux

rayons du soleil, et s'approchant, au galop, du centre de la plaine.

« Le voici ! le voici ! s'écria-t-on de toutes parts. Voilà le fils de nos hetmans, avec ses Assawules. Il vient s'unir à nous, nous apprendre à combattre, à reconquérir notre liberté... Vive notre hetman Nekrasa !... »

Ce fut au milieu de ces acclamations bruyantes que Maxime et ses compagnons parvinrent jusqu'au centre du campement, voyant partout sur leur passage les bonnets voler en l'air, les mains se tendre vers eux, les regards rayonner, s'enflammer en leur présence.

A peu près vers le milieu de la plaine, un tertre de gazon s'élevait. Ce fut là que s'arrêta la brillante troupe des gentilshommes. Bientôt, au sommet de l'éminence, Maxime parut seul, ses compagnons formant en bas, autour de lui, un cercle étincelant, où les reflets diamantés des agrafes de pierreries se mêlaient au riche éclat des armes, et aux nuances variées des aigrettes de plusieurs couleurs.

Autour de ce cercle brillant, la grande foule populaire en un instant s'était amassée. Tous les regards, avec l'expression de l'attente et du désir, se fixaient sur le sommet du tertre, où se dessinait, droite, fière, isolée sur le bleu transparent du ciel, la haute taille du jeune hetman aux cheveux noirs, qui d'une main faisait flotter son drapeau autour de lui, et de l'autre ôtait, avec un geste respectueux, sa toque de velours, où la plume de héron étalait ses belles teintes cendrées. }

Bientôt, à un geste qu'il fit, les longs murmures de la foule s'éteignirent peu à peu ; sur cette grande plaine



Maxime commença à parler.

verte, au-dessus de toutes ces têtes nues et inclinées, régna un silence solennel. Seuls, un grillon pépiait aigrement sous l'herbe, un merle sifflait joyeusement aux branches d'un buisson : pour eux il n'y avait rien à attendre ni à désirer ; pour eux, tous les jours étaient les fêtes de la liberté et de la nature.

Maxime commença à parler ; sa voix sonore se répandit, avec une limpidité merveilleuse, dans cette transparence et ce calme de l'air du matin.

« Sous ce tertre que je foule aux pieds, dit-il, deux mille de nos aïeux ont laissé leurs os, il y a trois siècles... Pardonnez, ô mes pères, si, du haut de votre dernier monument, foulant aux pieds vos cendres héroïques, j'ose me montrer pour parler à vos fils. Mais c'est votre drapeau que je leur présente, votre bénédiction que je leur transmets, votre souvenir que je leur confie. Vous êtes morts pour les conserver libres, ô mes aïeux ; apprenez-leur maintenant, par ma voix, à vivre, à combattre, à souffrir, pour redevenir libres. Que votre tombe héroïque soit le berceau de notre jeune liberté !

« Frères de la steppe, frères de la plaine et de la forêt, votre cause est sainte et juste. Vous ne devez point avoir d'autre loi que l'égalité, d'autre maître que Dieu. Ils sont passés, les jours où vous n'étiez plus que le butin d'un maître. Levez-vous, frères, et combattez : vous avez souffert assez longtemps. Nous avons Dieu au-dessus de nous, le courage et la justice pour nous, les ombres de nos pères autour de nous, et, tout près de nous, deux immenses armées... C'est pour nous se-

courir, c'est pour nous délivrer, qu'ils se sont levés, qu'ils approchent, ces Anglais qui sont un peuple de puissants, ces Français, un peuple de braves. Déjà ils ont débarqué sur nos côtes, ils nous apportent leurs secours, ils nous tendent la main... N'ayons point à rougir devant eux ; quand ils viendront ici, qu'ils nous trouvent vainqueurs et libres !

« Alors vous leur direz, frères, le cœur joyeux, les mains tendues : « Amis, ne venez plus combattre, mais
« vous réjouir avec nous. Votre exemple nous a ins-
« truits ; la besogne est presque achevée. Vous vouliez
« secourir un peuple souffrant, vous saluez un peuple
« libre. Les mains qui ont porté les chaînes doivent
« avoir seules la force de les briser. »

« En avant donc, frères Cosaques ! en avant, fils de Bogdan et de Mazeppa ! Nos amis s'approchent, nos ennemis sommeillent. Notre cœur est réveillé, le soleil se lève et Dieu sourit. Au combat et au triomphe ! à la mort et à la gloire !... Au nom de la liberté, au nom de la patrie, en avant¹ ! »

A ces paroles enthousiastes, un seul cri répondit, mais un cri de géant, unanime, prodigieux, sortant de huit mille cœurs, poussé par huit mille poitrines, vibrant sur la steppe et sur l'étang, comme l'écho lointain d'un océan en fureur.

Quand ce premier transport se fut un peu calmé, Maxime fit un geste de commandement et reprit :

¹ Tel fut à peu près le sens de la proclamation qu'un jeune seigneur adressa, à cette époque, aux paysans, et qui détermina la révolte des Cosaques d'Ukraine.

« Il nous reste, avant de commencer la lutte, quelques importantes questions à décider. Nous en délibérerons en commun, et moi, votre hetman, je n'aurai, comme vos députés, que ma voix au conseil... Que les délégués des communes se réunissent ici, autour du tertre. »

Un mouvement se fit dans la foule. Bientôt six cents hommes environ se trouvèrent rassemblés au pied du monticule, avec les compagnons de Maxime.

Pendant près de deux heures, le conseil délibéra, car il y avait bien des questions importantes à déterminer. Ainsi on désigna pour chaque commune ceux des hommes qui s'armeraient, et ceux qui resteraient pour les travaux des champs; on convint, sous les peines les plus sévères, qu'aucun des combattants n'attenterait à la vie, à la sûreté, ni aux biens d'aucun riche ou seigneur; on organisa des ateliers, des forges pour la fabrication des couteaux, des faux et des piques. On donna enfin les ordres les plus formels pour que les soldats ne reçussent qu'une très faible ration d'eau-de-vie, et que les dizainiers fissent fermer sur leur passage toutes les distilleries et tous les cabarets.

Le soleil était déjà haut dans le ciel quand les délibérations finirent. Alors Maxime descendit de sa tribune improvisée, et, affable, radieux, souriant, vint se mêler à la foule. Il s'occupa de tout, parla à presque tous, appelant ses Cosaques par leurs noms, et les excitant par quelques allusions à l'histoire de leurs ancêtres. Puis il eut soin de voir si rien ne leur manquait, et il apprit avec satisfaction que les provisions de bestiaux,

de gruau et de farine amenées dès la veille, et prises sur ses propriétés, suffisaient pour nourrir une huitaine de jours cette nombreuse troupe.

Pour le repas de midi, il s'assit sur l'herbe, entouré de son état-major de Balagoules, et lorsqu'ils eurent partagé le potage au gruau et la viande bouillie aux légumes, simple nourriture des paysans, ils tinrent ensemble conseil.

— Maintenant que nous avons délibéré, il faut agir, commença-t-il, en jetant sur ses compagnons un regard intrépide et joyeux. Dites-moi, mes amis, que ferons-nous d'abord ?

— Nous marcherons sur la ville et nous la prendrons, dit Xavier.

— Attendu que six mille Cosaques valent bien douze mille Russes, ajouta Woldemar. Comptons qu'un des nôtres fait deux de ceux-là, et nous aurons bien calculé.

— Oui, mais ce que tu ne calcules pas, c'est qu'ils ont, eux, de la poudre, des balles et des fusils, et nous surtout des couteaux, des haches et des piques... Pour attaquer la ville, il faut des fusils ; donc il faut aller les prendre ; car personne n'a l'intention de nous les donner, et ces fusils-là, croyez-moi, nous ne les prendrons pas dans la ville.

— Eh bien, où donc alors ?

— Voici, mes chers amis : on n'a pas été officier pour rien ; on conserve encore dans l'armée quelques bons camarades, qui vous renseignent sur les mouvements des troupes... J'ai donc appris hier soir qu'il y a une tête de colonne en marche dans cette direction, un dé-

tachement de ces renforts qu'on envoie en Crimée. Les drôles, naturellement, ne se doutent de rien. Ce n'est qu'en approchant de Sébastopol qu'ils s'attendent à entendre le salut des balles. Recevons-les poliment, et faisons-leur entendre le tapage un peu plus tôt... Rien que leur surprise extrême les anéantira à moitié; ils croiront que les Français et les Anglais sont parvenus jusqu'aux steppes d'Ukraine... C'était hier le dernier jour de la lune; voici des nuages qui s'amassent; selon toute probabilité, le ciel, cette nuit, sera sombre. C'est précisément ce qu'il nous faut pour tendre une embuscade à l'ennemi. Le détachement compte quatre mille hommes : c'est quatre mille fusils que nous gagnons. Avec cela nous attaquons la ville.

— Ton conseil est excellent, dit Thadée; ton calcul l'est aussi. Fixe-nous l'heure du départ; nous sommes, s'il le faut, prêts à nous mettre en route.

— Partons le plus tôt possible : l'endroit le plus favorable à une embuscade est assez loin d'ici. Nous n'avons que peu de cavaliers et une longue queue d'infanterie. Allez donc porter à la troupe l'ordre formel du départ.

Les jeunes gens, aides de camp improvisés, parcoururent les rangs de la foule. Alors un grand mouvement s'y fit; les hommes quittèrent avec précipitation leurs sièges de gazon, leurs tentes de grosse toile, pour courir aux faisceaux d'armes et en revenir, portant qui une pique, qui une hache, qui une massue, mais ayant tous, à la ceinture, le coutelas long et bien affilé. A la voix de leurs dizainiers, ils se formèrent en petites es-

couades. En les voyant s'ébranler, les vieillards prononcèrent sur eux des bénédictions, les femmes fondirent en larmes.

Cependant les adieux furent courts : l'hetman l'avait commandé. Bientôt les Cosaques défilèrent en une longue colonne bigarrée, où les couleurs éclatantes des bonnets, des vestes, des ceintures, se mêlaient aux éclairs qui se jouaient sur les lames des faux, des piques, des haches, dorées par de vifs rayons de soleil. Derrière eux, à l'autre extrémité du campement, se dressaient dans le lointain les toits et les clochers de leur ville natale, que la plupart d'entre eux n'avaient jamais quittée avant ce jour de combat. Aussi plus d'une fois se retournèrent-ils encore, dominés par une émotion puissante, jetant un dernier regard sur ces murs bien-aimés qui renfermaient leur berceau, leur foyer, leurs espoirs et leurs souvenirs. Maxime surprit ce mouvement et n'en fut point étonné. Pour ces âmes simples, la ville natale, c'était la vraie patrie.

« Ah ! ne la pleurez pas ; vous la verrez encore, vous la reverrez triomphante ! » s'écria-t-il, en étendant la main vers le profil grisâtre de la cité modeste, qui déjà se perdait dans les lointains de l'horizon.

Pour la première fois, en ce jour, aucune acclamation enthousiaste ne répondit à sa voix. C'est que tous ces hommes grossiers, obscurs, s'étaient un instant recueillis, afin d'envoyer au ciel, dans le silence de leurs cœurs, une dernière prière pour le salut de leurs maisons et de leurs familles, le berceau de leurs enfants, la tombe de leurs aïeux.

Il y eut donc un instant, bien court, de silence et de recueillement ; puis les visages se détournèrent, les mains se crispèrent avec plus d'énergie, sur la poignée des coutelas et le manche des faux.

La colonne, ayant repris sa marche, ne s'arrêta qu'au coucher du soleil, dans le lieu choisi par son chef. En cet endroit, la grande chaussée du sud de l'empire, qui va de Kiew vers la Crimée, resserrée entre deux hautes collines, devient étroite et profonde comme un ravin.

Au pied de ces collines, un long fossé plein d'herbes, de broussailles, de buissons, d'arbres nains, s'étend, sur les deux bords de la route, à une verste de longueur. Au reste, il n'y a ni taillis, ni forêts, ni maisons sur la plaine ; aussi loin que le regard s'étende, il ne découvre aucun village jusqu'aux confins de l'horizon.

Ce fut dans cette solitude un peu sombre que Maxime fit embusquer ses hommes.

Les deux ou trois cents chevaux que comptait la troupe cosaque furent massés à un quart de verste en avant, pour intercepter la route ; les combattants se tapirent dans les fossés, derrière les buissons, gardant à la ceinture le fidèle coutelas et déposant les faux, les haches, à côté d'eux, sur l'herbe.

Bientôt le ciel s'assombrit, des nuages noirs le voilèrent. Le silence de la nuit, si solennel et si profond dans l'immensité de la steppe, fut interrompu de loin en loin par de sourds grondements de tonnerre ; quelques gouttes de pluie, larges et tièdes comme si c'eussent été déjà des gouttes de sang, tombèrent du ciel sombre

en ployant les bruyères. Un orage avait éclaté à quelques lieues de là. Mais la sanglante besogne de Sébastopol pressait. En dépit de la nuit, de la pluie, du tonnerre, la colonne ennemie devait venir. Elle vint en effet.

Du fond de leur fossé, retraite silencieuse, les Cosaques qui l'attendaient, muets, immobiles, livrés aux émotions, aux regrets, aux terreurs de cette première nuit de dangers, l'entendirent, vers onze heures, approcher dans le lointain, faisant résonner d'un pas uniforme et lourd le sol de la chaussée. Du sein de cette longue colonne noire retentissaient à peine, de temps en temps, le tintement d'un sabre sur le pavé, le choc de deux baïonnettes, ou s'élevaient faiblement quelque soupir de fatigue, quelque juron à demi étouffé. Mais ces bruits, à peine perceptibles, disparaissaient dans l'écho continu, régulier, produit par le pas mesuré de ces hommes armés qui s'avancent, de ce fléau qui marche.

Déjà les clairons placés en tête de la colonne avaient atteint l'extrémité du défilé, lorsque soudain, au flanc d'une des collines, jaillit une étincelle, suivie bientôt d'une grande lueur. Et puis tout retomba dans l'obscurité. Seulement une voix sonore, une voix éclatante, qui, avant de s'évanouir dans la steppe, remplit le défilé, fit entendre ces mots, à l'instant où la lueur s'éteignit :

« C'est le moment... A l'arme blanche ! »

Et avant que les Russes eussent eu le temps de se retourner, d'épauler, d'ajuster leurs armes, ils enten-

dirent les ronces, les buissons, craquer sous des pieds impatients, des pas précipités, autour de leur longue file ; ils sentirent des visages irrités s'approcher des leurs, des mains féroces étreindre leurs gosiers, saisir leurs armes ; des tranchants de haches s'abattre sur leurs crânes ; des fers de faux et des lames de coutelas abattre leurs mains étendues et s'enfoncer dans leurs chairs.

Tout cela se faisait dans l'ombre et sans bruit..... Les assaillants, sortant, comme une bande de démons muets, de l'abîme et des ténèbres, palpaient d'un doigt sûr, saisissaient d'un poignet d'acier, les hausse-cols, les casques, les épaulettes de leurs victimes, et, certains de ne pas se tromper, faisaient retomber les haches sur leurs têtes, enfonçaient les coutelas dans leurs chairs. L'espèce de soupir qu'ils poussaient, en donnant l'élan à leurs lourdes cognées, se mêlait aux plaintes aiguës que la douleur arrachait aux blessés et aux mourants.

Et les Russes, ainsi surpris, ainsi fauchés, tombaient, tombaient toujours. Frappés d'une invincible terreur, resserrés dans ce défilé sinistre, ils se laissaient abattre et égorger, sans avoir le temps ni la place de déchirer une cartouche, d'épauler un fusil. Et pourtant leurs meurtriers, en les sentant défaillir et glisser sous le fer, n'étaient pas satisfaits encore. Leur rage n'était pas apaisée, et ils ne poussaient leur première exclamation de joie et de triomphe que lorsqu'ils avaient arraché aux doigts tressaillants du cadavre le fusil qu'ils tenaient serré, et à sa poitrine sanglante le dernier paquet de balles et de cartouches.

Cà et là pourtant, sur les flancs des talus, quelques torches s'allumèrent. Au bout d'un quart d'heure de carnage, Maxime trouva qu'on avait assez tué et voulut se donner le spectacle de la fin. Alors les grandes flammes rouges, vacillant sur le sable de la chaussée, y firent miroiter les flaques de sang, briller d'un pâle éclat les visages livides des morts, surgir les membres hachés, les crânes sanglants, les poitrines ouvertes, les débris d'uniformes accrochés aux buissons, les casques et les sacs roulés dans le fossé parmi les herbes. Le défilé était devenu la tombe du détachement condamné; entre ses deux hautes collines, il ne restait plus que les Cosaques qui fussent encore debout.

Aussi cet instant de triomphe mit fin à leur silence meurtrier. Toutes les poitrines se gonflèrent, toutes les bouches s'ouvrirent, et un seul cri, un grand cri de joie et d'orgueil, s'éleva au-dessus des plaintes des mourants et du silence des morts. Puis ils aperçurent, en haut du talus, leur jeune chef rayonnant, enivré, magnifique, qui les saluait de la main et agitait sa torche comme s'il eût agité un drapeau. Un second cri s'éleva, vivat superbe en son honneur. Puis ils se turent, voyant que Maxime allait parler, et il leur dit, désignant de la main l'autre côté des collines :

« Mes amis, vous avez conquis vos premières armes, vous êtes victorieux. Le champ de bataille est à vous, et, le reste de la nuit, vous allez y dormir... Pas à côté des morts, certainement, continua-t-il en voyant une expression d'horreur se peindre sur quelques-uns de ces rudes visages, mais bien sur ce versant, où la pente

est douce et l'herbe parfumée. Sur ce gazon vert, croyez-moi, vous ne trouverez ni sang, ni os, ni poussière, et le voisinage des morts ne vous empêchera pas de dormir. La journée de demain aura pour vous de nouveaux dangers, de nouvelles fatigues. J'exige donc que vous vous reposiez, car une autre besogne nous attend... Allons! les armes en faisceaux, les sentinelles à leur poste; les manteaux à terre, et les hommes dessus! »

Les ordres du jeune chef furent aussitôt exécutés. Deux heures plus tard, lorsque la lune se leva sur les espaces lointains de la steppe, elle éclaira, avec la même indifférence et du même rayon argenté, d'un côté de la colline, les visages livides et contractés des cadavres couchés dans le sang et la poussière, et, de l'autre, les yeux fermés et les fronts tranquilles des Cosaques endormis, sous le beau ciel de juin, dans les hautes herbes du désert.

XXI

DE LA DIFFÉRENCE QU'IL Y A ENTRE LA VEILLE ET LE LENDEMAIN.

Le lendemain, au point du jour, la steppe était fraîche et rose, les Cosaques dispos, bien réveillés. Maxime voulait en toute hâte s'éloigner du champ de bataille, pour aller surprendre la ville, où il pourrait se fortifier, et attendre avec sécurité les troupes des autres com-

munes cosaques, qui devaient le rejoindre en armes dans trois ou quatre jours au plus.

Mais, au moment du départ, il rencontra dans sa troupe une opposition à laquelle il était loin de s'attendre. Il venait de donner l'ordre de partir, lorsque le plus âgé de ses Cosaques s'avança :

— Nous voulons bien partir, ô notre hetman, et aller combattre aussi, dit-il; mais auparavant il nous reste quelque chose à faire.

— Vraiment? Et quoi donc?

— Nous devons ensevelir ces cadavres, répondit le vieillard en jetant un regard morne sur le sombre défilé.

— En vérité? Perdre un temps précieux, vous amuser à de semblables sottises!

— Ce ne sont point des sottises, ô chef! répondit le Cosaque d'un air sérieux et pénétré. Nous avons fait assez de mal à ces hommes en leur ôtant la vie, sans vouloir les priver encore du repos éternel... Et vous savez aussi bien que moi, seigneur, que ceux qui meurent de mort violente et qui ne sont point enterrés, errent misérablement entre le ciel qui leur est fermé et la terre qui refuse de les recevoir; qu'ils respirent la vengeance, aiment le sang et deviennent des vampires. Non, hetman, nous ne pouvons point laisser ainsi ces cadavres. Cela nous porterait malheur, nous serions vaincus au prochain combat; il n'y aurait pas là de mains pieuses pour nous ensevelir, et nous tous nous serions des maudits, des vampires.

Un éclair jaillit des yeux de Maxime, surpris de cette

résistance à l'ordre qu'il avait donné. Il frappa du pied, tordit violemment sa moustache et allait éclater, quand l'idée lui vint d'examiner le visage de ses hommes. Tous étaient silencieux, mais résolus ; tous semblaient décidés à appuyer par des faits les paroles de l'orateur, à se séparer même de lui, plutôt que de poursuivre une entreprise inaugurée par un acte impie. Le jeune chef comprit tout d'un coup d'œil. Il fallait céder, sous peine d'être abandonné : il céda.

— Faites donc promptement, dit-il. Je vous donne deux heures pour enfouir tous ces cadavres.

Et, se détournant avec colère, il s'éloigna de la troupe, marchant seul sur la steppe, les yeux étincelants et les bras croisés.

Pendant ce temps, les Cosaques se mirent à l'œuvre, et, dans un long fossé creusé au revers d'une des collines, déposèrent en sanglante file les cadavres mutilés, défigurés, déjà roidis, jetant avec eux, dans leur précipitation et leur terreur, quelques blessés qui agonisaient sur la route.

En deux heures, la funèbre besogne était achevée, mais le soleil était déjà haut sur l'horizon. Maxime alors donna l'ordre du départ ; cependant son ardeur l'avait abandonné. Les paroles qu'il prononça, en commandant à sa troupe de marcher dans la direction de K..., furent encore saluées d'une acclamation enthousiaste ; mais ces vivats mêmes ne l'arrachèrent pas à sa sombre torpeur. Il secoua la tête en soupirant, et, s'éloignant de son état-major, marcha seul et rêveur à l'arrière-garde.

Il aurait été plus sombre et plus rêveur encore s'il eût pu voir ce qui se passait en ce moment dans la ville de K..., où il voulait entrer. Le beau palais du prince L..., qui, de la hauteur où il est situé, domine la route et la ville, avait reçu à lui seul une nombreuse garnison ; devant l'élégant édifice, tout de pierre, de stuc et de marbre, quelques pièces de canon, cachées derrière les caisses de lauriers-roses et d'orangers, étaient rangées dans la cour. Dans toutes les maisons, des soldats s'étaient glissés, barricadant les portes, braquant aux embrasures des fenêtres le canon de leurs fusils. C'étaient là de terribles préparatifs faits pour recevoir les Cosaques de Maxime, et ils étaient d'autant plus terribles qu'ils avaient été effectués en secret.

En effet, la désertion des habitants de la commune de K..., leur campement en plein air, avaient éveillé les craintes du prince. Par son ordre, un messager, se rendant à Kiew, avait informé le général gouverneur de l'état présent des choses. Aussi, la même nuit qui avait servi à l'embuscade et au triomphe de Maxime, avait vu une longue file de soldats soigneusement armés, traînant derrière eux leurs munitions et leur artillerie, entrer silencieusement dans la ville et prendre possession des maisons, des églises, des palais. Si ces quelques heures avaient donné des armes aux Cosaques, elles avaient aussi donné une position formidable à leurs ennemis, et désormais la victoire devenait au moins douteuse.

Mais ils ne le savaient pas, ces combattants qui s'avançaient joyeux, triomphants encore. Leur troupe,

rangée en bon ordre, ne tarda pas à se montrer, portant avec orgueil ses fusils neufs et ses baïonnettes étincelant aux rayons du soleil.

— Allons au palais d'abord, commanda l'hetman Maxime. Probablement le prince y est encore; par conséquent, nous trouverons à qui parler. Il faut qu'il nous cède la place ou qu'il marche avec nous. Nous ne pouvons pas le laisser libre, il nous livrerait aux ennemis.

Chacun approuva cette décision. Beaucoup de ces pauvres laboureurs, qui avaient fréquemment gémi sous l'oppression des agents du prince, se sentirent joyeux, presque vengés, à l'idée de faire subir à leur tour à leur ancien maître quelque chose de leurs propres angoisses et de leurs humiliations passées. Ils s'avancèrent donc en bon ordre à travers les rues, entre ces deux rangées de maisons closes et muettes, où ils ne savaient pas que les guettait la mort.

Bientôt la longue troupe des Cosaques, son état-major en tête, son drapeau flottant au soleil, arriva en face du palais, dont la grande grille dorée était soigneusement close.

Aucune fenêtre ne s'ouvrit à son approche, aucun visage ne parut aux carreaux; il semblait que, là aussi, tout fût muet et mort. Maxime fit un signe, et l'un de ses Balagoules agita la grosse cloche de la grille.

Quelques instants après parut le maître d'hôtel du prince. Digne et tranquille, comme si de rien n'était, balançant avec lenteur sa grosse taille et sa tête pou-

drée, cet homme se présenta et demanda ce que voulait la foule.

— Nous voulons parler au prince, dit un des jeunes Balagoules en s'avançant. Allez le chercher s'il est ici, et qu'il ne tarde pas, je vous y engage.

Le maître d'hôtel s'inclina et s'éloigna du même pas lent et mesuré, comme s'il eût été chargé d'annoncer la visite la plus naturelle du monde.

Bientôt la grande porte placée au haut du perron s'ouvrit ; mais ce ne fut pas le prince qui parut. A peine ce dernier montra-t-il sa haute taille et sa tête grise, derrière les larges vitres de cristal donnant sur la cour. Il semblait chercher à retenir quelqu'un qui voulait s'avancer, et, si les Cosaques eussent été plus proches ou la cour moins large, ils eussent pu entendre clairement le son de sa voix.

— En vérité, disait-il, vous ne ferez pas cette folie.

— Permettez, prince, ce n'est pas une folie, c'est un acte de haute raison. Voici des gaillards qui ne se feraient point scrupule de démolir votre superbe grille et de cribler de balles la façade de votre château. Or, le général m'a envoyé ici protéger votre propriété et votre personne ; pour cela, il me faut écarter ces coquins. Ils auront des coups de fusil autant qu'ils en veulent ; mais ils les recevront ailleurs ; je prends pour cela le moyen que je trouve bon, et j'ai à cœur avant tout d'exécuter ma consigne... Cher prince, laissez-moi me faire un beau succès ; savez-vous ce qu'il y aura au bout ?... Peut-être bien les épaulettes de colonel et le gracieux sourire d'une belle dame.

Et là-dessus l'interlocuteur du prince, laissant son hôte à demi convaincu, passa sur le perron, referma la porte derrière lui et s'avança seul au-devant de la foule.

Ce personnage qui se présentait ainsi aux insurgés, tranquille, presque souriant, était un jeune officier russe, aux favoris noirs, aux mains blanches, très droit, très élégant dans sa tunique bien prise, et tenant en main une petite badine, dont il frappait en marchant la pointe de ses éperons. Lorsqu'il fut arrivé au milieu de la cour, il appela un laquais et lui dit négligemment : « Ouvrez la grille. »

Le laquais obéit en tremblant, et l'officier, sortant aussitôt, vint se placer seul devant la foule.

Chose étrange, et pourtant strictement vraie ! ce peuple exalté et ému, qui se serait rué avec fureur sur les obstacles entassés devant lui, sur des baïonnettes, des canons, des remparts formidables et des grilles bien fermées, hésita et recula presque, devant ce jeune homme qui venait à lui, seul, moqueur et insouciant.

L'officier s'aperçut de l'impression que sa présence produisait sur la foule et résolut d'en profiter.

— Que demandez-vous, mes braves ? dit-il, s'adressant aux Cosaques.

— Nous voulons voir le prince.

— Le prince n'est pas orateur. Savez-vous ce que c'est qu'un orateur, mes amis ? Non, n'est-ce pas ?... Un orateur est un homme qui sait parler. Eh bien, le prince m'a envoyé pour le remplacer ; car je me trouve

avoir la parole assez facile, et ce sont des paroles seules, je le suppose, qui s'échangeront entre nous ?

— En tout cas, seigneur officier, dit le plus vieux des Cosaques en s'avançant, ce seront des paroles bien graves. Nous venons avertir le prince qu'un ukase de l'empereur, notre seigneur et le sien, nous a donné la liberté, et que nous ne souffrirons plus de maîtres. Nous venons lui demander de marcher avec nous pour rendre la liberté aux autres communes cosaques, sans quoi nous le regarderons comme un traître et un ennemi.

— Ah ! bah ! répondit le jeune homme d'un air de profonde surprise. Êtes-vous bien éveillés, mes braves, ou avez-vous trinqué trop largement en l'honneur du saint de votre paroisse?... Que me chantez-vous là avec votre ukase et votre liberté?... Ce sont des fables, mes amis, de vrais contes et de beaux rêves... La liberté ! Eh ! bon Dieu, qu'en feriez-vous ? Croyez-moi, il ne vous en faut qu'une seule, la bonne, la juste, la vraie : la liberté d'être sages, de récolter votre blé en août, de tuer un cochon en novembre et de vous griser... rien que cinquante-deux fois par an. Moyennant quoi on vous donne un champ, une étable, une cabane, la permission de vous marier et le conseil d'avoir beaucoup d'enfants, un hôpital pour vous soigner, un cabaret pour vous divertir, un pope pour vous enterrer, et, quand vous serez morts, une belle petite place au cimetière... Croyez-moi, c'est là tout ce qu'il vous faut ; cherchez, imaginez, je vous défie de trouver mieux.

— Tout ceci, répéta le vieux Cosaque avec une me-

naçante gravité, la nourriture, l'abri, une compagne, tout ceci, sauf les prières, on le donnerait à des animaux... Mais ce que nous voulons, c'est la liberté qui convient à des hommes... la liberté d'aller, de venir, de vendre, d'acheter, de travailler pour nos besoins et non pour le profit du maître, de nous établir dans le village qui nous plaira le mieux, et de laisser à nos enfants ce que nous aurons gagné pour eux pendant notre vie... Cette liberté-là, seigneur officier, est, comme vous le dites, bonne, juste et vraie. Vous voyez bien que le tsar le pense aussi, puisqu'il nous l'a donnée, et comme le tsar est le représentant de Dieu sur la terre, il ne peut manquer d'avoir raison.

— Mais où avez-vous vu que le tsar s'occupe de vous, mes pauvres diables ? reprit le jeune officier en riant aux éclats. Le tsar n'a jamais eu l'intention de vous donner la liberté, car vous ne sauriez pas vous en servir ; et, comme notre empereur est un père prudent, il ne veut pas confier des sabres et des fusils à ses petits enfants, qui ont encore besoin d'aller longtemps à l'école. A ces petits enfants-là, s'ils sont sages, il peut promettre un bon régal et un congé ; s'ils sont hardis et désobéissants, il leur promet des verges... Choisissez, mes amis ; l'un et l'autre sont préparés pour vous. Le régal vous attend, si vous rentrez dans l'obéissance ; et quant aux verges, les voici... Regardez-les bien, pour apprendre à les craindre.

En disant ces mots, le jeune officier fit entendre un signal prolongé, au moyen d'un sifflet d'argent qui pendait à sa ceinture ; puis il se retourna et étendit la main

vers la cour. Là, par toutes les issues, débouchaient des soldats de l'infanterie, en uniforme sombre, l'arme au bras, marchant d'un pas sûr et lourd. Aux balcons, aux fenêtres, aux mansardes même du dernier étage, on voyait reluire la lame des baïonnettes et la pointe des casques de métal, éclairées par quelque reflet de soleil.

A cette vue, une exclamation de surprise et de fureur s'échappa de la foule.

— Oh ! c'est ainsi qu'ils nous ont trompés, le prince, le traître... et lui, l'officier menteur, qui nous a amusés ici quand nous aurions dû, d'un seul bond, forcer la grille, nous jeter sur la maison !

Et ils se retournèrent vers Maxime, lui disant :

— Seigneur hetman, que faut-il faire ?

— Vous soumettre, mes amis, répondit l'officier russe, qui venait d'entendre ces derniers mots.

Maxime, placé à l'arrière-garde sur un magnifique cheval noir, s'élança pour venir se mettre à la tête de sa troupe. Mais, avant qu'il y fût arrivé, il se passa devant la grille quelque chose d'effrayant.

Un Cosaque de haute taille, les cheveux blancs comme la neige, les yeux rayonnant d'un feu sombre, brandissant une hache dans sa main vigoureuse encore, s'était placé d'un seul bond en face du jeune officier.

— Nous soumettre ? s'écria-t-il d'une voix menaçante, nous soumettre, Cosaques libres, pour être traités comme des esclaves et muselés comme des chiens !... Ah ! plutôt tomber cent fois sous vos balles et vos baïonnettes, pourvu que nous puissions, ô beau parleur,

Ô traître, laver notre honte et notre deuil dans le sang de quelques-uns de vous !

Alors il se pencha en avant, poussa un han ! vigoureux, leva sa hache...

— Arrête, Semen...! s'écria l'officier russe en étendant la main.

Mais il n'acheva pas. Sur ce bras levé, la hache était retombée. Elle avait fendu l'épaule, entr'ouvert la poitrine, laissant après elle une effroyable entaille en biais, comme si elle eût pénétré dans le tronc d'un jeune chêne. Le sang jaillit sur les mains blanches, sur l'uniforme brillant, sur les boucles de la chevelure ; le jeune officier tomba aux pieds du vieillard triomphant. En cet instant précisément, Maxime arrivait devant la grille.

— Daniel ! s'écria-t-il en reconnaissant le cadavre mutilé. C'est donc toi qui l'as tué, Semenko ?

— Maître, j'avais abattu onze Russes cette nuit ; ce n'était pas assez, il m'en fallait un douzième. Et celui-là, Daniel ou un autre, l'avait bien mérité. On n'a pas d'amis chez ses ennemis... Mais prenez garde : les Russes tirent.

Une effroyable détonation retentit en effet, et une grêle de balles s'abattit dans les rangs des Cosaques.

— A votre tour, mes amis ! s'écria Maxime, bondissant au milieu de la foule. Prenez vos rangs, épaulez vos armes, et visez bien, surtout !

Ses ordres furent suivis avec assez d'ensemble et de précision, et cette foule, hier encore hésitante et timide, à peine arrachée à la charrue, mais excitée par la vue

du sang et l'espoir de la liberté, répondit par un feu bien nourri aux décharges meurtrières de la troupe.

Du reste, en cet instant, les Balagoules se multiplièrent. Ces aventuriers héroïques, ces gentilshommes bandits, habitués aux blessures, aux violences, aux excès, marchant au feu comme à la noce, étaient éminemment propres à donner à cette foule l'exemple du sang-froid, de l'audace et du mépris de la mort. On les voyait tous, au premier rang, charger et décharger leurs armes, ne laissant tomber leurs fusils que lorsque ceux-ci leur brûlaient les mains, ou lorsqu'une balle meurtrière leur avait ôté l'ardeur avec la vie. Et ce pauvre peuple opprimé se sentait saisi tout à coup d'une vive foi, d'un grand courage, lorsqu'il voyait avec quelle intrépidité ces jeunes gentilshommes, riches, heureux et libres, savaient combattre et mourir.

Soudain il se fit un mouvement au sein du bataillon russe... Jusque-là serré en masse compacte, il se divisa, s'écarta vers le centre; les fusils russes se turent un moment... Un commandement se fit entendre; un fracas épouvantable retentit; la terre trembla sous les pieds des assaillants, et, au milieu d'eux, s'abattirent en sifflant les noires volées de mitraille.

Tous les coups portèrent dans ce mur pressé, mouvant; là où chaque boulet tomba, il fit son office et sa trouée, broyant les têtes, arrachant les membres, ouvrant les poitrines, abattant les courages. Ces hommes, qui n'avaient pas eu peur des balles, reculèrent et pâlirent devant le canon. Quelques-uns lâchèrent leurs armes, d'autres se voilèrent les yeux, tous se détour-

nèrent et s'enfuirent. Maxime se jeta au milieu d'eux, éperdu, sanglant, le bras traversé d'une balle. Il voulut les rappeler, les retenir; mais le canon, grondant encore, étouffa sa voix et augmenta leur terreur; dans leur fuite, il fut entraîné.

Alors tous ces hommes qui fuyaient furent pris d'une même pensée : regagner le centre de la ville, rentrer dans les maisons, s'y barricader et braver l'ennemi à l'aide de ces forteresses improvisées.

Seulement ce suprême espoir devait s'évanouir bien vite... Au moment où l'avant-garde atteignait dans sa course les premières maisons, à toutes les cabanes simultanément les fenêtres s'ouvrirent; une grêle de balles en jaillit. Alors, dans les rues de K..., il n'y eut plus de combat, mais un massacre. Les Cosaques, épouvantés, anéantis, voyant que pour eux, sur la terre, il ne restait plus de refuge, jetaient leurs armes et s'élançaient pour se précipiter dans les champs.

Mais ce dernier élan du désespoir avait été prévu, et ce qu'ils trouvaient là, c'était la mort encore. Au bout de chaque rue, le soleil étincelait sur les casques de cuivre et les baïonnettes d'acier des Russes, massés en petites colonnes. Plus d'asile dans les champs lointains; dans les buissons et les marais, plus de secours ni d'espérance! Quand les fuyards accouraient, l'officier commandant le peloton faisait un geste, disait un mot : les armes s'abaissaient, cinquante balles partaient à la fois, une trentaine de malheureux roulaient dans la poussière. Puis les soldats s'avançaient et garrottaient les vivants; ceux-ci, réservés aux verges et au knout,

pouvaient regretter alors de n'être pas tombés sous les balles.

Un jeune lieutenant russe, posté avec sa troupe à l'extrémité d'une ruelle aboutissant aux champs, venait précisément de ranger ses hommes en carré, lorsqu'il vit venir à lui un Cosaque de haute taille, vieillard aux cheveux blancs, aux mains sanglantes, au visage décomposé, qui portait sur son épaule un jeune homme évanoui.

— Mon maître est blessé... dans une heure il sera mort. Tuez-moi, si vous êtes généreux! Tuez-moi, je suis un révolté, un bandit! s'écria le vieillard en approchant, et en jetant sur les soldats des regards navrés et farouches.

En parlant ainsi il s'était débarrassé de son fardeau, avait appuyé le jeune blessé au mur d'une des cabanes, et, défaisant d'une main furieuse les boutons de sa pelisse, présentait sa poitrine nue aux soldats, qui abaissaient leurs armes devant lui. Mais l'officier russe, avant de commander le feu, avait jeté un regard sur le blessé, étendu dans la poussière que son sang déjà avait rougi. Ses yeux se fixèrent sur cet inconnu avec l'expression d'une attention profonde. Il fit un pas en avant, s'inclina vers la terre, écarta les longues mèches de cheveux noirs ombrageant le front du blessé.

— Vieillard, dit-il alors en se relevant et se tournant vers le Cosaque stupéfait, ton maître ne servait-il pas, il y a deux ans, dans l'armée du Caucase?

— Oui, répondit le Cosaque, encore plus étonné.

— Et ne s'appelait-il pas alors le capitaine Maxime?

— Oui, Maxime Nekrasa, le descendant des hetmans, répondit le Cosaque d'un ton fier.

— C'est bien, répondit le lieutenant. Que deux hommes sortent des rangs et transportent le blessé dans cette cabane... Suis-moi, vieillard, j'ai à te parler.

Les deux soldats déposèrent leur fardeau sur le grabat de la mesure, puis sortirent en s'inclinant. Alors le lieutenant s'approcha de Semenko :

— Écoute, lui dit-il ; jadis ton maître m'a sauvé la vie, et mon oncle, que Dieu punisse ! ne l'en a point récompensé. Aujourd'hui, il est en danger, et je crois de mon honneur de lui payer ma dette. Il n'est qu'évanoui, il n'est pas mort ; je veux qu'il se sauve et qu'il vive... Il y a là deux chevaux à moi, deux excellentes bêtes. Attache-le sur la croupe de l'un d'eux, grimpe sur l'autre, et allez... où Dieu vous conduira. Si ton maître demande mon nom plus tard, dis-lui que je m'appelle Nicolas Constantinowicz et que je lui devais la vie... Hâte-toi, vieillard ; personne ne t'inquiétera, car je vais emmener ma troupe.

— Que Dieu vous récompense, seigneur ! murmura Semenko palpitant.

Il n'en put dire davantage ; son cœur était gonflé de joie et d'émotion. D'ailleurs l'officier s'éloigna.

Derrière la cabane, en effet, les chevaux étaient attachés, piaffant, rongant leurs mors. En un instant, les préparatifs de Semenko furent achevés ; il lançait sa monture à un galop rapide, et s'éloignait dans l'immensité de la steppe. Et, pendant deux heures, le vieillard, voulant mettre une distance considérable entre les

vainqueurs et lui, éperonna fiévreusement son cheval, jetant de temps à autre un regard triste sur la selle de l'autre coursier, où Maxime, toujours évanoui, était étendu, l'épaule sanglante et la tête penchée.

Enfin, il s'arrêta, se vit seul dans cette grande plaine verte, où le grillon commençait dans l'herbe son hymne de vesprée, où les premiers voiles du soir montaient lentement au ciel. Il jeta les yeux sur son maître, pencha son front, joignit les mains :

« Seigneur, il est blessé, il est mourant, il est proscrit !... Seigneur, où le cacherai-je ? » murmura-t-il, avec un soupir d'angoisse et de découragement.

Puis il leva les yeux au ciel et il y vit briller, bien loin, vers le nord-est, une étoile, la première de toutes, qui venait d'éclorre comme une marguerite d'or sur le grand champ bleu du ciel. Il fit un mouvement, se frappa le front et reprit d'un air plus joyeux :

« Ah !... ce sera là-bas... du côté où brille cette étoile !... A Medówka, où on le connaît, on l'aime ; où la demoiselle Sophie m'a parlé de lui avec une voix si caressante et des regards si doux. A Medówka, il sera soigné, caché, guéri... Mon Dieu, je vous remercie de m'avoir envoyé ce souvenir et montré cette étoile... Allons, mes braves bais, en route ! Pour la nuit, je trouverai une cachette à Trura, et je panserai sa blessure... Demain, dans la journée, nous serons à Medówka... Allons, mes bais, en avant ! »

Semenko sourit, se pencha, enfonça les éperons, et les chevaux excités repartirent au galop, traversant le désert du côté où brillait l'étoile.

XXII

UN ASILE.

Oxana, ce jour-là, avait obtenu congé de sa jeune maîtresse. Elle en avait profité pour venir, au village, mettre en ordre la chaumière de son père Hrehory. Après avoir préparé un bon déjeuner au vieillard, mis en ordre son bahut et son lit, elle était sortie pour laver son linge et ses vêtements au lac bleu qui s'ouvre dans la steppe. Elle marchait rêveuse, les yeux baissés, cherchant du regard dans l'herbe, par un secret instinct du cœur, le trèfle à quatre feuilles, rare et mystérieux, qui promet le bonheur à celle qui le trouve. Et parfois elle s'arrêtait, secouait la tête en soupirant, se disant que le bonheur n'était pas fait pour elle, et qu'elle ne verrait jamais, par conséquent, la petite feuille en croix, de fraîche nuance verte, et la petite fleur rose, touffue, poindre dans le gazon à ses pieds.

Elle était encore loin du lac quand un pas se fit entendre près-du sien, et une voix bien connue murmura à son oreille :

— Oxana, bonjour, ma chère. Où allez-vous ainsi seule?

Elle se retourna et vit Harasym, le Cosaque du dwór, son ancien fiancé.

— Je vais au lac laver le linge de mon père, répondit-elle froidement.

— Votre paquet est bien gros, Oxana; trop lourd

assurément pour vos bras de jeune fille. Laissez-moi le porter en cheminant avec vous.

— Je ne puis vous empêcher de marcher à côté de moi, si vous en avez envie, Harasym, répondit la jeune fille d'un air contrarié. Mais quant à vous donner mon paquet, je vous remercie; assurément, j'ai assez de force pour porter mon fardeau moi seule.

— Oui, et pas celui-là seulement, n'est-ce pas, méchante fille? reprit le jeune Cosaque un peu tristement. Ah! Oxana, il n'en a pas toujours été ainsi... Autrefois, vous auriez bien voulu me donner la moitié de vos joies, de vos espoirs et de vos peines... Mais ces jours-là sont loin, ceux d'à présent ne leur ressemblent plus. Et ce n'est pas moi qui ai changé, hélas! vous le savez bien.

— Oui, assurément, j'ai changé, reprit-elle. Mon cœur, un jour, a vu qu'il s'était trompé, parce qu'il ne veut pas de maître ni de chaînes... Harasym, croyez-moi, ce n'est pas pour vous faire offense que je vous parle ainsi..... C'est pour vous dire seulement que celle qui n'est pas plus gaie que moi ne doit pas penser à se marier, parce qu'il faut beaucoup d'amitié et un peu de gaieté dans un ménage.

— Et vous ne pouvez pas avoir d'amitié pour moi, Oxana?..... La gaieté viendrait ensuite... Ah! je vois ce que c'est : la demoiselle vous a gâtée, vous êtes devenue fière. Un pauvre paysan comme moi ne vous suffit plus... Vous voudriez épouser un fabricant, ou tout au moins un économe.

— Ni l'un ni l'autre, répondit Oxana en secouant la

tête avec une mélancolique gravité. Je ne pense pas au mariage, Harasym, et, pour vous dire toute la vérité, — ce que vous méritez bien, car vous êtes mon plus ancien ami, — je vous avouerai franchement que, si demain mon père venait à mourir et que mademoiselle vint à se marier, je ne resterais pas longtemps ici. J'entrerais, avec la permission de madame, chez les sœurs de l'hôpital de Kiew, qui soignent les malades... Et ce choix-là, sûrement, ne vous ferait pas ombrage, Harasym ; car, en vérité, vous ne pouvez pas être jaloux du bon Dieu..... Mais voici le petit sentier du lac, et vous allez d'un autre côté. Il vaut mieux nous quitter ici ; à quoi bon rester ensemble plus longtemps, quand on n'a rien de consolant à se dire ?

Le jeune homme secoua la tête en signe d'assentiment, poussa un soupir et s'éloigna. Oxana s'engagea alors dans l'étroit sentier du lac, marchant jusqu'aux genoux dans les grandes herbes humides de rosée.

Cette nappe d'eau, claire et bleue, que la steppe entourait de son tapis verdoyant, était toujours calme, limpide, reposée. Aussi loin que le regard pouvait s'étendre, il n'apercevait nul mouvement dans les herbes, nulle ride sur les eaux.

Oxana marcha jusqu'au rivage ; là, elle déposa son fardeau, s'agenouilla dans l'herbe. Elle écouta le clapotement des flots, qu'elle agitait sans pouvoir les troubler, et vit monter du fond, comme des perles d'argent, les petites bulles d'air qui venaient se briser à la surface. Puis, rêvant toujours, elle releva la tête et jeta un regard sur l'étendue du lac.

Vers le milieu de ce bassin croissait une touffe épaisse d'une espèce de joncs à fleurs roses, bouquet fleuri posé sur ce mouvant miroir. Quelques libellules volaient autour, et même, de la rive opposée, Oxana vit un papillon bleu prendre son vol pour l'atteindre. Il avait longtemps voleté parmi les plantes du rivage, s'arrêtant à peine ici et là pour laisser reposer ses ailes. Soudain, il sembla apercevoir la touffe de fleurs roses et parfumées, et, d'une aile rapide, s'élança au-dessus du lac.

Mais, tandis qu'il rasait dans son vol la belle nappe argentée, un coup de vent s'éleva et entraîna le papillon. Il essaya en vain de lutter de ses petites ailes tremblantes ; le vent fut plus fort que lui : il tomba, ses ailes se mouillèrent, et il disparut sous l'eau, bien loin de la touffe de joncs.

« Pauvre petit papillon bleu ! murmura Oxana, pauvre image de ma vie !..... Moi aussi, je ne me suis pas contentée de ce qui était doux, fleuri autour de moi ; j'ai rêvé autre chose, j'ai regardé ailleurs... Et je puis dire adieu, comme lui, à ma jeunesse et à ma vie, car, pour moi aussi, la fleur était trop loin. »

Elle secoua la tête tristement, reprit sa tâche commencée. Bientôt un bruit de roues, grinçant non loin d'elle, attira son attention.

Ce n'était point par ce chemin, étroit, désert et difficile, que s'en venaient d'ordinaire les chariots des paysans et les calèches des seigneurs. Aussi Oxana, en entendant une voiture s'avancer dans cette direction, releva-t-elle la tête avec surprise.

C'était une simple *bryczka* qui apparaissait sur la

route. Mais, contrairement à l'usage, elle était recouverte d'une toile grise soutenue par des cerceaux, et traînée par deux magnifiques chevaux bruns qui n'eussent point déparé un brillant équipage.

La jeune fille remarqua, au premier coup d'œil, ce singulier contraste ; aussi elle déposa son linge sur l'herbe et se releva pour mieux voir. Alors elle aperçut sur le siège un Cosaque de haute taille, à longues moustaches grises, à cheveux blancs, qui faisait claquer son fouet. Elle le considéra attentivement et crut le reconnaître.

— N'est-ce pas vous, Semenko, le serviteur du seigneur Nekrasa ? lui dit-elle en s'avançant, sentant son cœur battre bien fort et rougissant malgré elle.

— Oui, ma fille. Et toi, qui es-tu ?... Ah ! vraiment, c'est Oxana, la fille de chambre de M^{lle} Sophie !... En vérité, c'est le ciel qui t'amène : tu peux me rendre un grand service ? Saurais-tu garder un secret ?

— Mon père est Cosaque comme vous, et mon père me l'a appris, répondit Oxana, en relevant la tête avec un mouvement plein de noblesse.

— C'est bien, alors, ma fille ; tu vas aller au dwór et tu diras... mais à personne autre, entends-tu, qu'à M. Madejski, ou à madame, ou à M^{lle} Sophie... tu diras que le vieux Semenko conduit, dans une méchante carriole, son maître, qui vient d'être blessé dans... un duel, et qui a grand besoin qu'on le soigne, si on ne veut pas le laisser mourir... Et tu ajouteras que le vieux Semenko s'est souvenu de l'amitié des bons seigneurs, et pense qu'ils ne refuseront pas un lit et des soins à

son maître... Entends-tu bien, ma fille? voici ce que tu diras.

— Il... est... blessé? murmura Oxana chancelante, jetant autour d'elle un regard de stupeur et n'entendant qu'à moitié les paroles du Cosaque.

Puis elle s'avança vers la carriole arrêtée et appuya sa main sur un des brancards, en murmurant :

— Semenko, Semenko, voulez-vous bien que je le voie?

— A quoi cela te servira-t-il? répondit le vieillard avec un brusque haussement d'épaules. Il ne te verra pas, lui, car, depuis hier au soir, il a la fièvre et le délire... Mais, après tout, il faut bien contenter un peu la curiosité des jeunes filles; et d'ailleurs, quand tu diras là-bas ce que tu auras vu, ils auront sans doute plus de pitié de lui au dwór.

En disant ces mots, il leva le pan de toile qui cachait l'intérieur de la voiture. Oxana se haussa sur le marchepied du chariot, et, dans l'ombre, chercha des yeux le blessé.

Il était étendu sur une épaisse couche de paille, l'épaule et le bras enveloppés de linges sanglants, les joues pâles, les yeux brillants, tout grands ouverts, mais fixes. Il y avait sur son visage plus que l'expression de la souffrance, il y avait aussi celle du désespoir. On voyait que le dernier sentiment de Maxime avait été celui de la honte, de l'humiliation de la défaite, et que cette torture le poursuivait encore au milieu des angoisses de sa blessure et de ses songes douloureux.

— Oh ! c'est assez... je l'ai vu !... s'écria Oxana, en mettant sa main sur ses yeux et laissant retomber le voile. Semenko, je vais courir au dwór ; j'y serai avant vous ; j'irai vite, bien vite !

Elle s'élança à terre ; le vieillard la vit s'éloigner, courant aussi rapidement que le lui permettaient ses forces. Alors il mit ses chevaux au pas et s'avança sur le chemin.

Oxana n'avait pas encore atteint la grille lorsqu'elle vit sortir de la cour Alexis Madejski. Le jeune homme s'en allait aux champs surveiller les laboureurs occupés à la fenaison. Son visage exprima un profond étonnement lorsqu'il vit Oxana s'élançer vers lui, le front pâle, les mains tendues.

— Qu'as-tu, ma fille ? lui cria-t-il, en arrêtant son cheval. Serait-il arrivé malheur à ton père ?

— Oh ! non, pas à lui, seigneur, s'écria la jeune fille, étouffant ses sanglots ; mais à un de vos amis, bien dévoué, bien cher.... au seigneur Nekrasa, qui est blessé, mourant.

— Un malheur à Maxime !... Comment donc le sais-tu ?... Mais j'y songe, continua Alexis, il y a des mouvements de troupes dans notre gouvernement. On parle d'un soulèvement de Cosaques... As-tu vu Maxime, Oxana?... Pourrais-tu me dire où il est ?

— Il n'est pas loin d'ici, seigneur. Semenko, son vieux serviteur, l'amène et va vous demander pour lui un abri... car lui-même ne peut plus parler... Venez vite, oh ! venez, seigneur, je vous en prie !... S'il mourait sur la grande route, faute d'avoir trouvé un ami !

Cela serait affreux, n'est-ce pas? et, devant Dieu, on s'accuserait de ce malheur comme d'un crime.

Alexis jeta sur la jeune fille un regard où l'étonnement se mêlait à la pitié; puis il dit d'une voix émue :

— Tranquillise-toi, Oxana, ce sera l'affaire d'un instant. Mon père, que je vais prévenir, ne refusera pas, sois-en sûre, un abri à notre ancien ami, notre pauvre Maxime.

En parlant ainsi, il remit la bride de son cheval aux mains de la jeune fille et rentra dans la maison.

Il raconta à son père, qu'il trouva dans son bureau, tout ce qu'il avait pu savoir d'après les paroles incohérentes d'Oxana. Maxime était blessé et fugitif, sans qu'on en connût la raison, et il avait besoin de soins et d'un asile.

— Il me semble, mon ami, que nous allons nous trouver mêlés à une affaire grave, répondit M. Madejski d'un air soucieux. J'ai reçu, sans vous l'avoir appris, des détails sur le soulèvement des Cosaques. On s'est battu près de K... et dans la ville même : c'est là sans doute que Maxime a été blessé..... Tout n'est pas fini, du reste; il y a encore des communes qui s'arment et se rassemblent, mais tu sais aussi bien que moi à quoi aboutiront ces efforts... On va rechercher et punir les chefs du complot, et non seulement eux, mais ceux aussi qui leur auront donné secours et asile... Et, ce qui m'afflige encore plus que tout cela, mon fils, c'est l'idée de rapprocher Maxime encore une fois de notre pauvre Sophie.

— Certainement, tout ceci est à considérer, répondit

Alexis, qui pâlisait visiblement. Mais nous ne pouvons pas cependant laisser mourir notre ami, mon sauveur, à notre porte.

— Non, assurément, mon fils, et pas plus que toi je n'y ai pensé un seul instant. Seulement je t'ai dit ceci pour te montrer que cette démarche de notre part peut attirer sur nous de graves conséquences, et que nous devons y être préparés... Mais faisons toujours ce qui est juste et bon, et nous pourrons nous résigner ensuite. Je vais faire apprêter une chambre et appeler le docteur ; toi, va chercher ton ami.

Alexis baisa avec joie la main de son père et s'élança sur la route.

— Où sont-ils ? cria-t-il à Oxana !

— Sur le vieux chemin, auprès du lac.

Le jeune homme partit au galop, et Oxana le suivit des yeux, en joignant les mains.

« Je vais le voir, peut-être le soigner, murmurait-elle. Mon Dieu, je vous remercie !... Si je pouvais le payer de ce qu'il a fait pour moi, me dévouer pour lui quelque jour ! »

Elle entra alors dans la maison, et voulut avertir sa maîtresse de la prochaine arrivée du jeune blessé ; mais M. Madejski venait de faire appeler près de lui sa femme et sa fille.

Une heure plus tard, Maxime était installé à Medówka. Dix jours entiers il y lutta contre le mal, contre le délire. Pourtant, au milieu de ses souffrances, sa vigoureuse nature le soutenait. Puis il y avait autour de lui beaucoup de soins assidus, d'amitié forte et gé-

néreuse. Alexis et son père se partageaient les veilles. Semenko ne quittait pas son maître et semblait avoir retrouvé pour lui la vigueur de ses jeunes ans. M^{me} Madejska avait pour le jeune blessé les tendres prévenances d'une mère.

Parfois aussi, mais rarement, Sophie et Oxana pénétraient dans la chambre du malade. Elles s'avançaient légèrement, sur la pointe des pieds, tâchant d'imposer silence à leur cœur; elles regardaient avec des larmes dans les yeux cette belle tête pâle et amaigrie, cette main mutilée si vaillante autrefois. Ah! combien elles auraient donné, l'une et l'autre, pour pouvoir rester près de lui, rafraîchir son front brûlant, présenter le verre à ses lèvres desséchées, mesurer la lumière et l'ombre à ses yeux alourdis par la fièvre, et le regarder dormir! Elles ne se seraient pas trahies, puisqu'il ne reconnaissait personne... Mais c'était là un rêve qui ne pouvait se réaliser.

Un jour vint enfin, pour le jeune malade, où le délire cessa, la fièvre disparut, où il put, pour la première fois depuis quinze jours, tendre la main à son vieux Semenko, assis auprès de lui, en lui disant :

— Où suis-je ?

— A Medówka, répondit le brave serviteur, croyant, par cette réponse, causer une notable joie à son maître.

Mais le vieillard vit sur-le-champ qu'il s'était grandement trompé. Le visage pâle du blessé devint plus pâle encore, son regard se voila, ses lèvres se contractèrent dans un amer sourire, et il murmura en secouant sa tête brûlante sur l'oreiller :

« Trop tard !... Oh ! pourquoi ne suis-je pas mort là-bas, avec les miens ? »

Oui, en effet, pourquoi n'était-il pas mort, ce pauvre Maxime ? Son beau rêve de liberté était éteint, ses soldats vaincus, ses projets anéantis, son sang versé en vain. Les derniers Balagoules, les vaillants compagnons de Nekrasa, étaient tombés presque tous dans le massacre de la ville ; quelques-uns étaient prisonniers ; deux ou trois à peine avaient pu fuir. Et qu'était devenu le chef suprême du soulèvement ?... Les bruits les plus contradictoires circulaient au sujet du destin de Maxime. Les uns affirmaient que les Russes l'avaient emmené prisonnier, demi-mort ; d'autres disaient qu'il s'était noyé dans le Rycz, en cherchant à s'enfuir. De façon ou d'autre, il était donc perdu pour la liberté, pour la patrie.

Aussi ces pauvres paysans insurgés se disaient tristement qu'ils n'avaient plus de secours à attendre de Dieu dans le ciel, ni de pardon des hommes sur la terre. Aussi, les uns après les autres, faibles, découragés, laissant tomber leurs bras, ils quittaient leurs campements, jetaient leurs armes et se dispersaient dans la steppe, jusqu'à ce que les régiments russes, qui les suivaient de près, les emmenassent prisonniers, garrottés, muets, inertes, comme de grands troupeaux captifs.

Ils allaient ainsi jusqu'au chef-lieu du district, et là commençait l'enquête. Les exécuteurs préparaient leurs verges, leur knout et leurs cordes à nœuds ; l'arrêt était promptement prononcé, et les misérables rebelles, ame-

nés et punis par centaines, s'en allaient au supplice avec une résignation obstinée, eux qui avaient manqué de force et d'ardeur pour le combat.

XXIII

HOTE ET PÈRE.

Cependant, quoique le mal de l'âme fût, chez le jeune vaincu, incurable et désespéré, la convalescence du corps fit des progrès rapides. Bientôt Maxime se trouva en état de descendre au jardin. C'était en s'appuyant au bras de Semenko qu'il y parvenait d'ordinaire, et le vieux serviteur ne l'y laissait jamais seul. Parfois aussi Oxana y venait, comme si elle se fût sentie plus rassurée, moins timide en plein air, sous ces grands arbres et ce beau soleil rayonnant. Elle apportait un oreiller ou un tabouret pour le jeune malade, ou étendait un morceau de toile sur les branches des lilas, pour que le soleil ne l'éblouît point, ou bien, à la demande de Semenko, chantait quelques *dumki* d'Ukraine, poétiques, plaintives. La voix d'Oxana était faible et douce, et elle accompagnait ses chansons d'un regard triste de ses yeux, autrefois si fiers et si brillants.

Maxime se rappelait alors les jours de son enfance, où il errait dans ce même jardin, dans ces champs verts, avec une autre petite compagne. Alors c'était Sophie qui lui racontait des légendes, qui lui chantait des ballades, et qui, pour qu'il s'endormît à l'ombre, étendait son tablier aux branches des buissons... Main-

tenant, Sophie ne paraissait plus, et Maxime n'en parlait pas : on eût dit qu'il l'avait oubliée. Pourtant, dans des cœurs tels que le sien, l'amour ne meurt pas ; mais la fierté est la plus forte.

Tous ceux qui, à Medówka, entouraient le jeune vaincu, devinaient les angoisses, les regrets qui tourmentaient son esprit et son cœur ; aussi s'efforçaient-ils de le distraire constamment, de le laisser seul le moins possible. M. Madejski agissait ainsi par charité ; Alexis, par amitié ; Semenko, par dévouement ; Oxana, par tendresse. Il y avait pourtant des moments où Maxime se trouvait seul.

Alors, le malheureux ! lui qui avait tant rêvé et qui, désormais, n'aurait plus de rêves, il se plongeait tout entier dans l'amertume des souvenirs. Il approchait à dessein de ses lèvres la coupe du passé, après en avoir longuement remué la lie. Il avait entendu dire que, parfois, la douleur tue, et il s'étonnait que tant de douleur ne le fit pas mourir.

Un matin, il se trouva ainsi seul au jardin, marchant lentement, péniblement, sous un berceau de houblon qui lui faisait de l'ombre. Il s'arrêta devant deux grands rosiers qui croissaient en mêlant leurs fleurs. C'étaient Sophie et lui qui, jadis, les avaient plantés, frêles rejets alors, maintenant arbustes élégants, vigoureux, montant jusqu'aux premières branches des grands arbres.

L'un était blanc, l'autre rouge, et ils avaient uni leurs rameaux et leurs fleurs en grandissant. Maxime se rappelait mille petits détails de cette heureuse journée :

la robe que Sophie portait ce jour-là, les paroles qu'elle avait dites, l'arrosoir peint en vert qu'elle allait remplir au puits, et leur joie à tous deux, un an plus tard, lorsque les jeunes plantes avaient montré leurs premiers boutons, et leurs projets, leur babil, leurs espérances.

« Oh ! oui, je pouvais espérer alors, se dit-il, et celui qui espère est heureux. »

Mais que lui restait-il maintenant?..... Rien..., ni espoir, ni amour, ni soldats, ni patrie..... L'amour lui avait souri un moment, et puis s'était envolé, emportant l'espoir sur ses ailes; ses compagnons étaient morts ou dispersés, sa patrie esclave, encore plus douloureusement esclave qu'elle ne l'était auparavant. Il n'avait semé sur ses pas que des ruines; lui seul était resté debout; mais n'était-il pas une ruine aussi?..... Maxime sentit tout cela, et se dit qu'il n'avait plus à souhaiter qu'un linceul. Le froid de la tombe et le repos de la mort lui semblaient cent fois plus précieux, plus doux que l'éclat de ce beau ciel, le parfum de ces roses.

Il se tortura ainsi longtemps, oubliant l'heure, immobile, muet, concentré en lui-même, sourd à tous les bruits, insensible à toutes les impressions du dehors.

Pourtant, au loin, sur la route de Kiew, retentissait le bruit argentin d'une sonnette, et Maxime eût tressailli peut-être s'il l'avait entendue, comme, sous leurs toits, à leurs foyers, tressaillent tous ses compatriotes, lorsque cette sonnette fatale vient réveiller les échos de leur maison.

C'est que le tintement de cette sonnette, trop souvent entendue, hélas ! est lugubre et de mauvais augure ; il parle, dans ses notes stridentes et grêles, de séparation, de tortures, de supplices ou de cachots. Le chef de police du district la porte attachée à sa voiture en été, à son traîneau en hiver, et, de loin, elle avertit qu'il va chercher des coupables. Aussi les accusés brûlent leurs papiers et se préparent au martyre ; les suspects prennent la fuite ou chargent leurs pistolets ; les mères serrent leurs fils dans leurs bras et font une douloureuse prière. Tous ceux qui l'entendent de loin pâlisent et tremblent ; mais nous ne savons pas si Maxime eût tremblé, car il ne l'entendait pas.

Le bruit argentin de la sonnette devenait à chaque instant plus proche. Il cessa tout à fait lorsque la voiture du *sprawnik* se fut arrêtée devant la porte du *dwór* de Medówka... Un quart d'heure se passa encore ; Maxime, toujours rêveur et triste, contemplait les deux rosiers.

Soudain, des pas précipités firent crier auprès de lui le sable de l'allée. C'était Oxana qui accourait, suivie de Semenko. Les yeux du vieux [serviteur semblaient lancer des éclairs ; ceux de la jeune fille étaient égarés, et ses joues d'une pâleur affreuse.

— Seigneur, seigneur, ô bon Jésus ! criait-elle en s'approchant, à quelle mauvaise heure nous sommes ! Le *sprawnik* vient d'arriver ; il a l'ordre de chercher par toute la maison... Cachez-vous, cachez-vous, je vous en supplie !

— Où pourrais-je me cacher?... Je vais aller me

livrer au sprawnik, ce sera bien plus prompt, plus sage, répondit Maxime avec une expression amère.

— Oh ! non, seigneur, par pitié !... C'est M. Alexis qui vous conjure de ne pas vous montrer, de me suivre dans un endroit où l'on ne pourra pas vous prendre... Il dit que, si vous étiez arrêté ici, le gouvernement poursuivrait certainement son père. C'est donc pour eux, pour vos hôtes, que vous vous cacherez... Je vous en prie, seigneur, suivez-moi.

— Oh ! oui, maître, suivez le conseil du seigneur Alexis, dit le vieux serviteur à son tour. La maison et le jardin vont être cernés ; personne ne viendra vous secourir, et quand bien même votre vieux Semenko se ferait tuer pour vous défendre, cela n'empêcherait pas ces Russes de vous emmener, de se venger sur vous. Il y a eu des hetmans martyrs ; mais il n'y a jamais eu d'hetmans prisonniers... Mon maître, sauvez-vous... par respect pour vos ancêtres !

— Où irai-je ? demanda Maxime en tendant la main au vieillard.

— Seigneur, venez avec moi, dit Oxana toute joyeuse. Je vais vous montrer une bonne cachette que m'a recommandée M. Alexis.

Alors Nekrasa, sans répondre, s'appuya au bras du vieillard, et tous trois s'éloignèrent, aussi vite que pouvait le permettre la faiblesse du convalescent. Ils arrivèrent bientôt à l'extrémité du jardin.

Là, sur la limite des champs, s'élevaient de hautes granges. La fenaison de juin venait de les remplir, et les bottes de foin, qui s'y dressaient en piles, atteignant

le plafond, y répandaient une odeur à la fois fraîche et enivrante.

— Ici, quelque part, se trouve cachée une échelle, dit Oxana, se glissant légèrement entre les deux hautes murailles de foin encore vert. Vous monterez, seigneur, jusqu'au faite de cette pile, et vous tirerez après vous l'échelle, que vous cacherez dans le foin. Quand vous serez là-haut, vous verrez, au plafond, une trappe donnant dans un grenier très bas qui s'étend sous le toit. Vous y entrerez, et rien ne paraîtra quand la trappe sera refermée, car elle est recouverte de plâtre comme le reste du plafond.

Et Oxana, en parlant ainsi, avait déjà trouvé, dressé l'échelle. Puis elle se retourna vers Maxime, le regardant pour l'engager à y monter.

Mais le jeune homme secoua la tête en soupirant et se détourna, faisant un pas pour sortir de la grange.

— Je ne me cacherai point ici, dit-il. Croyez-moi, Oxana, les Russes fouilleront partout, ils visiteront les granges, les greniers à fourrage... Et je ne veux pas qu'ils me trouvent dans cette retraite honteuse, niché comme un loir en une meule de foin... Tout à l'heure, vous m'avez parlé de fuir et je m'y étais résigné. Mais c'est que je comptais sur une fuite au grand jour, accompagnée de quelques dangers peut-être. A cette retraite-là, je suis encore résolu. Mais, je vous le répète, plutôt que de m'enfouir ici, j'aime mieux me livrer aux Russes !

— Mon maître ! intercéda Semenko d'un ton suppliant.

— Non, pauvre ami, c'est inutile ; tu ne peux pas me conseiller de couvrir de honte, de ridicule, le nom que m'ont laissé mes aïeux.

Semenko se tut à son tour et croisa énergiquement ses bras sur sa poitrine, mordant sa vieille moustache à poils gris.

Mais la jeune fille, qui avait été d'abord douloureusement frappée, parut se ranimer tout à coup.

— Seigneur, dit-elle, en se rapprochant de Maxime et élevant vers lui ses mains jointes et ses beaux yeux, vous m'avez sauvée autrefois ; il faut qu'à mon tour je vous sauve... Venez avec moi, et venez aussi, Semenko. Je sais où vous pourrez m'attendre là-bas, en lieu sûr, dans les champs, jusqu'à ce que j'aie été chercher pour vous deux des meilleurs chevaux qui paissent dans la prairie.

Alors, pour la première fois, elle osa prendre la main de Maxime et, suivant avec ses deux compagnons les haies autour du jardin, elle se dirigea vers la cabane de son père, l'une des premières du village.

Alexis, pendant ce temps, avait reçu le sprawnik et ses hommes dans la grande salle du dwór de Medówka.

Le chef de la police lui déclara qu'il avait l'ordre de faire fouiller toute la maison par ses hommes, attendu que le dwór de Medówka renfermait un blessé.

— Il y a eu, en effet, chez nous, un de nos parents qui avait reçu, par accident, un coup de feu à la chasse, dit le jeune homme froidement. Mais il n'est plus ici : il nous a quittés dès le début de sa convalescence... Et

tout ce que je puis vous demander, messieurs, c'est de vouloir bien faire vos perquisitions sans trop de bruit et de désordre. Ma mère est malade et ma sœur a éprouvé une vive émotion en vous voyant arriver.

— Il n'y a que les coupables qui tremblent, fit observer le sprawnik sentencieusement. Et votre père, jeune homme?... Est-il aussi allé à la chasse avec monsieur votre parent ?

— Mon père est aux champs, occupé à surveiller ses laboureurs. Je vais, si vous le désirez, l'envoyer chercher; dans une demi-heure il sera ici.

— Certes, nous avons besoin de lui, repartit le chef de la police. Il se peut fort bien que, lui et vous, vous vous trouviez mêlés à quelque vilaine affaire. Et je n'ai pas besoin de vous dire, jeune homme, que le parti le plus prudent consiste à se présenter de bonne grâce, et à ne pas paraître redouter l'instruction.

Alexis s'éloigna sans répondre, et envoya un messenger à son père. Puis il rentra et s'assit dans la salle, pâle, mais calme et résigné, remettant son sort, à lui, aux mains de la Providence, et ne lui demandant que la sécurité de ses parents, le salut de son ami.

Depuis une demi-heure, la perquisition avait commencé, et, jusqu'à ce moment, tout se passait avec assez d'ordre, sans cris et sans menaces, lorsque le sprawnik lui-même reparut au salon, tenant à la main plusieurs objets qu'il présenta à Alexis.

— Vous connaissez ceci sans doute, monsieur, dit-il. Ces choses appartenaient à monsieur *votre parent*, et faisaient partie probablement de son équipage de chasse.

Et, avec un gros rire satisfait et moqueur, il jeta sur la table la toque à aigrette de héron que Maxime avait portée le jour du combat, et qu'on avait vue briller dans les rangs des rebelles ; puis quelques papiers trouvés dans un portefeuille et contenant des essais de proclamations, un tableau des communes insurgées et une liste de noms, dans laquelle Maxime avait compris tous ceux de ses amis sur lesquels il croyait pouvoir compter. Celui d'Alexis, qui s'y trouvait porté, ne pouvait échapper aux regards du fonctionnaire.

— Il paraît, monsieur, lui dit ce dernier, que votre *parent* vous honore d'une estime toute particulière, puisqu'il a placé ici votre nom à côté de ceux de M. Wol-demar Matejko, tué, il y a trois semaines, à l'attaque de K..., et de Xavier Roguski, le fameux rebelle, que nous tenons en ce moment dans les prisons de Kiew. Pouvez-vous me dire ce que cette grande pancarte signifie ? C'était probablement une liste d'invitations... d'invitations à quoi?... Sans doute, vous me l'avez dit, à une partie de chasse ?

— Monsieur, répondit tranquillement Alexis, je ne puis connaître les intentions de celui qui a dressé cette liste. Et chacun, après tout, est parfaitement libre d'inscrire son nom, en compagnie de plusieurs autres, sur une feuille de papier.

— A merveille, jeune homme, et ceci ne vous compromettrait nullement si « celui qui a dressé cette liste » n'était le célèbre agitateur Maxime Nekrasa, qui, il y a un mois environ, a poussé à la révolte plusieurs villages cosaques et a disparu ensuite, sans qu'il nous fût

possible de le trouver... Ne prenez pas la peine de nier, monsieur ; nous connaissons son écriture : on a trouvé des lettres de lui sur plusieurs de ses amis, morts au combat de K... Et certes, dans le cas présent, l'attention qu'il a paru vous accorder ne tournera pas à votre avantage.

— Monsieur, dit Alexis, je n'ai nullement l'intention de nier une chose vraie. Maxime Nekrasa est un ancien ami de ma famille ; à ce titre, il a pu inscrire mon nom sur ces papiers ; à ce titre encore, il a pu recevoir de moi les soins et l'abri dont il avait besoin, et que la charité seule m'eût ordonné de lui prodiguer... Mais, je vous le répète, il n'est pas ici ; il s'est éloigné, et j'ignore ce qu'il est devenu.

— Il n'est pas ici, c'est possible, grommela le fonctionnaire, c'est-à-dire pas peut-être dans cette maison. Mais il y était, certainement, il y a une ou deux heures... On ne se moque pas de moi, jeune homme ; que diable, je ne sers pas pour rien depuis vingt ans, dans la police de Sa Majesté. Dans la pièce où nous avons saisi ces papiers, nous avons trouvé les pantoufles encore au pied du lit, l'essuie-mains encore humide, une plume mouillée d'encre récente, et, sur la cheminée, un cigare mal éteint. Or, vous-même n'habitez pas cette partie de la maison, et vos dignes serviteurs m'ont affirmé que cette chambre n'était occupée par personne... Évidemment, l'oiseau a quitté son nid en nous voyant venir ; mais il ne peut voler bien haut, car il a du plomb dans l'aile, et nous le trouverons aisément perché sur quelque branche... En attendant, monsieur, je vous

déclare que, comme faisant partie d'un complot et ayant donné des soins et un asile à un rebelle, vous êtes mon prisonnier, et vous me suivrez à Kiew.

— C'est bien, monsieur, répliqua Alexis froidement. Je n'attendais pas moins de votre générosité et de votre justice.

Deux agents de police furent aussitôt placés, l'un à la porte, l'autre sous les fenêtres de la salle, et le sprawnik s'éloigna pour continuer les perquisitions. Mais dès lors la recherche du fugitif devint furieuse, acharnée. Cet acte de justice était devenu une chasse à l'homme, une battue dans tous les coins et recoins de la maison. Les meubles furent renversés, les armoires ouvertes, les chambres fouillées jusque dans leurs recoins les plus secrets. M^{me} Madejska, alors malade, dut quitter son lit, s'habiller à la hâte, et, soutenue par sa fille en pleurs, aller s'asseoir dans la salle où Alexis était gardé à vue. Les serviteurs, effrayés, se rassemblaient, parlant tout bas; quelques jeunes filles fondaient en larmes; ce n'était plus, dans le dwór de Medówka si paisible et si riant d'ordinaire, que plaintes, imprécations, confusion et pleurs.

M. Madejski rentra des champs au milieu de cette scène, à laquelle le message d'Alexis l'avait déjà préparé. Pourtant une sueur froide vint mouiller son visage, lorsque le sprawnik s'avança vers lui en lui disant :

— Monsieur, il nous est prouvé jusqu'à l'évidence que vous avez abrité sous votre toit un grand coupable, et que votre fils a eu des intelligences avec lui... Ne vous étonnez donc pas que nous emmenions l'un,

puisqu'il nous ne pouvons pas trouver l'autre. Ou voyez si votre tendresse de père ne vous décidera pas à vous relâcher un peu de l'austérité de vos devoirs d'ami. Monsieur votre fils se trouve compromis, assurément; mais je pourrais user envers lui de quelque indulgence si vous nous aidiez à trouver le rebelle Maxime Nekrasa.

M. Madejski pâlit, passa la main sur son front. Il lui eût été bien facile de faire un geste, de dire un mot, d'abandonner le fugitif à la recherche de ses ennemis, et, par cela même, de protéger son toit et sa famille, de conserver son fils, son Alexis, sa plus belle espérance et sa seule fierté. Mais cet acte eût été, aux yeux de l'hôte généreux, du Slave aux traditions antiques, plus qu'une lâcheté, qu'une trahison : c'eût été un sacrilège. Il fallait désormais pratiquer, dans toute son austère grandeur, la religion du sacrifice; M. Madejski n'hésita pas longtemps.

— Vous ferez ce que vous voudrez, monsieur, reprit-il, après un moment de solennel silence. Si vous emmenez mon fils, j'espère qu'il sera trouvé innocent aux yeux de la justice. Mais, quant à M. Nekrasa, je ne puis vous le livrer, car il n'est point ici. Remplissez votre devoir : seulement, si cela vous est possible, abrégez les formalités. Vous voyez combien il en résulte d'inquiétudes et de douleurs pour toute ma famille.

Alexis respira plus à l'aise en entendant ces mots, comme si un grand poids fût tombé de son cœur. Et M. Madejski, lui jetant un regard affectueux et résigné,

alla s'asseoir auprès de sa femme, serrant tendrement ses mains brûlantes de fièvre.

— Mon Alexis, mon fils!... Ils vont l'emmener! murmurait la pauvre mère.

— Ma bonne Thècle, mon amie, ne t'afflige pas ainsi, lui dit son mari, l'entourant de ses bras avec amour. Ce n'est qu'une séparation momentanée... Tu le sais aussi bien que moi, Alexis est innocent. Il nous sera bientôt rendu, après quelques semaines d'instruction peut-être. Moi-même, en 1831, n'ai-je pas été séparé de toi?... J'ai été emmené comme suspect, mis au secret d'abord; pourtant, quatre mois plus tard, tu me recevais dans tes bras... Allons, rassure-toi, ne tremble pas, pauvre mère.

— Oh! Pierre, dans ce temps-là, j'étais jeune; j'avais la force et l'espoir... Aujourd'hui, je suis faible; le cœur me manque et les forces sont usées... O ami, si j'allais mourir en l'absence de mon fils!

— Tais-toi, tais-toi, Thècle chérie! N'y a-t-il pas une bonne, une grande Providence au-dessus de nous? Rappelle ton courage de chrétienne, et confie-toi à la miséricorde de Dieu.

La pauvre femme alors se tut; elle voila son visage de ses doigts amaigris, entre lesquels de grosses larmes tombaient silencieusement, goutte à goutte.

XXIV

LA CATASTROPHE.

Pendant ce temps, le sprawnik et ses hommes, ayant fouillé la maison, continuaient leurs perquisitions dans la ferme, les granges, la cour et les jardins. Quatre ou cinq agents s'étaient même dirigés vers les premières maisons du village, afin de s'enquérir, auprès des paysans, s'ils n'avaient point vu passer le fugitif. Un des premiers qu'ils rencontrèrent fut le vieux Hrehory, le père d'Oxana.

— Dis donc, vieillard, commença un de ces hommes, lui mettant la main au collet, n'as-tu pas vu un jeune homme se cacher? Nous le cherchons, c'est un rebelle. Celui d'entre vous qui l'aidera à s'échapper peut être sûr de son affaire : c'est une bonne corde qui l'attend.

— Certes, messieurs, répondit Hrehory, je n'ai vu personne. Il est vrai que je reviens seulement à ma cabane ; j'étais depuis ce matin à la foire du village d'Orka. Mais entrez, fouillez, si vous en avez envie. Pour moi, je n'ai vu et protégé aucun coupable, je vous le jure devant Dieu.

Les agents ouvrirent la porte et jetèrent un coup d'œil dans l'intérieur du pauvre réduit, d'ailleurs trop petit, trop peu garni de meubles, pour que quelqu'un pût s'y cacher. Ils allaient s'éloigner, lorsque, de l'autre côté de la chaumière, ils entendirent s'élever le refrain

d'une chanson russe, répété par une voix fraîche et sonore.

— Il y a là quelqu'un, dit l'un des agents. Vieillard, sais-tu qui ce peut être ?

— Messieurs, ce doit être ma fille, qui sert la demoiselle du dwór, et vient souvent me visiter... En effet, je reconnais sa voix ; c'est sûrement elle qui chante.

Et le vieillard, passant devant les policiers, fit le tour de sa cabane, et alla ouvrir la porte de son petit enclos.

C'était un modeste potager, très vert et très touffu, qui se terminait par une haute plantation de chanvre. L'unique allée était bordée d'oseille, de persil et de thym ; les plates-bandes de laitues et de carottes s'y étalaient au soleil ; de belles tiges de romarin, de verveine et de pois de senteur y fleurissaient, fournissant une douce nourriture à un essaim d'abeilles, dont la petite ruche se voyait dans un coin.

Tout était frais et souriant dans le jardin du vieillard, surtout la jeune fille qui s'y trouvait, et qui paraissait s'occuper de quelque importante besogne. Elle tournait le dos à la porte du logis, et, tenant en main une légère houe, bêchait avec ardeur un carré de choux, encore jeunes et pommés à demi.

Au bruit que fit la grille de bois en tournant sur ses gonds, elle releva la tête, aperçut les visiteurs, et parut un peu étonnée, mais nullement inquiète.

— Bonjour, père ! cria-t-elle en courant vers les nouveaux venus. Ah ! Seigneur Jésus ! les messieurs de la police ! fit-elle en joignant les mains. Et avec vous,

père?... Vraiment, cela me fait peur. Est-ce qu'il est arrivé quelque malheur au village ?

— Non, fille ; seulement ces messieurs cherchent un fugitif... Mais comment se fait-il que je te trouve ici ? Tu ne quittes pas d'ordinaire ton service si aisément depuis que madame est malade ?

— Elle va un peu mieux aujourd'hui, père, reprit Oxana, toujours souriante, de l'air à la fois le plus naïf et le plus dégagé. Aussi ce matin, dès que M^{lle} Sophie a été habillée, elle m'a dit qu'elle me permettait de venir passer quelques heures avec vous. Et je ne me suis pas fait prier ; vous le savez, papa, quand je puis venir vous voir, je suis toujours si contente !... Mais, lorsque je suis arrivée, j'ai vu que vous étiez sorti. Alors, pour ne pas perdre mon temps, j'ai fait un peu d'ouvrage... Voyez, j'ai rattaché les branches du chèvrefeuille, sarclé les deux planches de carottes... Et maintenant je me suis mise aux choux.

Et, pour joindre l'action aux paroles, Oxana leva sa houe en l'air et la fit retomber sur la terre friable et noire, qui rejaillit sur ses pieds mignons et sur le bas de sa jupe rouge.

Le vieillard ne répondit rien d'abord, et parut un peu étonné. Il se rappelait fort bien avoir laissé, en partant, le chèvrefeuille et les planches de carottes dans le plus parfait état, et il se demandait, par conséquent, ce qu'Oxana avait pu y faire. Mais, mû par cette prudence instinctive qui se développe si merveilleusement chez les opprimés et chez les vieillards, il ne fit aucune observation et se contenta de répondre :

— Tu es une bonne fille et une bonne travailleuse, ma mignonne... Mais laisse là ces choux; ce n'est pas un ouvrage pour toi, mon enfant. Tu vas gâter tes mains, qui doivent rester fines et blanches pour pouvoir faire tes coiffures et tes broderies.

— Oh! père, elles ne se gâteront pas pour si peu... Et cela me fait si grand plaisir de me tenir en plein air, voyant autour de moi les prés, les haies, les arbres, tout près de moi ce chèvrefeuille qui a une si douce odeur! Et puis de travailler, de chanter, avec les abeilles!

— Ainsi, tu travailles ici depuis ce matin, jeune fille, et tu n'as vu passer personne? demanda l'un des agents. C'est que, si tu nous faisais trouver le fugitif, il y aurait pour toi une belle récompense. Dix roubles, au moins, pour t'acheter du corail et des rubans... Si tu le cachais, au contraire — et tu pourrais bien le cacher, car c'est un beau jeune homme, pâle et brun — ce serait un malheur pour toi, ma chère... Les verges et la prison, voilà ce qui t'attendrait.

— Oh! messieurs, croyez-moi, je n'ai caché personne; je suis une honnête fille, répondit Oxana en souriant. Et d'ailleurs, où aurais-je bien pu cacher un fugitif? Est-ce dans la ruche de nos abeilles, dans le cœur de l'un de nos choux ou dans le bahut de mon père?... Mais j'ai vu passer, en effet, il y a environ deux heures, un beau jeune homme brun que je ne connais pas. Il était à cheval et s'en allait vers Bialocerkiew: voilà tout ce que je puis vous dire.

— C'est bien possible, murmura l'un des agents, à

l'oreille de son confrère. Cette fille paraît à la fois fine et innocente; elle dit sans doute la vérité.

— Plus fine qu'innocente, répondit le confrère. Mais après tout, si elle a vu le fugitif, elle ne peut pas, comme elle nous le dit, l'avoir caché dans ses poches... Allons visiter les autres cabanes; nous ferons mieux que de perdre notre temps ici.

Les agents sortirent du jardin, se dirigeant vers les chaumières voisines, et bientôt quelques cris d'enfants, quelques exclamations de femmes effrayées, apprirent à Oxana, restée dans le jardin, qu'ils continuaient leurs recherches de ce côté.

Alors le sourire s'effaça des lèvres de la jeune fille; elle laissa tomber sa houe, et courut vers les hautes tiges de chanvre qui se dressaient à l'extrémité du jardin.

La chènevière était si serrée, si luxuriante, si touffue, qu'on n'eût jamais pu croire qu'elle eût donné asile à un fugitif, car il n'y paraissait pas une feuille froissée, pas une tige couchée à terre. Mais le jeune homme y était entré par l'autre extrémité du champ, qui donnait sur la plaine. Maintenant, Oxana, délivrée de ses craintes, allait le rejoindre par le plus court chemin. Un secret instinct l'avait avertie qu'elle pouvait avoir à redouter la visite de la police, et jusqu'alors elle n'avait pu se résoudre à s'éloigner de la retraite du proscrit, le surveillant en quelque sorte, le protégeant par sa présence, bêchant ses choux, souriant, chantant avec gaieté, tandis que son cœur battait à se briser au fond de sa poitrine.

Mais, à présent, le danger était passé : l'heure de la délivrance était venue. Maxime serait sauvé, sauvé par elle!... Oh! comme Oxana était joyeuse en pénétrant dans le fourré!

Cependant elle n'oublia rien de sa prudence ordinaire. Elle se glissa légèrement, se faisant mince et petite, et disparut bientôt derrière les hautes tiges, à travers lesquelles sa petite main se montra un instant encore, rapprochant les feuilles, redressant les branches courbées. Puis, lorsqu'elle ne craignit plus de laisser de traces derrière elle, elle courut vite, légèrement, et arriva bientôt à l'endroit où, au plus épais des tiges de chanvre vert, se tenaient Semenko et Maxime.

— Les agents sont venus, ils m'ont interrogée; dit-elle précipitamment. Mais ils ne se sont doutés de rien, ils sont partis... Vous le voyez bien, seigneur, Dieu vous protège.

— Oui, et toi aussi, Oxana, bonne et courageuse amie, dit Maxime, en serrant avec affection la petite main qui s'était tendue vers lui. Nous les avons bien entendus, et t'avons entendue, toi aussi, chanter, rire et leur répondre, quand, écoutant leurs menaces, tu devais avoir à peine la force de ne pas trembler.

— Oh! la force vient toujours quand on en a besoin, répondit-elle, encore souriante. Mais, seigneur, c'est à présent le moment de partir. Il n'y a point de policiers du côté de la campagne. Je vais aller chercher des chevaux dans le champ voisin, tout près d'ici... Vous sortirez dès que vous m'entendrez chanter la *dumka* de la *Jeune Fille et l'Alouette*.

Elle disparut, en disant ces mots, dans les rameaux de chanvre vert. Dix minutes plus tard, les deux fugitifs, attirés par son gai refrain, sortaient vivement du fourré et se trouvaient au bord du champ, presque en rase campagne. Oxana y était déjà, et elle retenait auprès d'elle un cheval qu'elle avait attaché en lui passant une corde au cou.

— Comment faire, seigneur? dit-elle, d'un air humble et triste. Je n'ai pu saisir que ce cheval, les autres se sont enfuis loin de moi. Il va vous falloir partir seul, et pourtant vous êtes si faible! Il est vrai qu'une fois la police disparue, Semenko pourra vous suivre et vous aura bientôt rejoint.

— Oh! oui, maître, partez; bientôt je serai près de vous. C'est dans les marais de Trzanki que vous trouverez votre retraite.

— Oui; il y a là une hutte de pêcheur, et le vieux Jérôme, qui l'habite, m'est, comme toi, tout dévoué... Ne manque pas de me rejoindre, Semenko, car c'est toi qui m'apporteras des nouvelles de tous ceux que je laisse ici et qui se sont exposés pour moi.

— Vous pouvez y compter, maître; je vous le jure, repartit le vieillard en tenant solidement le cheval par la corde, pour que son seigneur pût monter.

Mais Maxime semblait avoir recouvré dans cette fuite en plein air quelque chose de son ancienne vigueur. Il sauta avec légèreté sur la croupe du cheval, qui se cabrait en piaffant; puis, au moment de le lancer au galop sur la plaine, il se tourna vers Oxana, lui tendit la main et lui dit :

— Mon gentil sauveur, ma douce enfant, je suis maintenant proscrit, abandonné, pauvre. Il ne me reste rien de mon pouvoir, de mes richesses d'autrefois ; comment pourrai-je te récompenser ?

— En vous souvenant quelquefois de moi, seigneur, répondit, après un moment de silence, la jeune fille rougissante. En vous garantissant bien des poursuites de vos ennemis, et en pensant parfois, au milieu de votre retraite et de votre sécurité, qu'Oxana a été bien heureuse de vous sauver, et que, pour le faire, elle eût donné sa vie... Voilà tout ce qu'il me faut de vous, seigneur : rien que, de temps à autre, un instant de votre souvenir.

— Oh ! tu auras plus que cela, humble fille. Tu auras en même temps ma reconnaissance et... mon amitié. Mais je serais heureux de te donner plus encore, Oxana. Te reverrai-je jamais ?

— Oui, seigneur, s'il plait à la Providence. Mais, pour cela, il faut fuir et bien vous cacher... Partez, monsieur, que les bons anges vous conduisent !

— Adieu, adieu, douce libératrice!... Au revoir, Semenko..

Et Maxime, prenant congé de ses deux compagnons par un regard affectueux accompagné d'un geste de la main, lança son cheval au galop et disparut bientôt sur la plaine.

Oxana, quand elle l'eut vu partir, se retourna vers Semenko :

— Maintenant, il est sauvé peut-être... Cachez-vous à votre tour, ne vous laissez pas prendre, vieux père,

lui dit-elle. Vous lui êtes utile, vous l'aimez : il faut vous conserver pour lui. Rentrez bien vite dans le chanvre ; je vais vous y porter un peu d'eau-de-vie et de pain, et, quand le soir sera venu, vous pourrez aller chercher un cheval dans le champ et rejoindre votre maître. Moi, je vais retourner au dwór... M. Alexis sera si content d'apprendre que son ami a échappé aux Russes !

Bientôt, en effet, Oxana se mit en chemin pour retourner à la maison seigneuriale, chantant et souriant, heureuse d'avoir pu contribuer au salut de son cher seigneur. Sa joie était vive et pure, et elle allait la faire partager à d'autres. C'était cela qui lui faisait un regard si brillant et des pas si légers.

Mais, au détour d'un massif de grands arbres qui se trouvait placé comme un rideau entre le village et le dwór, il lui suffit d'un regard jeté en face d'elle pour changer sa joie en épouvante. Ses lèvres et ses joues pâlirent ; ses jambes se prirent à chanceler ; elle considéra d'un œil fixe le panache de fumée noire qui se formait lentement au-dessus du grenier à foin, et que sillonnèrent, au bout d'un instant, quelques longues flammèches rouges. Puis, au-dessus du toit, une haute flamme jaillit, ondoyante, claire, livide, se dressant comme une torche, sifflant comme un ouragan, et se mirant au loin sur le ciel pur et le lac bleu.

« Seigneur ! Seigneur ! balbutia Oxana, saisie d'un effroi indicible, la grange brûle, et notre jeune maître va croire que son ami y est enfermé ! »

Elle joignit les mains avec épouvante et se mit à

courir. Mais les forces lui manquaient, et ce fut avec peine qu'elle parvint à gravir la petite éminence qui la séparait du dwór.

Le *sprawnik* et ses hommes s'étaient fait accompagner à Medówka d'un détachement de Cosaques fidèles. Ceux-ci, tandis que les agents de la police faisaient leurs perquisitions, s'étaient occupés d'abord de trouver un gîte pour eux et du fourrage pour leurs montures. Ils s'étaient introduits, sans cérémonie, sous les voûtes du grenier à foin. Là, après en avoir enlevé pour leurs chevaux bon nombre de bottes de fourrage, ils s'étaient étendus avec délices sur ce foin odorant, tout en échangeant leurs réflexions et en fumant leurs pipes.

— Ce serait, ma foi, un bon endroit pour dormir, dit l'un d'eux, jetant les yeux sur les hautes piles de fourrage qui s'entassaient jusqu'au toit.

— Et encore un meilleur endroit pour se cacher, reprit un autre. Je m'étonne vraiment de ce que les camarades de la police, qui ont bouleversé tout, ne soient pas venus chercher ici. Qui sait si le drôle n'y est pas?... Voyez, il y a une échelle!

A ce cri, poussé avec un accent d'étonnement véritable, tous les Cosaques étendus dans le foin se levèrent et accoururent. Ils venaient de trouver, en effet, l'échelle dont Maxime devait se servir pour monter vers la trappe, et qu'Oxana, pressée de s'éloigner, avait mal cachée dans un coin.

— Mais il faut bien une échelle pour atteindre les bottes de là-haut, fit observer l'un de ces hommes.

— Et ne peut-on pas s'en servir pour se hisser là-haut

aussi ? Qui sait si celui que nous cherchons n'est pas tout bonnement ici, niché dans le foin comme une bellette ?

— Eh bien, trouvons-le alors ; c'est nous qui aurons la récompense... Vrai Dieu, les policiers riront-ils en voyant que les roubles leur passent sous le nez !

Là-dessus, les Cosaques, enchantés à l'idée de jouer un bon tour à leurs compagnons, se préparèrent à monter à l'échelle.

— Eh ! frères, dit tout à coup l'un d'eux qui se tenait un peu à l'écart, l'échelle n'est pas fort solide, et, si vous y montez tous à la fois, vous pourrez bien faire une fameuse dégringolade... Il y aurait un bien meilleur moyen de prendre le drôle et de nous amuser. Il ne faut pas grand'chose pour cela, allez : rien qu'une étincelle de ma pipe.

— C'est vrai, répondit un camarade. Tout cela flambera comme une bénédiction, et le brigand se trouvera là-haut dans la position d'un porc qu'on grille.

— Nous n'aurons pas besoin de nous déranger, il nous tombera dans le bec comme une alouette rôtie.

Et le Cosaque, arrachant une copieuse poignée d'herbe sèche, la tordit, en forma une sorte de brandon, l'alluma au bout de sa pipe et, grimpant à l'échelle, la déposa sur les bottes de foin.

Bientôt jaillit une fumée épaisse ; une odeur pénétrante se répandit dans la grange ; les tiges d'herbe desséchée commencèrent à s'allumer en pétillant. Les Cosaques sortirent alors, et se groupèrent au devant du magasin à fourrage.

— Voilà que ça prend bien, dirent-ils. Dans un quart d'heure, nous entendrons crier notre homme.

Un quart d'heure se passa, et le toit commença à s'embraser; la fumée jaillit au-dessus, tourbillonnante et noire. Mais aucun cri ne se fit entendre, aucun mouvement ne se produisit dans le grenier.

— S'il se laisse là-haut enfumer sans mot dire, je déclare que c'est un brave de la première volée, dit alors l'un des spectateurs.

Mais déjà l'on apercevait, des fenêtres du dwór, le panache de fumée qui se dressait au-dessus de la grange, et M. Madejski, qui se tenait auprès d'une des croisées, fit soudain un geste de stupeur et se retourna en pâlisant.

— Qu'y a-t-il, père? lui demanda Alexis, que deux hommes de la police gardaient dans le fond de la chambre.

— Il y a... Non, je me suis trompé, sans doute; ce serait trop affreux... J'avais cru voir... des étincelles et une bouffée de fumée au-dessus du magasin à fourrage... Mais oui, encore... encore!... Oh! mon Dieu, la grange brûle! s'écria M. Madejski avec un geste de désespoir.

— La grange brûle! répéta Alexis, qui fit un brusque mouvement comme pour s'élancer et puis retomba sur sa chaise, jetant un regard de désespoir à ses gardiens. La grange brûle!... Oh! père, allez-y vite... Vous savez ce que nous avons là de précieux, de sacré!

— Qu'est-ce donc? dit la pauvre mère, que cette nouvelle terreur arrachait à une longue défaillance.

— Maman, maman, oh! vous ne le savez pas! s'écria

Sophie, se jetant à genoux et levant les mains au ciel avec un geste d'angoisse. La fumée augmente, les flammes montent... et peut-être il est trop tard... tout sera perdu!... tout, notre honneur, notre dévouement... et encore plus que tout cela... une vie!...

— Sophie, calme-toi, mon père y est allé, dit Alexis, se hâtant d'interrompre sa sœur.

M. Madejski, en effet, venait de quitter la salle. Il se trouva, en quelques minutes, devant la grange qui brûlait.

Arrivé là, il jeta un regard éperdu sur les Cosaques assemblés, qui riaient et battaient des mains dans les transports d'une joie sauvage. Il ne vit point au milieu d'eux celui qu'il cherchait, et se précipita vers la porte de la grange en s'écriant : « Maxime! » Mais rien ne lui répondit, que le pétilllement des flammes et les craquements du bois noirci.

Alors il fut pris d'une immense terreur, d'un désespoir épouvantable. Maxime sans doute était là; mais il aimait mieux mourir que de se rendre, et voilà pourquoi il ne répondait pas. Comment! ce protégé, cet hôte, cet ami, allait mourir chez lui, sous ses yeux, mourir d'une mort épouvantable? Et lui, Pierre Madejski, chrétien et père, ne ferait pas tous ses efforts, ne donnerait pas même sa vie, pour sauver cet homme qui lui avait conservé son fils? Cet homme qui, dans son cœur, avait sa place comme s'il eût été de la famille?... Et les lois de la reconnaissance, et les devoirs de l'hospitalité, et les commandements de l'Évangile?... Pierre Madejski était reconnaissant, chrétien et brave;

soixante ans de vie honnête l'avaient assez prouvé. Il fit le signe de la croix et dressa l'échelle.

Bientôt il atteignit la trappe qui s'ouvrait dans le plafond. Au même moment, les flammes, qui consumaient l'autre partie de la grange, s'inclinèrent comme pour le menacer, et se roulèrent en vastes plis de feu au-dessus de sa tête. Mais les terreurs de la mort ne pouvaient plus l'arrêter. La lucarne de la grange était ouverte devant lui ; par là il envoya un dernier regard, une bénédiction dernière à son *dwór* blanc caché entre les rosiers fleuris, à ce toit où respirait tout ce qu'il aimait sur la terre. Puis il souleva la trappe d'une main ferme et pénétra dans le grenier.

En ce moment, les Cosaques, restés en dehors de la grange, entendirent, au-dessus de leurs têtes, sa noble voix qui appelait : « Maxime !... mon enfant, Maxime ! » Puis, au bout de quelques secondes, le bruit sourd d'un corps tombant sur le plancher... Après cela, plus rien que le pétilllement du foin et le sifflement des flammes.

Les serviteurs du *dwór*, les hommes de la police étaient accourus cependant ; ils apportaient de l'eau, ils dressaient des échelles. Puis les plus courageux d'entre eux pénétrèrent dans le grenier. Mais, à leur grand étonnement, ils n'y trouvèrent qu'un cadavre, celui du noble vieillard, de Pierre Madejski, mort victime de son héroïque charité. Les flammes ne l'avaient pas encore atteint ; il tenait sa main gauche appuyée sur son cœur, l'autre était dirigée vers son front, comme si l'asphyxie l'eût surpris au moment où il allait faire le signe de la croix, murmurant sa dernière prière.

Les serviteurs du dwór se livrèrent alors à un véritable désespoir. Les uns se jetaient à terre et poussaient des cris déchirants ; les autres considéraient avec terreur le corps de leur bon maître.

Oxana cependant était arrivée dans la cour, toute pâle, défaillante, cherchant quelqu'un des yeux. Personne ne venait au-devant d'elle, et elle, toute bouleversée, entra en courant dans la maison. Là, elle vit, dans la grande salle, M^{me} Madejska évanouie, Sophie fondant en larmes, Alexis désespéré, la tête cachée dans ses mains, et rien de plus ; elle ne comprit qu'une chose : c'est qu'on tremblait pour le fugitif. Aussi, du seuil de la porte, elle s'écria d'une voix haletante et joyeuse :

— Il n'était pas dans la grange ; rassurez-vous : il est bien loin.

— Il est bien loin ? répéta Alexis. Et alors... que devient mon père ?

— Vraiment, il est bien loin, la belle ? dit un des agents, sortant du corridor tout proche, et allant poser la main sur l'épaule d'Oxana. Et c'est vous, sans doute, qui l'avez aidé dans cette belle évasion?... Allons, c'est bien ; ma mignonne, vous allez nous suivre, et, quand vous serez en cage, vous ouvrirez sans doute votre joli bec pour nous donner les moyens de rattraper l'autre oiseau. Sinon, votre sort sera réglé : les verges et la Sibérie...

— Oxana, ma pauvre Oxana ! s'écria Sophie en pleurant.

Elle jeta les bras autour du cou de la jeune serve, la

pressa sur sa poitrine et murmura bien bas ces quelques mots :

« Ma chérie, ma petite amie d'enfance, nous ne t'abandonnerons pas ; nous avons encore des amis... Tu n'es qu'une pauvre fille ; ils te pardonneront quand des gens influents auront intercédé en ta faveur. Mais sois courageuse, et ne trahis pas Maxime ! »

Oxana jeta sur sa jeune maîtresse un regard mélancolique et doux, secoua sa jolie tête brune par un mouvement plein de résignation et de grâce ; puis, prenant la main de Sophie, elle murmura doucement :

« Demoiselle, celui que j'avais vu dans les champs lointains, le beau cavalier à l'aigrette de héron, c'était lui ; celui qui m'a sauvée des flots du Boh, c'était lui encore ; celui que je voyais la nuit, dans mes rêves, et le jour, dans mes souvenirs, c'était toujours lui... Comment, après cela, voudriez-vous que je le trahisse ? »

Elle laissa retomber la main de Sophie et alla s'asseoir dans un des coins de la chambre, se croisant les mains sur les genoux, balançant par un mouvement gracieux sa tête souriante encore, et chantant à demi-voix cette mélancolique *dumka* des paysans d'Ukraine :

Les blés d'or tomberont sous la longue faucille ;
La rose fleurira dans les buissons touffus.
Mais la jeune fille
Ne les verra plus.

L'alouette, en volant vers le ciel qui scintille,
Chantera sa ronde aux échos perdus.
Mais la jeune fille
Ne l'entendra plus.

Le vieux père errant, sans toit, sans famille,
S'en ira, trainant ses pas éperdus
Que la jeune fille
Ne soutiendra plus.

Elle n'avait pas fini de chanter quand le sprawnik se présenta à la porte de la salle. Il jeta un regard attentif sur la mère évanouie, sur la fille désespérée, et il se sentit ému ; à cette veuve et à cette orpheline en larmes, il ne put se décider à annoncer leur malheur.

— Qu'on amène le prisonnier dans la cour ! dit-il aux agents qui entouraient Alexis.

Ils obéirent, et le jeune homme parut bientôt sur le perron, jetant de tous côtés des regards inquiets.

— La journée a été malheureuse pour vous et pour nous, lui dit le sprawnik d'une voix sombre. Notre fugitif s'est enfui, et votre père... est mort.

— Mort!... mon père? répéta le malheureux Alexis, dont les joues se couvraient d'une pâleur livide, et qui se croyait le jouet d'un songe en entendant ces mots.

— Oui, là-bas... dans la grange... Il a voulu sauver votre ami, il s'est hâté de grimper sous le toit... Mais la fumée l'a suffoqué promptement. Voilà qui vous apprendra à cacher des conspirateurs.

Mais Alexis n'entendait plus ; il était comme foudroyé. Sans regard, sans couleur, sans haleine, sans voix, il s'affaissait sous le poids d'une douleur atroce, inattendue.

Quelques minutes s'écoulèrent ainsi, et il ne revint à lui que lorsque la voix rude du sprawnik se fit entendre pour la seconde fois.

— Eh bien, jeune homme, que ferez-vous ? N'allez-vous pas annoncer ce malheur à votre mère ?

— Non, oh ! non, murmura Alexis en frissonnant. Mon père mort, moi prisonnier, c'est trop à la fois pour elle. Si une voix peut lui faire entendre de semblables paroles sans lui briser le cœur, ce ne peut-être que la voix de Dieu... Permettez qu'un de nos serviteurs aille chercher le curé de Medówka ; on le trouvera au presbytère.

Une demi-heure plus tard, le prêtre entra dans la cour de Medówka, les mains jointes, la tête inclinée. Il venait annoncer une perte irréparable à ces pauvres cœurs, déjà à demi brisés, de l'orpheline et de la veuve, et il avait rencontré, sous la grande allée de chênes, l'escorte des agents et des Cosaques qui n'avaient pas saisi le fugitif, mais qui emmenaient deux prisonniers.

XXV

LES PROTECTEURS.

Huit jours plus tard, les volets du dwór étaient fermés ; la maison était close et vide. Le lendemain des funérailles, la veuve et l'orpheline étaient parties pour Kiew. La prison d'Alexis était désormais, sur la terre, le seul lieu qui pût intéresser sa mère et sa sœur. A la ville, quoiqu'elles n'eussent pas encore pu obtenir la faveur de voir le prisonnier, elles lui écrivaient, du moins, et recevaient de ses nouvelles. Elles pouvaient lui faire passer des livres, du linge, des aliments, et

ces modestes préoccupations étaient devenues le seul bonheur de la pauvre veuve.

Mais les jours, les semaines se passaient, et l'instruction n'avancait pas. Le prisonnier languissait dans son cachot, sans avertissement, sans sentence. Quand donc reviendrait Alexis?... La mère commençait à douter et parfois secouait la tête tristement, en voyant tomber les premières feuilles.

Sophie, alors, de suivait les regards sa mère, d'un œil plus sombre encore et plus désespéré. Pauvre fille, à laquelle rien n'était resté, et qui s'attachait, avec tant d'opiniâtreté, à sa dernière espérance!...

Qu'elle pût, du moins, conserver sa mère et se concentrer dans cette seule, dans cette immense affection... Mais sa mère aussi semblait se détacher d'elle, et se préparer à la quitter, comme toutes les autres joies de ce monde l'avaient déjà quittée.

« Ce serait trop affreux, ce serait le dernier coup, se disait la jeune fille en tremblant. Si Alexis était avec nous, elle vivrait pour lui, sans doute. Il faut le délivrer bien vite, le sauver à tout prix, car c'est le seul moyen de conserver ma mère. »

Mais comment le délivrer?... Il fallait pour cela des amis dévoués, de puissants protecteurs, et les souffrants, les suspects, n'en ont guère.

Un jour, cependant, Sophie avait longtemps réfléchi, cherché longtemps; une idée lui vint tout à coup :

« Ah! pourquoi n'y ai-je pas pensé plus tôt? se dit-elle. Elle me comprendra, elle me plaindra sûrement : elle est femme... Son mari est très influent, sans doute,

lui, le gouverneur de Tiflis. Ils sont encore ici ; l'autre jour, j'ai vu passer leur voiture... J'irai me jeter à ses pieds, je lui dirai que je n'ai pas épousé Maxime, que je ne le verrai plus, que je... l'ai... oublié... Oh ! ce sera bien douloureux !... Mais je souffrirais plus encore pour pouvoir obtenir la délivrance d'Alexis. »

Alors elle essuya ses yeux, jadis brillants, qui avaient tant pleuré, s'habilla et se fit conduire chez la princesse Praxède.

La fière Géorgienne, épouse du vieux général, s'était, depuis son arrivée à Kiew, fait un certain renom par sa munificence quasi-royale, par ses générosités princières. Les bonnes actions partant de haut sont proclamées haut aussi, et posent leur auteur dans le monde, en lui faisant un cortège d'obligés, de solliciteurs, une véritable cour.

En conséquence, le laquais qui reçut Sophie, la voyant pâle, affligée, vêtue de deuil, comprit qu'il avait affaire à une nouvelle suppliante, et, sans même lui demander son nom, l'introduisit dans le salon où sa maîtresse se tenait.

La princesse, en voyant entrer une jeune fille émue, tremblante, la salua d'un léger mouvement de tête et lui fit signe d'approcher. En cet instant, Sophie leva son voile, et Praxède ne put retenir un cri d'étonnement.

— Mademoiselle Madejska ! dit-elle, en se levant à demi du sofa où elle était assise. Oh ! combien vous êtes changée !

La voix de la princesse avait pris une intonation bi-

zarre en prononçant ces derniers mots. Il y avait de la pitié, de la surprise, et aussi un peu de satisfaction peut-être, dans son accent, dans son regard.

— C'est que j'ai bien pleuré, madame, répondit humblement Sophie. Mon père est mort, ... vous le savez peut-être, ... et mon frère est en ce moment dans les prisons de Kiew.

— En effet, j'en ai entendu parler vaguement... Asseyez-vous, je vous prie... Et vous venez me conter vos douleurs, vous adresser à moi comme à une amie?... C'est tout à fait naïf; mais, pour moi, c'est très flatteur, en vérité. Voyons, ma chère enfant, dites-moi ce qui vous amène.

— Madame, répondit Sophie un peu déconcertée par la singularité de cet accueil, autrefois vous avez été assez bienveillante pour me donner un conseil; maintenant, vous serez peut-être assez généreuse pour me rendre un service. Madame, mon frère est innocent; il n'a point pris part à l'insurrection; il ignore même le crime dont on l'accuse, et ma mère, malade et désolée, accablée par tant de maux, mourra de douleur sans doute si son fils ne lui est pas rendu... Un mot de vous, une prière au gouverneur de Kiew, pourraient hâter le jugement et, par conséquent, la mise en liberté de mon frère... Ah! madame, vous êtes femme, vous êtes compatissante, et vous avez eu une mère... Laissez-moi espérer que je ne vous aurai pas implorée en vain.

Et Sophie, saisissant une des belles mains de Praxède entre ses petites mains tremblantes, leva ses yeux pleins de larmes vers ce visage noble et altier.

— Vous êtes très touchante, ma chère enfant, répliqua la princesse, inclinant la tête avec grâce; mais il y a, je crois, une légère inexactitude dans ce que vous m'avez dit... Votre frère, assurez-vous, ignore le crime dont on l'accuse; mais n'était-ce pas d'avoir donné asile à un proscrit?

— Hélas! madame, répondit Sophie en pâlisant, secourir un fugitif, un blessé, est-ce vraiment un crime?

— Oui, quand ce malheureux est coupable, quand ce fugitif est un chef de rebelles, quand ce proscrit, encore dangereux, s'appelle Nekrasa, en un mot.

— Mais ce coupable était en même temps le sauveur d'Alexis, le plus ancien ami de mon frère.

— Et le vôtre aussi, n'est-ce pas, mon enfant?

— Oui, sans doute... il avait été... Mais, depuis lors, il s'était égaré, il s'était corrompu... Quand vous me l'avez dit, vous disiez vrai, madame. Mon père, qui jugeait comme vous, lui refusait ma main, et moi, par conséquent, je ne pouvais pas lui conserver mon cœur.

— En vérité!... Sur un simple avertissement de votre père, vous avez aussitôt renoncé à vos projets, à votre amour?

— Oui, madame, j'ai souffert, mais j'ai obéi, répondit la jeune fille.

— C'est fort bien, dit Praxède en s'étendant nonchalamment sur son canapé. J'admire vraiment la facilité avec laquelle vous savez triompher de vos inclinations, vous autres Polonaises... C'est là un don très précieux, que vous pouvez, par exemple, en ce moment utiliser à votre grand avantage.

— Comment, madame? Que voulez-vous dire? reprit Sophie, attachant sur la princesse un regard douloureux et étonné.

— Voici le fait, mon enfant; je vais droit au but, sans préparation, sans ambages. La capture de M. Nekrasa, de ce brillant hetman, serait des plus importantes; depuis trois mois, le gouvernement le cherche et ne l'a point encore trouvé. Si votre frère est toujours en prison, c'est qu'on pense, à tort ou à raison, qu'il connaît le lieu de sa retraite.

— Madame, il ne la connaît pas; je vous le jure sur l'honneur. Max... M. Nekrasa ne s'est point caché dans l'endroit que mon frère lui avait indiqué et où il aurait péri, et, depuis ce jour malheureux, nous n'avons jamais reçu de ses nouvelles.

— C'est possible; mais, en admettant que votre frère ignore le lieu de sa retraite, il y a pourtant quelqu'un qui doit le savoir, quelqu'un qui vous appartient, une personne très sincèrement dévouée, une jeune fille...

— Oxana! s'écria Sophie, en joignant les mains avec douleur.

— Oui, Oxana, si vous la nommez ainsi... C'est elle qui a accompagné le rebelle jusqu'au dernier moment de son évasion; elle seule qui peut savoir quelle direction il a prise; elle tient son propre sort et celui de son maître dans ses mains. Allez donc lui demander, pour votre frère, la liberté et la vie.

— Oh! madame, qui vous a appris cela? D'où savez-vous toutes ces choses? s'écria Sophie avec un geste de terreur.

— De cette jeune fille elle-même... J'en vais parfois visiter les prisons, surtout les prisons de femmes... Eh bien, elle m'a avoué qu'elle avait aidé à l'évasion du rebelle, qu'elle savait de quel côté il s'était dirigé. Mais elle a ajouté qu'elle avait donné sa parole, que la vie était peu de chose, et qu'elle mourrait plutôt que de trahir le fugitif.

— Oh ! ma pauvre Oxana, ma courageuse amie ! murmura Sophie fondant en larmes.

— Oui, tout ceci est fort beau, fort sentimental ; mais savez-vous ce qu'elle fait, votre amie ?... C'est elle qui, par son silence, retient votre frère en prison. Croyez-moi, ma chère, le gouvernement sait ce qu'il fait. S'il tenait une bonne fois le dangereux Maxime, il mettrait en liberté quelques coupables de moindre importance, et, selon moi, il aurait raison... Or, écoutez-moi, mademoiselle Sophie... Je m'intéresse à vous, à votre frère, à votre servante, et aussi... à M. Nekrasa, continua Praxède avec un sourire menaçant, qui fit briller étrangement ses dents blanches. Voici donc le conseil que j'ai à vous donner... Allez trouver cette Oxana, si courageuse, si dévouée ; obtenez d'elle qu'elle vous dise ce qu'elle sait. Une fois qu'elle aura parlé, je ne doute pas que l'on rende la liberté à votre frère. Seulement, il vous faudra user d'une forte dose d'éloquence, car, moi, j'ai employé la mienne, et j'ai échoué cependant.

— Vous ? s'écria Sophie en se levant et jetant sur Praxède un regard surpris et indigné. Vous avez engagé cette pauvre fille à la lâcheté, à la trahison ?... Vous avez

voulu perdre Maxime... vous qui deviez porter son nom, vous qui... l'avez aimé?

— Allons, je vois que vous ne ferez rien, vous qui l'aimez encore, répliqua Praxède en se détournant avec un sourire amer. Et cependant, ce que je vous offrais, c'était la liberté de votre frère.

— C'est inutile : Oxana ne parlera pas, répéta Sophie en secouant la tête d'un air découragé. Quand même je la supplierais à genoux, avec des sanglots et des larmes, elle me répondrait que Maxime s'est confié à elle et qu'elle ne peut le trahir. Mais vous, madame, oh ! que vous a-t-il fait?... Pourquoi voulez-vous qu'on le prenne et qu'il meure ?

— M. Nekrasa est Polonais, et la Russie qu'il a combattue est devenue ma patrie... M. Nekrasa est un factieux, un rebelle, et je suis la femme d'un loyal soldat.

— Pardonnez-moi, je n'ai plus rien à vous demander, madame, dit Sophie en se levant. Si vous me parlez ainsi, c'est que vous avez tout oublié.

— Tout oublié ! répéta Praxède avec un étrange sourire, fixant sur le visage pâle de la jeune fille ses regards ardents et sombres. Tout oublié !... Oh ! non... Si je vous parle ainsi, c'est que je me souviens, au contraire. Il y a un proverbe de mes montagnes qui dit : « Femme qu'on insulte, femme qui se venge. » Si vous en avez un jour l'occasion, mademoiselle, rappelez-le à l'hetman Nekrasa.

Et Praxède, prenant ici congé de Sophie, par une altière inclination de tête, se rassit, en étendant les plis

de sa robe de moire sur son fauteuil de velours. Sophie, défaillante, descendit lentement l'escalier.

« Tout est fini, il ne reste plus d'espoir, se disait-elle en joignant les mains avec angoisse, pendant que la voiture la ramenait à la maison. Oh ! cette princesse a un autre cœur que le mien ! Alexis, mon pauvre frère ! Qui le protégera ? Qui veillera sur nous ? »

Arrivée chez elle, elle montait l'escalier en pleurant, n'osant pas entrer chez sa mère, lorsque sa femme de chambre vint au-devant d'elle, une carte à la main.

— Mademoiselle, il est venu ce matin un bien riche seigneur, dans un brillant uniforme ; il a demandé à vous voir, madame et vous... Je lui ai dit que madame était malade et que vous étiez sortie. Alors il m'a dit qu'il reviendrait dans deux heures, et qu'il vous suppliait de vouloir bien le recevoir.

Et Sophie, regardant la carte, y lut ces mots : « Le colonel Gustave von Steinköller. » Un peu d'espoir lui rentra au cœur ; elle se réjouit de sa venue, elle qui, jadis, le voyait toujours apparaître avec une sorte de crainte et un certain dégoût. Elle monta à sa chambre, lissa sa chevelure, baigna ses yeux en pleurs ; elle pensait à se faire aimable et attrayante, pour donner un protecteur à son frère, et à sa mère la vie et l'espoir. Puis elle se rendit près de M^{me} Madejska, murmurant des paroles de consolation à son oreille, lui disant que le ciel leur envoyait un appui.

Au bout de deux heures, en effet, Steinköller entra dans le salon où l'attendait l'orpheline. Le premier regard qu'elle jeta sur lui lui apprit qu'il y avait, en effet,

beaucoup à espérer. La contenance du colonel était respectueuse et grave ; son air pénétré et son maintien plein de retenue annonçaient clairement qu'il comprenait la douloureuse position de la jeune fille, et qu'il y prenait part autant que le lui permettaient les convenances et le soin de sa propre dignité.

Sophie, en le voyant s'approcher, ne put retenir ses larmes.

— Il y a cinq mois à peine que nous nous sommes vus, colonel, lui dit-elle en lui tendant la main. Vous nous avez quittés paisibles et heureux, et maintenant vous me retrouvez en deuil.

— Hélas ! j'ai tout appris, répondit Steinköller, s'inclinant devant elle avec un geste respectueux. Mais j'ai tout appris trop tard... Quand ce fatal événement a eu lieu, je n'étais pas en Russie... Ah ! si je m'étais trouvé à Kiew, les choses ne se seraient point passées ainsi, mademoiselle. Je serais accouru chez vous ; j'aurais, je le crois, réussi, non pas à détourner complètement, mais du moins à diminuer de beaucoup, les désastres qui ont accablé votre maison... Je viens maintenant, je viens trop tard... Je voudrais cependant tâcher de vous être utile. Si je puis vous servir, mademoiselle, disposez de moi.

— Acceptez mes remerciements, monsieur, dit Sophie en levant sur lui ses yeux en pleurs, et pardonnez-moi de mettre sitôt votre bienveillance à l'épreuve. Mais mon frère est en prison, ma mère se meurt de chagrin... Peut-être quelques démarches, quelques efforts, pourraient sauver l'un et l'autre....

— Eh bien, mademoiselle, comptez sur moi; vous le pouvez sûrement. Je vous suis tout dévoué, et je vous le prouverai, j'espère... Mon père sera ici dans huit jours; il est, comme vous le savez, chambellan de l'empereur, et jouit par conséquent d'une influence considérable. Ni lui ni moi ne reculerons devant aucune démarche, et, si le sort nous vient en aide, avant deux mois, votre frère sera libre et ne vous quittera plus.

— Colonel, balbutia Sophie en levant sur Gustave ses yeux attristés que l'espoir rendait si doux, pour vous remercier, je ne vous dirai qu'un mot : c'est que vous sauvez la vie à ma mère.

Steinköller la considéra un instant avec attention, tout ému qu'il était de ce regard confiant et limpide; puis il lui dit d'une voix douce, en lui tendant la main :

— Si je puis rendre quelque repos, quelque joie à votre famille, comprendrez-vous bien que je suis réellement votre ami?

— Oui, notre ami, notre protecteur, notre sauveur, murmura la jeune fille.

— Eh bien, à votre sauveur, que donnerez-vous en échange de ses services?

— Ma plus ardente reconnaissance.

— Et à votre ami?

— Ma sincère affection.

— Mademoiselle, réfléchissez bien, je vous prie, au sens que j'attache à vos paroles... Il y a cinq mois, ici, dans cette même chambre, j'ai demandé votre main à votre père, de sainte mémoire, et cette main, il me l'a refusée... Mais je lui ai dit alors que je ne me décou-

ragerais pas et que je la solliciterais encore, un jour, parce que je croyais votre cœur libre... Me suis-je trompé, mademoiselle? Votre cœur est-il libre en effet?

— Oui, répondit Sophie faiblement, après une pause à peine perceptible.

— Alors, mademoiselle, permettez-moi d'espérer que ce cœur, si juste et si tendre, se laissera toucher, se convaincra de la sincérité de ma tendresse, et vous conseillera un jour de m'accorder votre main. Songez surtout qu'actuellement je ne vous demande rien, ni consentement ni promesse, rien que la permission de vous voir, d'espérer, et, en attendant, de vous servir.

— Comme il vous plaira, monsieur, balbutia Sophie en pâlisant.

Elle était sur le point de s'éloigner; pourtant elle se retourna soudain, leva vers le colonel ses yeux où l'émotion avait séché les larmes, et lui dit à voix basse, avec un accent suppliant :

— Venez, oui, venez aussi souvent que vous le voudrez... Mais, n'est-ce pas, vous me rendrez mon frère?

— Je n'épargnerai, dans ce but, ni peines ni efforts, et si je n'y parvenais pas, je ne vous reverrais plus, répondit le jeune homme. Mais, si je réussis, à la fin de votre deuil, vous me permettrez, n'est-ce pas, de faire part à votre mère de mes projets, de ma tendresse? Vous consentirez à échanger le nom d'amie contre le titre si doux de fiancée?

Sophie, toujours muette, s'inclina en pâlisant, et ses lèvres s'agitèrent comme si elle eût voulu formuler

une réponse ; mais la voix lui manqua, et le colonel eut pitié de son émotion et de sa douleur.

— Au revoir donc, mademoiselle ! lui dit-il en la quittant. Espérons que je serai assez heureux pour vous rendre votre frère.

Il s'éloigna et disparut dans le vestibule ; Sophie écouta le bruit de ses pas, qui allait s'affaiblissant sur les dalles du trottoir. Elle porta la main à son front, puis à son cœur, et un sanglot, longtemps contenu, souleva enfin sa poitrine :

« O mes jours d'enfance ! s'écria-t-elle. O Maxime, ô mon espoir !... O mon bonheur passé ! »

XXVI

MARTYRE.

Parmi les prisonniers qu'on amena un matin sur la grande place de K..., la foule, groupée et contenue derrière le brillant rempart de baïonnettes, distingua aussitôt une belle jeune fille qui portait avec grâce le pittoresque costume des paysannes de la classe aisée, et dont les longs cheveux noirs, déroulés sous leur ruban rouge, recouvraient comme d'un voile les petites mains blanches liées derrière le dos.

Au moment où elle s'avancait vers la poutre massive, à laquelle on attachait les condamnés devant recevoir un certain nombre de coups de fouet, un des officiers présents s'approcha du sprawnik et lui dit quelques mots à l'oreille.

— C'est beaucoup trop d'indulgence, en vérité, répondit celui-ci à haute voix. A quoi bon un interrogatoire?

— Le général B..., ancien gouverneur de Tiflis, le désire tout particulièrement. Je pense qu'il a surtout en vue la capture du fugitif, et qu'il vous engage, pour cette raison, à ne négliger aucun des moyens efficaces en pareille circonstance.

Le sprawnik inclina la tête et se tut; il avait compris. Alors il fit un signe pour qu'on lui amenât la jeune fille.

Celle-ci s'avança, le pas ferme, la tête haute, mais pourtant les yeux baissés. Elle ne les releva que lorsqu'elle fut tout près de son juge.

— Oxana, fille de Hrehory Gruszek, lui dit à haute voix celui-ci, fille serve du village de Medówka, dont Pierre Madejski était propriétaire, tu as fait évader, le 6 août dernier, Maxime Nekrasa, chef des rebelles, qui s'était réfugié dans ce village et y avait reçu l'hospitalité?

— Oui, répondit-elle avec calme, laissant même deviner dans le son de sa voix une nuance presque joyeuse.

— Eh bien, reprit durement le sprawnik, si alors, guidée par l'esprit de rébellion, tu as favorisé l'évasion du coupable, tu dois maintenant réparer ta faute et mériter ton pardon, en nous disant de quel côté il a porté ses pas.

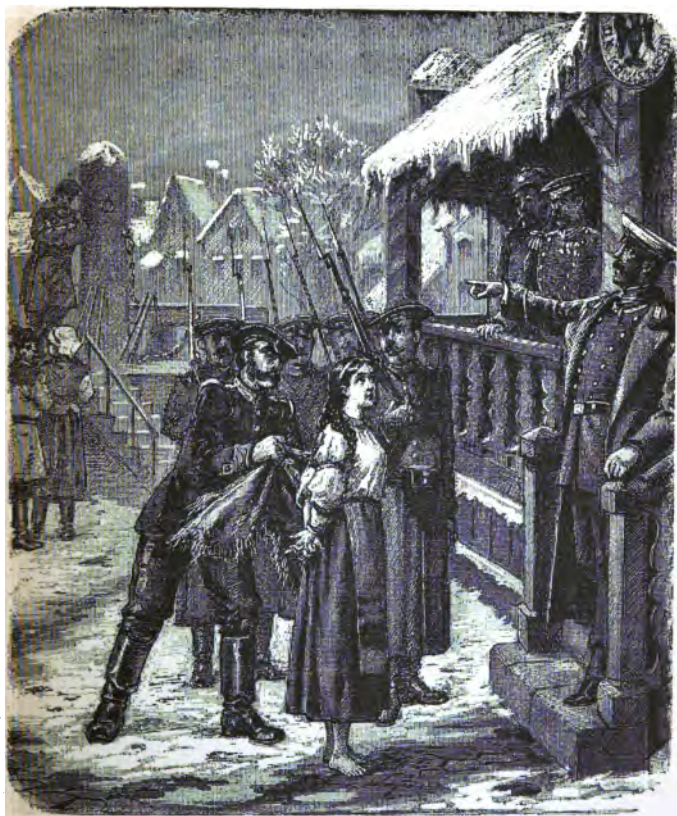
— Seigneur juge, interrompit Oxana avec douceur, est-ce là tout ce que vous avez à me dire?

— Eh! certes... Crois-tu que je m'amuserais à perdre mon temps avec une fille comme toi?

— Alors il vaut mieux cesser de m'interroger, seigneur; vos paroles sont inutiles. J'en ai déjà entendu et méprisé beaucoup qui leur étaient semblables... Je ne suis qu'une pauvre serve, une fille ignorante, inconnue. Mais j'ai déjà vu une grande dame, une riche princesse, venir à moi dans ma prison et me supplier, me menacer; me promettant la liberté, de l'or, une brillante destinée, si je voulais parler; un supplice cruel, une mort lente à venir, si je ne parlais pas... Eh bien, seigneur juge, si je suis ici, c'est que j'ai choisi la mort et que je m'y suis résignée.

— Oh! oh! il est facile de porter haut la tête et de faire la brave, quand on n'a pas senti les coups. Mais nous nous chargerons de te délier la langue avec quelques coups de fouet.

— Seigneur, répliqua la jeune fille, en jetant sur le magistrat un regard ferme et sombre, je n'ai pas encore senti la douleur des coups, c'est vrai; mais j'en ai éprouvé de plus cruelles que celle-là! Pendant que j'étais dans la prison, on m'a appris que mon jeune maître, le seigneur Alexis, y est aussi, lui qui a été si généreux pour moi depuis son enfance. On m'a dit que si je trahissais *l'autre*, celui-ci serait délivré. Et j'ai senti mon cœur se briser en pensant à mon pauvre maître... Mais je ne perdrai pas l'hetman Nekrasa, même pour sauver mon seigneur. Celui-ci est innocent et juste; tôt ou tard Dieu le bénira, et même les méchants de la terre auront pitié de lui... Mais *l'autre!*... celui que j'ai sauvé, que, par mon silence, je sauverai encore!... il vous a attaqués, il vous a vaincus. Et, s'il



Qu'on l'attache à la poutre !

tombait entre vos mains, vous n'auriez pour lui que des fers bien pesants ou une mort bien cruelle. Je le sais trop bien, allez! Et c'est pourquoi je ne le trahirai pas.

— C'est là ton dernier mot? demanda le sprawnik impatienté.

— Le dernier, répéta Oxana en s'inclinant. Le seul que je répéterai avant ma dernière prière.

— Alors qu'on l'attache à la poutre! fit le magistrat en tournant sur ses talons.

Deux soldats s'approchèrent alors de la jeune fille, et lui enlevèrent brutalement le fichu de laine qu'elle portait croisé sur sa poitrine. Puis l'un d'eux, écartant les ondes noires de ses cheveux, saisit le collet de sa chemise, plissé, selon la mode de l'Ukraine, en guimpe étroite autour du cou, et la déchira en deux tout le long du dos, les pans retombant sur les épaules de la pauvre fille et sur sa poitrine arrondie.

Alors le beau visage d'Oxana se colora soudain d'une vive rougeur, puis passa à la rigidité sévère et à l'intense pâleur d'un splendide marbre grec, au moment où ces mêmes mains la saisirent et l'étendirent sur la poutre. Pourtant elle ne dit pas un mot, ne poussa pas un soupir, et se laissa tranquillement garrotter, étendant, sans qu'on le lui dît, ses mains au-dessus de sa tête, et embrassant le lit de bois sur lequel son supplice allait commencer.

Les premiers coups, laissant de longues marques rouges qui allaient en bleuissant, n'arrachèrent à la jeune fille ni un tressaillement ni une plainte. Au mo-

ment, pourtant, où l'une des lanières de cuir, tombant sur une des meurtrissures déjà marquées, déchira la peau fine et se rougit de sang vermeil, les lèvres d'Oxana s'agitèrent. Les hommes qui l'entouraient crurent qu'elle poussait un gémissement ou un soupir ; mais l'un des soldats qui maniaient les fouets déclara qu'elle avait seulement prononcé un mot : « Maxime ! »

Pourtant elle ne tressaillit plus après cette première douleur, et, appuyant la tête un peu de côté sur son bras nu, elle se laissa frapper en silence.

Au bout de quelques instants, le sprawnik fit un signe ; les bourreaux s'arrêtèrent.

— Eh bien, la belle, peut-être auras-tu maintenant le cœur plus soumis, la langue plus déliée ? lui dit le magistrat. Vas-tu nous avouer de quel côté s'est enfui Nekrasa le rebelle ?

Oxana, déjà presque évanouie, fit un léger mouvement en entendant cette voix qui lui parlait. Elle se souleva à demi, regarda le chef de police. Celui-ci, pensant qu'elle ne l'avait pas compris, répéta sa question. Alors la jeune fille sourit tristement et secoua la tête.

— A quoi bon me le demander, puisque je ne le dirai pas ? murmura-t-elle.

— Eh bien, sache que tu souffres inutilement, et note cela, ma belle. Nous sommes sur les traces du rebelle ; il sera pris d'un instant à l'autre. Seulement, si tu parlais, nous mettrions la main dessus un ou deux jours plus tôt.

Alors, pour la première fois depuis le commencement

de son supplice, le visage d'Oxana se contracta, exprimant une amère douleur. Elle leva au ciel un regard désolé, puis le laissa errer sur la foule, comme si elle eût demandé, à la terre et au ciel, un secours dans sa détresse, et, pour son désespoir, une consolation.

Et cette consolation lui vint, providentiellement donnée... Tandis qu'à demi mourante elle cherchait ainsi, elle aperçut au milieu des groupes, derrière la haie de soldats, un vieillard de haute taille, dont la pelisse de peau et le bonnet de moujik (1) russe dissimulaient à peine une longue chevelure grise et des membres vigoureux.

Au moment où le vieillard surprit le regard d'Oxana, il ôta nonchalamment son bonnet, comme si la chaleur l'eût accablé.

Et la jeune fille vit paraître un visage énergique, profondément sillonné, des yeux noirs pleins de feu, des traits marqués bien connus d'elle, ceux d'un brave et franc Cosaque.

Puis l'homme aux moustaches grises tourna lentement la tête de droite à gauche, faisant ainsi un geste de complète dénégation. Il éleva le bras, l'agitant, avec un sourire, vers les confins de l'horizon, comme s'il eût dit : « Il est libre ! »

Et il vit les traits altérés d'Oxana s'éclairer d'un rayon. La jeune fille l'avait compris ; elle allait désormais souffrir avec plus de douceur. Elle inclina légèrement la tête pour remercier le vieillard, et, sans dire un mot de plus, se recoucha sur la poutre.

¹ Paysan.

Les coups continuèrent à tomber, emportant chaque fois une goutte de sang, une étincelle de vie... Quand, une demi-heure plus tard, on détacha la jeune fille de la poutre sur laquelle elle avait confessé sa vaillance et son amour, ses yeux étaient clos, ses membres affaissés et sa tête pendante. Pourtant elle n'avait pas encore cessé de souffrir.

On la porta, mourante, dans une des cabanes voisines. Autour d'elle se groupèrent quelques femmes en pleurs et le vieillard, qui tomba à genoux.

Ce fut lui qu'elle reconnut d'abord ; ce fut vers lui aussi qu'elle étendit sa main glacée.

— Mon bon Semenko, merci ! murmura-t-elle. Vous m'avez fait comprendre que cet homme a menti, qu'il est libre... C'est bien vrai, n'est-ce pas ?

— Aussi vrai que j'aime ma patrie ! répondit le Cosaque, en mettant la main sur son cœur.

— Oh ! c'est bien. Je suis contente, alors !... Quand vous irez le trouver, dites-lui... qu'il se cache bien ;... que ceux qui l'ont vu partir ne le trahiront pas... Mais, écoutez ! ne lui dites pas que je suis morte !... Il aurait peut-être de la peine, en pensant... que j'ai souffert pour lui... Mon bon Semenko, veillez sur lui... Qu'il soit heureux, et... que Dieu le bénisse !...

En parlant ainsi, Oxana ferma les yeux. Elle essaya de tendre la main au vieillard, mais elle n'y parvint qu'à demi, et se renversa en arrière. Son souffle devint plus incertain, plus rare ; quelques minutes après, ceux qui s'étaient agenouillés près d'elle virent qu'elle ne respirait plus.

— Que Dieu la mette en son paradis !... C'était une bien belle fille, murmura l'une des femmes.

— Une honnête fille, ajouta une autre paysanne.

— Une malheureuse fille, conclut une troisième en soupirant.

— Plus encore que tout cela : c'était une brave fille ! dit Semenko à son tour, penchant la tête et élevant la voix.

Mais ses derniers mots furent étouffés par un soupir, et deux grosses larmes, larmes de regret et de pitié, roulant lentement sur ses joues flétries, vinrent tomber sur ce front blanc, déjà marbré par le froid de la mort.

Telle fut l'oraison funèbre d'Oxana, la pauvre serve.

XXVII

IL NE FAUT PAS PARLER HAUT AUPRÈS DE CEUX QUI DORMENT.

Dans ce district de la Podolie qui s'étend le long de la frontière turque, le sol blanc et pierreux de la steppe disparaît pour faire place à un limon épais, fangeux, que coupent de larges flaques d'eau, et que recouvrent des roseaux touffus, des lentilles d'eau, des joncs et d'autres plantes de rivière. Dans les endroits où le sol se raffermi, quelques arbres mêmes ont pris naissance : ce sont des saules trapus et vigoureux, des mûriers au feuillage sombre, de robustes églantiers, qui mêlent leurs boutons et leurs épines aux rameaux cendrés de

la saulaie, formant, tous confondus, une verdoyante ceinture à quelques hauts peupliers, balançant leur cime empanachée dans l'air pur, bien au-dessus des buissons.

C'était au bord d'un de ces petits étangs verdâtres que deux vieillards causaient, l'un des derniers jours de septembre 185... Tous deux, assis sur une grosse botte de joncs devant l'une des mares les plus limpides, paraissaient graves et émus, s'interrompant parfois pour jeter un regard soucieux vers l'horizon, que le soleil couchant dorait encore.

L'un de ces vieillards, trapu, petit, large d'épaules, était vêtu d'une *sukmane* brune, grossière, et chaussé de hautes bottes de marais. Tout en causant, il ne restait point inoccupé, car ses mains triaient activement, et divisaient en petits paquets une provision de plomb et de poudre.

L'autre, portant le pantalon large, le bonnet flottant et la veste courte des Cosaques, ne tenait dans ses mains qu'un bâton recourbé, et semblait se reposer au retour de quelque long voyage. Sa haute taille, un peu voûtée, se courbait plus que d'ordinaire, et, de temps en temps, il passait la main sur son front, afin d'en essuyer la poussière et la sueur.

— Et vous dites qu'il est guéri, qu'il se porte bien? demanda-t-il au vieux chasseur, en fixant sur lui un regard plein de sollicitude.

— Aussi parfaitement guéri qu'un homme peut l'être quand il a reçu une balle dans le bras, un coup de baïonnette à l'épaule; qu'il a fui l'espace de soixante

milles et qu'il s'est soigné d'après les conseils du vieux Jérôme, sans avoir recours à quelque diable de médecin... Du reste, vous allez le voir, et vous me direz de ses nouvelles... Mais il dort en ce moment. Faut-il l'éveiller, Semenko?

— Oh! non, Jérôme, ne lui dites rien, j'attendrai... Où dort-il?... Dans la hutte?

— Non, en plein air, ici, parmi les joncs. Venez le voir, vieux camarade.

Semenko se leva et suivit son compagnon. Ils firent quelques pas le long de la rive, et se trouvèrent bientôt près d'une grande touffe de joncs, qui se dressaient comme des palmes, recourbant leur cime en forme de berceau. Jérôme les écarta de la main et y pénétra le premier, avec cette incroyable précaution du chasseur accoutumé aux affûts dans les broussailles. Puis, entraînant Semenko sur ses pas, il fit un geste de la main et lui dit :

— Regardez!

Là, étendu à l'ombre des joncs sur une grossière couverture, Maxime Nekrasa était profondément endormi. Ce n'était plus le jeune et brillant officier que nous avons vu jadis sommeillant, sur une peau de léopard aux griffes d'or, sur le toit de sa terrasse, aux molles clartés d'une belle nuit d'Orient. Au lieu de ses bottes fines, de son élégante tunique à passements dorés, il portait maintenant une grosse sukmane brune et d'informes chaussures, pareilles à celles du vieux Jérôme. Son teint s'était bronzé, son visage avait maigri; quelques rides précoces sur son front s'étaient creusées.

Pourtant Semenکو remarqua avec plaisir que, depuis son départ de Medówka, ses traits s'étaient reposés, ses lèvres et ses joues étaient devenues plus vermeilles. Son maître, tel qu'il le voyait là, avait encore en lui beaucoup de jeunesse et d'avenir. Il comprit tout ceci d'un coup d'œil, et se tourna vers son compagnon en lui tendant la main.

— Je suis content, dit-il, tu l'as bien soigné... Merci, vieux camarade!

— Ah! je n'y ai ménagé ni peines ni soins, à coup sûr... Si tu savais quelles excellentes réflexions je lui faisais, et aussi quels bons petits rôtis de bécasses! « Seigneur hetman, lui disais-je, de la plus belle battue on revient parfois les mains vides. Il n'est pas de bon chasseur qui n'ait manqué son coup. Il ne faut donc pas trop prendre le chagrin à cœur, si de votre première expédition vous êtes revenu avec du plomb dans l'aile. Surtout quand vous aviez à conduire à l'affût des bons à rien, des poules mouillées, qui ne s'entendent qu'à semer leur grain et à lier des gerbes, mais qui ne savent pas même couler proprement une balle dans le canon d'un fusil... Mais attendez, seigneur, laissez faire les Russes. Tandis qu'ici vous guérez, ils pilleront, tueront et fouetteront là-bas; ils feront tant et si bien qu'un jour, pour les exterminer, les petits enfants mêmes se lèveront dans leur berceau, et les pierres marcheront toutes seules. » N'est-ce pas que c'était bien dit, Semenکو? Seulement il me semble que la convalescence aurait marché encore plus vite si tu avais été là pour m'aider. Notre hetman parlait de toi

chaque jour; il craignait que tu n'eusses été attrapé par les Russes. Que faisais-tu donc, Semenko?

— Mon cher, je me sauvais. J'allais de-ci de-là, couchant une nuit dans une meule de foin, la nuit d'après dans un buisson, la troisième dans une grange. Il y avait des agents sur ma trace, vois-tu, et certainement je les aurais conduits ici sur mes talons, si j'étais venu tout droit rejoindre mon maître. Enfin je suis parvenu à dérouter mes coquins. Et alors je n'ai pas perdu de temps pour arriver ici, je t'assure.

— C'est bien; et puisque te voilà, tu vas nous donner des nouvelles de ce qui se passe dans les villages.

— De tristes nouvelles, mon ami, et si je te les confie, à toi, je ne tiens pas du tout à ce que mon maître les entende... Pauvres fous que nous sommes, nos cœurs se sont ouverts, nos bras se sont levés trop tôt. Les os de nos pères ne se sont pas ranimés dans leurs tombeaux, pour nous protéger et nous conduire. Nous n'avons pas pu retrouver leur foi, leur vertu, leur force, comme nous retrouvons parfois, en creusant nos sillons, les marques de leurs combats et les débris de leurs armures. Nous nous sommes levés, nous avons frappé, mais nous n'avons pas combattu longtemps. Il y a eu quelques hommes vaillants qui sont morts délivrés; mais maintenant les Russes fouettent le grand troupeau et enchaînent leurs esclaves.

— Je l'avais bien pensé ainsi, répondit le vieux chasseur. Des soldats et des fusils auront toujours raison de ces pauvres gens de la plaine.

— Écoute, Jérôme, tu as tort de parler ainsi, reprit

Semenko avec tristesse. Tu sais bien que nos pères, dont on raconte les exploits dans les chansons du passé, ont été forts entre les forts, braves entre les braves. Les fleurs de la steppe sont moins nombreuses que leurs combats et leurs victoires; ils ont dominé sur cette terre et sur d'autres, comme les faucons et les aigles dominant sur les plaines du ciel... Et pourtant nous avons été vaincus, et nous nous sommes battus en braves! Et pourtant ils tombent aujourd'hui sans faiblir, sous les coups qui les déchirent, ces Cosaques vaincus, qui ne sont plus que des Cosaques martyrs... Ah! pourquoi suis-je resté le dernier, le seul de ma famille, pour contempler l'Ukraine, notre glorieuse Ukraine, égorgée, et les Russes vainqueurs?... Pourquoi serai-je condamné à dire à mes pères, quand j'irai les rejoindre dans leur tombe, où croît le romarin : « Pères, enfouissez vos os bien profondément dans le sol, pour que vous ne sentiez pas sur eux le pied du maître qui les souille... Il n'y a plus de liberté... Ils sont morts, les derniers Cosaques! »

— C'est bien triste, en effet, mon pauvre Semenko. Mais ce qui doit être bien triste encore, ce sont les ravages et les meurtres que font les Russes, sûrement.

— Hélas! hélas! oui, dit le vieux serviteur, inclinant sa tête grise. Ce que la guerre laisse après elle de sang et de larmes, de victimes et de bourreaux!... Tiens, Jérôme, il n'y a pas quinze jours, j'étais à K..., sur la grande place. Là, on a fustigé, bâtonné nos frères depuis le lever de l'aurore jusqu'au coucher du soleil; là, j'ai vu mourir lentement, sous les coups, une

enfant, une pauvre jeune fille... celle qui avait caché mon maître et qui l'avait aidé à s'enfuir de Medówka... On lui aurait donné sa grâce et une récompense encore, si elle avait voulu parler, dire seulement de quel côté notre maître s'était enfui. Eh bien, elle a tout refusé; elle s'est résignée aux coups, elle a préféré mourir. Et elle est morte en effet, en parlant de mon maître et en le bénissant, la pauvre fille!

En ce moment, un bruissement brusque et confus se fit entendre dans les joncs du rivage, à peu près à l'endroit où Maxime était endormi.

— Qu'est ceci? dit Semenko, en s'interrompant soudain, et en fixant ses regards dans la direction de la rive.

— Peu de chose ou rien, mon vieux : une loutre qui passe ou un vanneau qui s'enlève avec sa couvée, dit Jérôme d'un air indifférent. N'aie pas peur; nous sommes plus en sûreté ici qu'ils ne le sont là-bas... Tu en as dû voir, camarade, de ces massacres, de ces agonies!

— Hélas! reprit Semenko secouant la tête avec douleur, je viens de te conter la mort de cette brave fille; mais j'ai pourtant vu des choses encore plus tristes que celle-là... À Medówka, dans l'instant même où mon maître s'enfuyait pour venir te rejoindre, Jérôme, j'ai vu rapporter le corps sans vie du brave seigneur qui lui avait donné asile, et qui s'était sacrifié pour lui, le croyant au milieu de l'incendie qui dévorait ses granges. J'ai vu la veuve de ce bon père se jeter sur son cadavre, sa fille s'évanouir en baisant son front glacé.

J'ai vu, pour mettre le comble à leur douleur, leur seul espoir, leur dernière consolation, leur frère, leur fils, l'ami de mon maître, emmené par les soldats dans les prisons de Kiew... Et depuis ce temps, à ce que j'ai appris, sa sœur a beau prier, sa mère a beau gémir, ils le retiennent dans une prison dure, l'interrogeant, le tourmentant peut-être, pour lui faire dire où notre hetman s'est caché... Après tout, cela me fait peine assurément; mais j'aime encore mieux qu'ils tiennent le seigneur Alexis que le seigneur Maxime. Le jeune Madejski a toujours été tranquille; on sait qu'il est innocent: ils ne pourront pas le fusiller ni le pendre; tandis que mon cher maître, mon hetman, s'ils le tenaient!... Tiens, je ne peux pas même y penser, Jérôme; il me semble que je vois se lever un fantôme et que mon sang va se glacer.

— Hé! tranquillise-toi, Semenko, il est en sûreté ici; nous le garderons bien, et tu verras qu'un jour encore il fera la barbe aux Russes... Tiens, encore du bruit dans les joncs. Ah! cette fois-ci, voilà le vanneau qui s'envole... Il va sûrement, avant la nuit, chercher la pâture pour sa couvée. Cela me fait penser qu'il est temps de faire comme lui, et d'aller regarder au pot qui bout dans la hutte... Ah! nous serons trois compagnons à présent, mon ami, et ça sera le cas d'entretenir une grande cuisine.

En parlant ainsi, les deux vieillards entrèrent dans la cabane.

Le chasseur surveilla son souper, le serviteur prépara la table, rangea les sièges, les objets épars. Puis,

lorsque les apprêts furent terminés, Semenko, voyant la table couverte et la soupe fumante, secoua la tête d'un air de contentement, et sortit en disant :

— Allons, il est temps de réveiller mon maître.

Mais, au bout d'un moment, le vieux chasseur, qui surveillait à l'intérieur la cuisson de son rôti de cailles, l'entendit se rapprocher de la hutte, en s'écriant :

— Hé, camarade ! viens donc me montrer le chemin ; au milieu de tes joncs et de tes marécages, je ne retrouve plus l'endroit où tout à l'heure mon maître était couché.

— Ah bah ! dit Jérôme, s'avançant au seuil de la cabane. Mais c'était là-bas, vieil aveugle... Tiens, auprès de ce saule qui est à moitié pourri.

— Mais... mais... je suis allé là justement, reprit Semenko d'une voix troublée. Et... je n'ai rien trouvé, rien vu... Mon maître n'y est pas.

— Tu te seras trompé, bien sûr. Mais allons-y ensemble.

Tous deux se dirigèrent en effet vers la touffe de joncs ; tous deux y pénétrèrent. Ils virent bien, au centre, les grands herbages pliés, rompus, la couverture abandonnée ; mais celui qu'ils cherchaient avait disparu.

Ils unirent alors leurs voix pour appeler, pour crier ; mais rien ne leur répondit, que la plainte mélancolique du râle, et le sifflement de la bise qui courbait la tête des joncs.

— Voilà qui est singulier ! se dit Jérôme.

— Non, ce n'est pas singulier ; voilà qui est terrible !

répondit Semenko, secouant la tête et laissant pendre ses mains devant lui d'un air consterné.

— Allons donc!... Vas-tu te mettre du noir dans l'esprit, vieux, parce que ton maître fait une promenade?

— Eh bien, s'il se promène, cherchons-le, trouvons-le alors.

Là-dessus, ils s'éloignèrent de la hutte et du rivage, suivant toutes les sinuosités du marais, fouillant, interrogeant chaque touffe de joncs, chaque groupe de saules, criant, appelant, puis s'arrêtant pour attendre une réponse, et continuant à chercher, sous la clarté des étoiles, qui avait remplacé peu à peu celle du soleil à son déclin.

Mais tout resta muet; leurs recherches furent inutiles. Vers onze heures du soir, ils se trouvaient seuls dans la hutte abandonnée, auprès de la table encore dressée et de l'âtre noirci, éteint depuis longtemps.

— Il se sera promené trop loin, égaré dans les marécages, murmurait parfois Jérôme en regardant son vieil ami. Et il y a des terrains mouvants par ici; il aura pu s'enfoncer dans quelque fondrière.

— Non, non, disait Semenko, secouant tristement la tête. Mon maître est prudent, brave et leste; ce n'est pas à lui qu'un pareil malheur pourrait arriver... Mais il y en a d'autres plus imprévus, plus cruels, et ce sont ceux-là que je crains.

— Lesquels donc, vieux camarade?

— Je ne sais pas, mais j'ai peur, dit Semenko en frémissant. Après cela, tu peux avoir raison : il s'est égaré peut-être... Va, Jérôme, va dormir; moi, je res-

terai debout. Je vais allumer une chandelle devant l'image de la Vierge de Berdyczew, et lui dire une oraison, afin que mon maître revienne.

Quelques instants après, Jérôme, les poings sur les yeux, dormait sous sa couverture. La petite chandelle jetait un pâle reflet sur le manteau bleu de la Vierge et sur les murs de la hutte enfumée. Semenko, pour prier, avait posé son bonnet à terre; ses mains jointes, ses regards, s'élevaient avec ferveur.

Une grande partie de la nuit se passa ainsi, la chandelle brûlant, Semenko priant, quelque plainte d'oiseau de nuit s'élevant au dehors dans les herbes. A la fin, le vieux serviteur, fatigué, appuya ses coudes sur un banc et s'endormit, la tête dans les mains, toujours à genoux devant l'image.

Soudain il fut réveillé, à l'aube, par un bruit de pas s'approchant de la porte de la hutte. En un clin d'œil il fut sur pied, s'écriant :

— C'est mon maître qui revient.

Mais, lorsqu'il eut ouvert la porte, il ne vit paraître devant lui qu'un jeune chasseur inconnu, portant, comme son vieux collègue, une grosse sukmane brune et d'épaisses bottes de marais.

— Vous êtes le Cosaque Semenko ? dit le jeune garçon en portant, par respect pour le vieillard, sa main à son bonnet de loutre.

— Oui, jeune homme, qu'y a-t-il ?

— Hier soir, vieux camarade, on m'a chargé d'un message pour vous, et je viens m'en acquitter bien vite. J'ai rencontré là-bas, auprès de la grande île, un

homme qui marchait vite et paraissait très pressé. « Arsène, mon garçon, m'a-t-il dit, fais-moi le plaisir d'aller demain chez Jérôme... Il y a là un vieillard, mon ami, mon bon père ; je veux qu'il sache ce que je suis devenu. Tu le reconnaîtras aisément : il est de haute taille, porte une longue barbe grise, et s'appelle Semenko. Tu lui diras que — je le sais maintenant — là-bas on meurt pour moi ; pour moi l'on souffre et se dévoue... Je ne mérite pas qu'on fasse pour moi de tels sacrifices, et il en est encore que je puis empêcher... Je pars dans ce but. Dis bien à mon père, Arsène, que si je ne l'ai pas embrassé avant mon départ, c'est que je voulais me taire et ne pas déchirer son cœur. Et puis, il aurait cherché à me retenir, et c'eût été lâche ! Je fais à présent mon devoir, comme il a fait le sien. Nous sommes tous les deux de bons et vaillants Cosaques. » Là-dessus, le camarade m'a pris la main, m'a regardé un moment, puis m'a tourné le dos et s'est éloigné à grands pas.

Le jeune homme avait achevé son récit ; il attendait une réponse, un remerciement, et les deux vieillards restaient muets, joignant les mains dans leur stupeur et courbant le front en silence.

Enfin Semenko, le premier, s'écria avec des sanglots :

« Il est parti, il est perdu ! Il est allé se livrer aux Russes... O mon hetman, mon nourrisson, mon fils ! il me laisse seul, il m'abandonne ; il ne m'a pas même permis de le suivre et de mourir avec lui ! »

Et le vieillard, défaillant, appuya sa tête grise aux parois de la hutte, pour qu'on ne le vît pas pleurer ; se

tenant là debout, immobile, silencieux, agité seulement de temps à autre par quelque sanglot qui gonflait sa poitrine. Jérôme et son jeune compagnon, émus de ce désespoir, n'osaient troubler cette douleur, qui ressemblait si fort à la douleur d'un père.

A la fin, Semenko se retourna et murmura d'un air sombre :

« C'est moi qui l'ai perdu ! C'est à cause de moi qu'il mourra : j'ai parlé !... Ah ! vieux fou, vieil imprudent, ne devais-tu pas te taire ? Les autres pouvaient souffrir, et mourir, et tomber ; ils ne sont pas, eux, le sang, le dernier sang de nos hetmans. Mais lui, qui nous est resté seul, qui ne laissera pas de fils pour conserver son nom et venger sa défaite !... Lui, il fallait le tromper, le sauver, l'entraîner loin d'ici !... Ah ! insensé, ah ! maudit, tu l'as trahi, vieillard !... tu ne fourbiras plus son épée, tu ne baiseras plus sa main... Va, au moins, va, malheureux, recueillir son sang vermeil et ensevelir son cadavre ! »

Et Semenko, achevant ces paroles, les yeux fixes, serrant les poings, jetait son bissac sur ses épaules, nouait autour de lui sa ceinture, et reprenait dans un coin son bâton de voyageur.

— Que faites-vous ? Où allez-vous ? demandèrent Jérôme et Arsène.

— Je le suis, répondit le vieillard. Si l'on ne veut pas me faire partager sa prison, il faudra du moins que je veille sur sa tombe.

Le son de sa voix était si résolu et si étrange, le feu de ses regards si sombre et si étincelant, que les

deux chasseurs n'essayèrent pas de le retenir, voyant bien que leurs instances seraient inutiles. Il leur dit adieu d'un geste de la main, releva sa ceinture autour de sa taille, et disparut parmi les hautes herbes du marais, marchant dans la direction de la chaussée de Kiew, qui s'étend vers le nord.

XXVIII

AUX MAINS DES RUSSES.

Kiew, la brillante et la bien parée, Kiew, la capitale antique, n'a pas seulement sa Lawra à coupole d'or, son Dniéper aux flots bleus, son jardin de Saint-Wladimir aux ombrages verts. Elle a aussi son lugubre édifice, citadelle en temps de guerre, prison en temps de paix, et dont on ne sort guère que par deux tristes chemins : la route de la Sibérie, la porte de la tombe.

Alexis se trouvait dans une des cellules de cette prison, depuis bien des jours, seul avec sa douleur, seul avec ses souvenirs ; et il y serait resté sans consolation et sans secours, si l'esprit de Dieu n'y était en même temps descendu. Mais le jeune croyant voyait s'ouvrir pour lui d'abondantes sources de force et de vie, auxquelles, lorsqu'il se sentait las et faible, il allait largement puiser ; promesses de bonheur et de consolation bien faites pour élever l'âme au-dessus de ses langueurs et le corps au-dessus de ses chaînes.

Cependant, le système pratiqué dans l'intérieur des prisons russes était des plus ingénieux lorsqu'il s'agis-

sait de troubler et d'affaiblir l'énergie des prisonniers. De quart d'heure en quart d'heure, pendant le jour, le guichet pratiqué à la porte du cachot d'Alexis s'entr'ouvrait, et laissait apercevoir une face de soldat kalmouk, brute ou féroce, railleuse ou stupide. Ses petits yeux mongols se plongeaient avec une curiosité maligne dans le réduit du prisonnier ; ils semblaient chercher la trace de ses larmes, s'égayer de sa lassitude et de sa pâleur, compter sur son front les plis que la souffrance et l'ennui avaient tracés depuis la veille... Quelquefois les gestes se mêlaient aux regards, le Kalmouk taquin levait la main et tendait le dos, pour annoncer à son captif le bâton ou les verges ; d'autres fois, passant la main autour du cou et tirant la langue, il lui prophétisait la potence, ou faisait mine de le coucher en joue, lui envoyant, au lieu de balle, quelque injure grossière ou quelque sourire insultant.

La nuit était, pour les prisonniers, l'occasion d'un nouveau supplice. On ne leur accordait même pas l'humble douceur du sommeil. A toutes les heures, et parfois plus souvent, de nombreuses patrouilles parcouraient les corridors, laissant retomber pesamment les crosses des fusils sur les dalles et tirant bruyamment les verrous. Puis ces soldats grossiers, criards et souvent ivres, pénétraient en tumulte dans le cachot du prisonnier, fouillant dans tous les coins, se heurtant à tous les objets, et promenant la clarté de leurs torches sur son visage... Peut-être en ce moment le malheureux était enlevé par un rêve aux tristesses de sa prison ; peut-être croyait-il revoir autour de lui les champs et

le foyer natal, auprès de lui les figures bien-aimées. Mais le bruit des pas et des verrous l'arrachait à ce doux songe : ce qu'il voyait en s'éveillant, ricanant près de la porte ou penchées sur son grabat, c'étaient ces faces de soldats et de geôliers, niaisés ou farouches, s'agitant sournoisement dans l'ombre comme des profils de démons.

Pendant les premiers jours de sa captivité, Alexis fut laissé à lui-même. On semblait l'oublier ; mais, en réalité, on cherchait seulement à assouplir son caractère, à ébranler sa fermeté, par les premiers ennuis de la prison. Trois semaines après son arrestation, il fut conduit devant le conseil de guerre, qui lui fit subir son premier interrogatoire. Ses juges admettaient bien, ce qui était prouvé jusqu'à l'évidence, qu'il n'avait pris aucune part active au soulèvement. Mais il avait pu y contribuer *moralement* par son influence, par ses conseils, surtout par l'abri et les secours qu'il avait accordés à Maxime. Telle était l'unique faute qu'on lui reprochât ; aussi ses juges lui promettaient de le traiter avec une grande clémence s'il consentait à leur faire connaître la retraite de Nekrasa.

— Je n'ai rien à vous dire ; je ne la connais point, répondit Alexis.

Ensuite il se tut, et ni les insinuations, ni les conseils, ni les menaces ne purent lui arracher un mot. Quand même il eût deviné l'endroit où se cachait Maxime, il n'aurait pu avoir un seul instant la pensée de trahir un ami, celui qui l'avait sauvé et pour qui son père était mort.

Le chef du conseil alors, voyant qu'il persistait dans son silence, lui annonça qu'il allait être mis pour quinze jours aux fers, non point dans son ancienne cellule, mais dans un cachot souterrain où l'on enfermait les prisonniers récalcitrants. A l'instant, de gros anneaux, ajustés au bout d'une chaîne pesante, furent cadénassés à ses pieds et à ses mains, comme des doigts de fer cherchant à l'entraîner dans le royaume des ombres et de la mort.

Il se trompait peu assurément : le cachot où on l'enferma ne valait guère mieux qu'un sépulcre. Bas, étroit, voûté, plein de moisissure et d'ombre, à peine éclairé par un mince filet de lumière venant, non de la cour ni des fossés, mais d'un long et obscur corridor, il environnait ses tristes habitants d'un linceul de demi-ténèbres. Celui qui y pénétrait devait dire adieu à l'air, au soleil, au jour, au bruit, à tous les signes extérieurs de la vie d'ici-bas. Puis, par un ingénieux raffinement de cruauté, dans l'angle même où le prisonnier était retenu par sa chaîne à un gros anneau de fer scellé dans le mur, la voûte, mal cimentée et située précisément au-dessous d'une des fontaines de la citadelle, laissait incessamment filtrer l'eau goutte à goutte ; et cette pluie, froide et lente, glaçait jour et nuit les membres et mouillait la couche du prisonnier.

C'était là pour le malheureux un véritable supplice. Lorsque le sommeil le gagnait, il avait beau étendre en tous sens, sur sa botte de paille, ses membres roidis ou lassés, ou se ramasser sur lui-même, ou se tapir le long du mur, il ne pouvait échapper au fléau : sa chaîne

était trop courte et la place trop ingénieusement choisie. Toujours les gouttes d'eau tombaient, régulières, lentes et glacées. Elles rejaillissaient sur son corps et le faisaient tressaillir au moment où il cessait de frissonner, glaçant ses membres, rouillant ses chaînes et chassant loin de lui le sommeil sous leur impitoyable régularité.

Le jeune homme passa cinq ou six nuits sans dormir, frissonnant, grelottant sous l'implacable ondée. Après cela il dormit, car ses membres commençaient à devenir froids, roides et insensibles comme les dalles de sa prison.

Enfin, au bout de cinq semaines d'épreuves, les membres du conseil résolurent de procéder au dernier interrogatoire d'Alexis.

On vint chercher, un matin, le jeune prisonnier ; on détacha ses chaînes de l'anneau fixé au mur, et on le conduisit dans la pièce où l'attendaient ses juges.

Plus vaste, plus longue et plus lugubre peut-être qu'une cellule ordinaire, cette salle, à l'exception de l'endroit où se tenait les juges, était plongée dans une demi-obscurité. Mais, à travers la perspective incertaine et brumeuse, le regard distinguait vaguement, et l'esprit devinait encore mieux çà et là, étendus à terre ou suspendus aux murs, des objets affreux et terribles : fouets, verges, marteaux, tenailles, haches, cordes, énormes clous.

Les juges ne paraissaient point voir tout cet arsenal de douleurs ; ils se tenaient paisiblement assis autour de la table couverte de serge verte, devant leurs écritures et leur papier timbré, causant entre eux, se pen-

chant pour se glisser quelques mots à l'oreille, fixant des regards railleurs ou sévères sur le pâle visage du prisonnier.

Avant de pénétrer dans cette salle, Alexis avait distingué tout d'abord un bruit régulier, se faisant entendre à intervalles égaux, comme celui d'un balancier mis en mouvement, ou de fléaux frappant sur l'aire. Et, lorsqu'il fut introduit dans la chambre du conseil, il jeta aussitôt les yeux du côté d'où venait ce bruit.

A l'extrémité la plus sombre de cette galerie, un homme demi-nu était couché à plat ventre et garrotté sur un banc. Près de lui, deux soldats, tenant en mains des bâtons ronds et courts, le frappaient à tour de rôle. Un bâillon étreignait fortement la bouche de ce malheureux, pour que ses plaintes ou ses cris ne troublassent pas l'interrogatoire. Seul, le bruit régulier des bâtons, que terminait invariablement une sorte de soupir, s'élevait au milieu de ce silence navrant, et semblait scander la parole des juges.

— Accusé, la solitude et la nuit du cachot vous ont-elles bien conseillé? demanda à Alexis le président du conseil, en lui (faisant signe) d'approcher. Êtes-vous disposé aujourd'hui à nous faire connaître la retraite du rebelle Maxime?

— Je ne le puis pas plus aujourd'hui qu'alors, car je ne la connais pas, répondit Alexis tranquillement.

— Songez que vous avez une mère, reprit un autre conseiller; une mère dont vous êtes le fils unique et dont vous devriez être l'unique consolation... Elle se meurt en ce moment. Voulez-vous être libre? voulez-

vous parler, pour que vous puissiez la retrouver, pour qu'elle vous revoie et vous bénisse ?

Ah ! c'étaient là des paroles bien cruelles et auxquelles Alexis pouvait croire aisément. Sa pauvre mère, qu'il avait laissée malade, défaillante, à son départ de Medówka, n'avait-elle pas dû, depuis lors, s'affaiblir, décliner dans son isolement, son deuil et sa souffrance ?... Oh ! que n'aurait-il pas donné pour en recevoir encore un regard, un baiser, une dernière bénédiction pieuse et tendre ! Mais il ne pouvait pas acheter ce triste bonheur au prix d'un mensonge ou d'une lâcheté.

« Hélas ! pensa-t-il, encore un sacrifice !... Ce sera le dernier, et vous en avez bien fait d'autres, ô mon Dieu ! »

Dans le premier moment, son front avait pâli, ses yeux s'étaient voilés. Mais il se remit bientôt et répondit d'une voix triste et ferme :

— Je ne sais rien et je ne puis rien dire... Oserais-je demander à ma mère de me bénir si, pour la revoir, j'avais menti ?

Un moment, les juges se turent et s'entre-regardèrent. Puis le président fit un geste de la main, comme pour indiquer que, désormais, le temps des instances et des conseils était passé.

— Puisque vous persistez dans votre silence, dit-il, ne vous en prenez qu'à vous-même si nous sommes forcés d'employer la rigueur... Vous voyez ce misérable qui souffre et soupire là-bas ? Il est justement puni pour avoir voulu se taire. Vous gémez tout à l'heure et vous souffrirez comme lui.

— Ma vie est entre vos mains, répondit Alexis froidement. Seulement, je ne m'attendais point, je l'avoue, à mourir sous le bâton... Je dois vous rappeler que je suis gentilhomme.

— Il est vrai qu'à votre égard l'arrêt de dégradation n'a pas encore été prononcé. Mais nous avons, par la permission de l'empereur, au service de l'instruction, des procédés suffisants pour engager à parler les gentilshommes qui veulent se taire.

Alexis s'inclina en signe d'assentiment et ne répondit plus. Si une sombre image en ce moment se présentait à son esprit, ce n'était pas celle de la douleur et des tortures, mais bien celle de sa mère, qui allait mourir loin de lui en se plaignant d'être à la fois veuve et délaissée.

Le président fit un signe, et quatre vigoureux soldats, ou valets de bourreau, entourèrent le jeune homme, puis le garrottèrent solidement à un pieu scellé au milieu de la salle. Ensuite, ils ouvrirent les anneaux des chaînes fixées à ses poignets, et l'un d'eux prit entre ses deux mains noires et velues une des mains délicates du jeune seigneur. Son camarade, qui s'était un peu éloigné, reparut, portant une paire d'épaisses tenailles.

Après s'être arrêté en face du jeune homme, il se retourna vers le président et sembla le consulter du regard.

— Faites, lui dit celui-ci d'une voix ferme et claire. Puis il se remit à causer avec un de ses collègues, traçant machinalement, du bout de sa plume, de capricieux méandres dans le sable rose du poudrier.

L'un des exécuteurs éleva alors la main d'Alexis et la présenta aux tenailles. L'horrible pince en saisit un des ongles, le serra, l'ébranla, le harponna, faisant jaillir le sang et déchirant les chairs, et l'emporta enfin, laissant la phalange nue, sanglante et mutilée.

• Alexis n'avait pas fait un mouvement, pas poussé un soupir. Détournant son regard de sa main déchirée et meurtrie, il cherchait des yeux, à travers la demi-obscurité, cet autre martyr, cet inconnu, ce frère en souffrance, sur lequel les coups tombaient toujours et dont les soupirs devenaient moins articulés, plus faibles.

Alors le président prit de nouveau la parole :

— Accusé, demanda-t-il, persistez-vous à vous taire ?

— Je n'ai rien à dire, répliqua Alexis, et l'aspect de la mort elle-même ne pourrait pas me faire parler.

— Alors, continuez, dit le représentant de la justice.

Et le tourmenteur approcha ses pinces pour la seconde fois de la main délicate et meurtrie, qui commençait à bleuir, et dont le doigt déjà dénudé laissait couler de longs filets de sang. Mais au moment où elles recommençaient à en fouiller la chair, des pas précipités retentirent à l'extérieur, et on frappa vivement à la porte.

Un soldat s'empressa d'ouvrir; un aide de camp parut en grand costume, tenant à la main une lettre cachetée et annonçant à haute voix :

— Un message pressant du gouverneur de Kiew.

Le président prit la missive, la lut attentivement et parut étonné. Alors il se pencha pour la montrer à ses collègues et, pendant quelques instants, causant à voix

basse, sembla en délibérer avec eux. Puis il releva la tête, et s'adressant aux tourmenteurs :

— Laissez ce jeune homme en repos ; nous n'avons plus besoin de le faire parler, dit-il. Qu'on le reconduise sur-le-champ, non pas dans son cachot, mais dans son ancienne cellule.

On délia Alexis, on lui enleva ses fers et on le ramena dans sa première demeure, où il retrouva avec délices un jour clair, un peu d'air pur, un pavé sec, un lit de paille bien fraîche. Avant de sortir, un soldat compatissant lui banda la main d'un mouchoir ; puis il resta seul, se demandant pour quel motif on avait si promptement interrompu son supplice.

Il en aurait compris la raison si, s'arrêtant un instant à la porte de la salle de torture, il eût pu entendre un des juges s'écrier, de l'accent du triomphe et du désir satisfait : « Enfin, nous le tenons !... Il faut qu'il ait eu vraiment la rage de mourir pour venir ainsi se livrer lui-même !... Ma foi, c'est un fameux fou ; ce n'est pas seulement un fameux bandit. »

Il l'aurait compris mieux encore s'il avait pu, deux heures plus tard, jeter un regard dans son récent cachot et y voir son ancien compagnon, son ami, le descendant des hetmans et l'idole des Cosaques de la steppe, le beau, le brillant, l'intrépide Maxime Nekrasa, étendu sur la paille humide et frissonnant sous la froide ondée.

XXIX

LE MESSAGE DE DÉLIVRANCE.

Dans les premiers jours de novembre, les portes du dwór de Medówka se rouvrirent; et ses cheminées recommencèrent à envoyer vers le ciel leurs panaches de fumée grise, annonçant que le mouvement et la vie revenaient dans la maison. La grande chaise de poste de famille, autrefois si pleine, hélas! mais ne contenant plus que deux femmes en grand deuil, revint un jour s'arrêter devant le perron. Sophie, si douce et si pâle sous ses vêtements noirs, en descendit d'abord, puis tendit les bras pour aider sa mère. Et quand la pauvre malade, faible et chancelante encore, fut descendue, sa fille l'entraîna promptement dans l'intérieur de la maison, avant qu'elle eût le temps de jeter un regard derrière elle, sur le toit de la grange, encore noir et aux trois quarts démoli, depuis le jour où avait commencé leur deuil.

A quoi bon, en effet, rester à Kiew? On ne lui permettait pas de voir son fils, à cette pauvre mère; les grands murs blancs de la citadelle mettaient une barrière infranchissable entre elle et son dernier trésor. Alors elle avait dit à sa fille :

— Sophie, je me sens plus forte, et il ne me faut que la retraite et la paix. Si nous retournions à Medówka?... Nous y serions moins seules qu'ici, car nous y retrouverions notre chère tombe.

Et Sophie y avait consenti, car elle n'avait plus qu'un seul désir : celui de soutenir et de consoler sa mère.

Les deux dames vivaient à Medówka dans une solitude profonde.

Cependant, un jour, M^{me} Madejska, après un léger repas, s'était retirée pour se reposer une heure ; une femme de chambre entra dans la pièce où se trouvait la jeune fille et lui dit précipitamment :

— Mademoiselle, venez vite... Il sera ici dans un instant. Son *kocz* est déjà dans l'allée.

— Qui donc ? demanda Sophie en tressaillant, car désormais la pauvre fille n'attendait plus personne.

— Le colonel Steinköller... Si vous voyiez comme il presse ses chevaux !

— C'est bien, dit Sophie ; j'y vais. Qu'on ait soin d'attendre un peu avant d'éveiller ma mère.

Elle se rendit au salon, où le colonel avait été introduit. Son cœur battait, ses joues étaient glacées. Elle allait lui tendre la main, le faire asseoir près d'elle, à la place qu'aurait dû occuper le père, le frère ou l'ami d'enfance... Hélas ! tous étaient partis, tous étaient perdus pour elle, et celui-là seul qui restait, dont la venue lui causait une émotion certaine, elle l'estimait, elle le remerciait du fond du cœur, mais c'était là tout. Et Sophie savait bien que le colonel espérait mieux.

— Ah ! je suis bien heureux aujourd'hui ! s'écria-t-il lorsqu'elle entra, courant au-devant d'elle.

— Vraiment ?... C'est une bonne nouvelle ?

— Oui, une excellente. Avant peu vous embrasserez Alexis.

— Ainsi, dit-elle, en levant sur lui des regards émus, vous avez réussi à me rendre mon frère ?

— Hélas ! mademoiselle, ce n'est pas à ma faible influence qu'était réservé ce bonheur... Mon père et moi, nous avons beau employer tout notre crédit, multiplier les démarches, nous n'obtenions que de vagues promesses, restées sans effet jusqu'à ce jour... Je ne sais vraiment pas comment auraient tourné les choses si quelque autre ne s'en était mêlé, quelqu'un qui est, dans ce cas, beaucoup plus influent que nous... celui qu'on cherchait si bien... le capitaine Maxime...

— Maxime ? interrompit Sophie, en se détournant pour cacher sa pâleur.

— Oui, le chef des insurgés. Il était probablement las d'errer de côté et d'autre, traqué qu'il était comme une bête fauve ou comme un bandit. Il a préféré en finir : il est venu se livrer lui-même.

— Il... s'est livré !... murmura la jeune fille, qui, se sentant faiblir, s'appuyait au dossier d'un fauteuil.

— Oui, il y a deux jours... Dès ce moment, votre frère a cessé d'être au secret ; j'ai pu le voir hier, causer avec lui, lui porter des livres. Je suis presque certain de pouvoir, la semaine prochaine, obtenir pour lui un ordre d'élargissement.

— Oh ! colonel, vous êtes bien bon ! répondit Sophie, dont la voix faiblissait. Et savez-vous... pourriez-vous me dire... ce qu'on a fait... de l'autre ?

— De l'autre ?... du Balagoule, de Maxime Nekrasa ? Ma foi, on l'a jeté au cachot, et je crois qu'il a déjà subi un interrogatoire.

— Et savez-vous... quel sort lui sera réservé ?

— La mort assurément, comme au chef de la révolte... Mais vous pâlissez, vous paraissez souffrir, mademoiselle Sophie... Ah ! pardon, j'oubliais... ne le connaissiez-vous pas, ce rebelle, ce Maxime ? Et lorsqu'il a ramené votre frère ici, à Pâques, ne m'a-t-on pas dit qu'il avait jadis été admis dans votre maison ?

— Il était... mon ami d'enfance, voilà tout, répondit Sophie, attachant un regard triste sur le visage du colonel.

— Et cette amitié, je le vois, ne s'est pas effacée de votre souvenir... Quoi ! pas même lorsque ce jeune héros faisait un long séjour et de brillantes prouesses au Caucase ?

— Colonel, vous raillez un malheureux, un prisonnier, un homme qui va mourir... C'est mal ! J'avais jugé autrement de la générosité de votre cœur, répliqua Sophie, les yeux baissés et les lèvres tremblantes.

— Oui, je le reconnais, j'ai tort... Ah ! que les hommes deviennent petits et méchants quand le dépit s'en mêle !... Tenez, mademoiselle, je vais vous dire ce qui m'a rendu si impitoyable tout à l'heure... C'est que, vous le savez bien, je vous aime ; je me suis rappelé votre promesse, l'espoir que vous m'avez laissé concevoir, et il m'a semblé que... que cette promesse était fausse, que cet espoir était vain, lorsque je vous ai vue vous attendrir en pensant au destin du capitaine Maxime.

Sophie garda un instant le silence, les yeux toujours baissés, les joues couvertes d'une vive rougeur. Puis,

comme si elle eût pris une résolution subite, elle releva la tête et fixa sur le colonel Gustave ses regards encore troublés.

— Je vous ai fait une promesse, en effet, dit-elle, et c'est pour cette raison que je ne veux pas vous tromper. Si je dois vous donner ma main un jour, je ne puis pas le faire sans vous avoir d'abord ouvert mon cœur. Je vais vous dire la vérité, rien que la vérité, toute la vérité, quoi qu'il m'en coûte. Serais-je digne de votre affection si j'étais capable de mentir ?

Le colonel, un peu effrayé par la solennité du début, pâlit et s'inclina en silence. Sophie reprit alors, d'une voix qui tremblait :

— Dans cette vieille maison, que vous voyez si triste aujourd'hui, nous avons passé, Maxime et moi, les plus beaux jours de notre enfance. Nous grandissions ensemble, nous nous quittions rarement, nous nous entendions toujours... Il m'était aussi cher qu'Alexis ; seulement je ressentais pour lui un autre genre de tendresse. Il me semblait que ma vie serait vide et inutile si elle n'était pas attachée à sa vie : je ne concevais pas d'autre bonheur que celui de l'aimer, de le protéger, de le servir... Lorsqu'il a grandi, lorsqu'il nous a quittés, j'ai cru qu'on m'enlevait tout ce qu'il y avait de plus vivace en mon cœur ; il me restait seulement je ne sais quelle vague espérance... Aussi, lorsque je l'ai revu, combien je me suis trouvée heureuse !... Lui aussi s'était souvenu de moi... il me le disait, du moins. Et alors il paraissait rêver un sort tranquille, une vie calme et douce ; il ne révélait rien de ses projets de révolte, de

ses desseins généreux, mais, hélas ! insensés... Alors il m'avait demandé si je consentirais, comme par le passé, à unir mon sort au sien, à embellir sa vie... Je lui avais dit : Oui ! Répondre autrement, c'eût été mentir. Mais lorsque, encouragé par mon aveu, il alla demander ma main à mon père, il n'obtint qu'un refus... Mon père avait cru voir en lui des dispositions dangereuses, des habitudes coupables. Il ne voulut pas me donner à lui, craignant d'exposer mon bonheur... Colonel, je me suis soumise ; seulement j'ai bien pleuré. A partir de ce moment, je n'ai plus échangé un seul mot, un seul regard avec l'ami de mon enfance... Mais je n'ai pas encore pu l'oublier... et à présent... à présent qu'il souffre et que je sais qu'il va mourir, je souffre avec lui, et pour lui je tremble et je pleure.

En achevant ces mots, Sophie laissa tomber sa voix, pâlit et baissa les yeux. Mais le colonel, lui prenant la main, lui parla d'une voix douce :

— Il n'y a rien en tout ceci qui puisse vous faire rougir, dit-il. Une affection enfantine, un amour pur, comme en rêvent les jeunes filles. C'est charmant à ébaucher, mais cela ne peut jamais aboutir... Bien loin de blâmer l'affection naïve que vous venez de me peindre si éloquemment, je la comprends, je la respecte. Tout ce qui m'afflige, c'est que cette affection vous a déjà fait souffrir, et vous fera probablement souffrir encore... S'il y avait moyen d'en diminuer pour vous l'amertume, de vous consoler un peu ?... Voyons, si, par quelque hasard, quelque faveur extraordinaire, que je ne puis cependant vous garantir,

ce monsieur Nekrasa obtenait qu'on lui laissât la vie, vous me promettez sincèrement que vous ne cherchiez point à le voir ?

— Même avant de vous avoir rien promis, je lui avais dit, dans mon cœur, un éternel adieu. Les volontés de mon père me sont restées sacrées.

— Et... vous auriez beaucoup de reconnaissance, et un peu d'affection, pour celui qui lui sauverait la vie ?

A ces paroles du colonel, Sophie, profondément étonnée, se pencha en avant, le regardant avec émotion et mettant sa main dans la sienne :

— Vous feriez cela, vous ? dit-elle. Vous voudriez, par amour pour moi, sauver Maxime, ne vous contentant point de nous rendre Alexis ?

— Pour l'amour de vous, Sophie, je voudrais faire plus encore.

— Oh ! colonel, vous êtes bien noble, bien bon... Vous méritez que, chaque jour, du fond de mon cœur, je prie pour vous et vous bénisse... Oh ! oui, sauvez-le, sauvez-le, je vous en prie ! Et ensuite demandez-moi ce que vous voudrez, ma main, ma parole, ma vie, en échange.

— Pour Alexis, la réussite est sûre ; pour Maxime, je vous promets d'essayer, dit Gustave en se levant. Aussi vais-je me hâter de retourner à Kiew. Espérez et comptez sur moi. Tout ce que ma voix peut avoir d'influence, ma position de crédit et mon âme de volonté, je l'emploierai pour ceux auxquels vous vous intéressez, Sophie.

Un sourire reconnaissant le remercia de ces paroles,

et Gustave, pour la première fois, s'en alla tout joyeux.

— Encore un peu de patience, un peu de volonté, se dit-il, et j'aurai conquis son cœur. »

Et il était fermement résolu à le conquérir, ce pauvre cœur affligé. Jadis, il avait aimé Sophie par caprice, par vanité, se disant qu'entre toutes ses égales, elle était certainement la plus belle ; qu'en outre elle était difficile à obtenir, et qu'à tout autre que lui on la refuserait probablement. Puis étaient venus les mauvais jours, les tristes jours, pour Sophie, et, en présence de ces malheurs noblement supportés, l'amour du jeune homme était devenu plus pur, plus profond, plus sincère. Tout ce qu'il y avait de noble et de bon en lui s'était soudainement réveillé, à l'aspect de cette douleur.

Aussi, en ce moment, bien loin d'être blessé de l'aveu de Sophie et irrité contre Maxime, il se sentait porté à la générosité, au dévouement. Puis un secret instinct d'égoïste lui disait, en même temps, qu'en ce cas la grandeur d'âme était de la haute politique. Il ne désirait point la mort de son rival : l'exil ou la détention perpétuelle le débarrasserait également de ce compétiteur, et le servirait beaucoup mieux. Sophie en viendrait à l'amour à force de reconnaissance. Il mettrait dans sa corbeille de noces la vie de Maxime, pour plaire à sa fiancée, et celle-ci, en revanche, se trouverait obligée d'y mettre son cœur. Ainsi Steinköller, en calculant beaucoup et s'attendrissant un peu, s'occupait des moyens de tenir loyalement sa promesse.

Pendant ce temps, à Medówka, Sophie attendait,

tremblait, comptait les heures et puis les jours, sans rien confier de ses angoisses à sa mère.

Elle avait passé ainsi dix jours bien pénibles, dans cette triste attente, lorsqu'un matin le colonel reparut et demanda à la voir seule quelques instants. Elle courut à lui et se mit à trembler en le voyant préoccupé et sérieux.

— Voici l'ordre d'élargissement d'Alexis, dit-il en lui mettant un papier cacheté dans la main. Vous pouvez, avec votre mère, le porter à la prison, et vous aurez le plaisir de ramener vous-même votre cher prisonnier. Maintenant, quant à Maxime...

Ici, il s'interrompit un moment, prit la main de la jeune fille et la fit asseoir sur un canapé.

— Maxime, reprit-il, a été condamné à mort, comme je m'y attendais. Tous mes efforts n'ont pu l'empêcher... Mais ne vous affligez pas, Sophie... Voici quelque chose encore que je vous apporte : c'est un ordre de surseoir à l'exécution, afin de pouvoir obtenir du condamné des renseignements précieux... Ceci est pour la forme, car on ne l'interrogera plus... Mais ne vous y trompez pas, un sursis, c'est la vie pour Maxime. Ici, vous le comprenez bien, mes moyens d'action étaient bornés, et le temps me manquait pour faire jouer les ressorts dont je puis user en sa faveur. Mais que j'aie devant moi un délai de quelques semaines, et alors je redeviens puissant, je puis tout espérer... En ce moment même, mon père achève à l'étranger d'importantes négociations diplomatiques, qui, grâce à lui, ont été couronnées d'un plein succès. On l'attend à Péters-

bourg, et l'empereur lui offrira certainement une brillante récompense... Je préviendrai mon père ; il demandera la vie de Maxime... Me comprenez-vous, Sophie ? Êtes-vous rassurée maintenant ?

— Oûi, je vous comprends... et je vous remercie, balbutia-t-elle, tremblante, et les joues couvertes d'une mortelle pâleur.

— Vous me remerciez, mais vous tremblez encore... Sophie, je vous en prie, prenez courage ; ayez quelque confiance en moi. Tenez, voici l'ordre de sursis que je vous ai apporté, afin que vous puissiez le lire.

La jeune fille prit le papier, puis, le rendant au colonel, lui dit d'un ton mal assuré :

— Oûi, oui, je vois bien que vous dites la vérité ; que, grâce à ce papier, ils ne le tueront pas encore... Mais, colonel, je vous aurais cru sans voir cet ordre. Pourquoi me l'avoir apporté ? Il valait mieux le remettre aussitôt au gouverneur de la prison, à Kiew.

— Mais c'est que précisément Maxime n'est plus à Kiew, répondit Gustave. Il devait être, par ordre supérieur, jugé et exécuté sur les lieux mêmes où a éclaté la révolte. On l'a donc transféré à K..., où Alexis a été conduit aussi, pour quelques confrontations qui n'ont produit aucun résultat, je n'ai pas besoin de vous le dire. Les deux captifs ne sont donc séparés que par quelques murailles de cachot, et le messenger qui ira porter ces ordres au chef de la prison, rendra en même temps la liberté à l'un et la vie à l'autre...

— Oh ! alors, reprit-elle encore troublée, il nous reste à choisir un exprès et à l'envoyer bien vite ! Pen-

sez-y donc, colonel, ce papier que vous tenez là, c'est sa vie ! S'il allait arriver trop tard !... Oh ! je vais chercher un messenger et l'expédier à l'instant.

Elle allait quitter le salon, quand le colonel la retint doucement :

— Il est inutile d'envoyer cet ordre ce soir, dit-il, la journée est trop avancée. Votre messenger se perdrait en chemin ; la nuit est noire et la neige tombe. A un traîneau léger, attelé de trois bons chevaux, il faut quatre heures au moins avant d'atteindre la petite ville. Que votre envoyé parte demain au point du jour ; il sera rendu à K... vers neuf heures, pour l'audience du directeur de la prison.

Sophie avait repris sa place et écoutait le colonel ; mais elle hésitait encore.

— De plus, continua Gustave, si vous n'avez pas de messenger dont vous puissiez être très sûre, je vais vous en indiquer un... Voulez-vous le voir, l'interroger ? Je l'ai amené ici... C'est un singulier homme, allez : un patriote enragé, un vieux Cosaque. Je l'ai trouvé un matin à la porte des prisons de Kiew, conjurant, maudissant, priant les sentinelles de l'arrêter, lui aussi ; disant qu'il s'était insurgé, qu'il avait suivi son hetman Nekrasa et qu'il voulait mourir avec son maître... La requête m'a semblé des plus bizarres, mais le zèle m'a paru des plus sincères... Or, comme les soldats railaient le pauvre vieux et ne voulaient ni l'entendre ni l'admettre, car, entre nous soit dit, les cachots sont déjà pleins, je l'ai pris en pitié, je lui ai dit que, moi aussi, je m'intéressais à son maître ; je l'ai entraîné

chez moi et je l'ai fait parler... Il s'est trouvé ici, il connaît votre famille, et à cause de cela, je l'ai amené aujourd'hui. Voulez-vous que je le fasse monter ?

— Oui, appelez-le, colonel, je vous en prie.

Gustave sonna et dit quelques mots à son domestique. Bientôt un pas lourd résonna au dehors ; la porte s'ouvrit ; sur le seuil, un vieillard parut.

— Semenko ! s'écria Sophie courant à lui, les yeux humides, la main étendue.

Le vieillard, sans lui répondre, s'inclina jusqu'à terre et lui baisa la main, laissant, sur cette petite main qu'il tenait, tomber deux grosses larmes.

— Ainsi vous le connaissez ? demanda le colonel.

— Oh ! oui, dit Sophie en soupirant. C'est un bon et ancien serviteur qui nous accompagnait, nous obéissait toujours et nous grondait parfois, dans nos journées d'enfance.

— Et vous croyez pouvoir lui confier cet écrit ?

— Assurément ; il le portera avec empressement, avec bonheur, comme je le ferais moi-même... Tiens, Semenko, tu vois ce papier, c'est le salut, c'est la vie de ton maître. Monsieur me l'a donné, et tu le porteras demain.

— Tu entends ? demain matin ; ce sera assez tôt, mon brave, ajouta le colonel. Cette nuit, tu te perdras et tu n'arriverais pas plus vite.

— Demain... demain, toute cette espérance, tout ce bonheur ! Oh ! ce sera un bien beau jour, dit Sophie.

— Et, afin qu'il soit beau pour tout le monde, réservez alors une pensée pour celui qui vous l'aura donné,

répondit Gustave avec tendresse. Et maintenant je vous quitte, sans attendre madame votre mère. Il se fait tard, la nuit est sombre ; je ne voudrais pas m'égarer... Mais je me permettrai de revenir m'assurer de son bonheur, et nous passerons la journée, tous joyeux, en famille... Au revoir, Sophie, ou plutôt, à demain.

Il s'éloigna en parlant ainsi, et elle le conduisit jusque dans le vestibule. Elle paraissait plus soucieuse et plus sombre que d'ordinaire ; lui, au contraire, n'avait jamais eu tant de confiance, d'espoir et de gaieté. Il se disait qu'enfin, le lendemain, lorsqu'il aurait ramené la joie et le bonheur dans la maison en deuil, il pourrait faire valoir son dévouement et demander sa récompense. La mère de Sophie n'aurait désormais rien à lui refuser ; Alexis, charmé d'être libre, appuierait probablement sa requête ; Sophie, par conséquent, consentirait à accepter le titre charmant de fiancée. Aussi ce fut avec un sourire confiant et une voix joyeuse qu'au moment où ses chevaux s'élancèrent, il salua de loin la jeune fille, en lui criant encore : « A demain. »

XXX

LE DERNIER VOYAGE.

Il était tard lorsque Sophie quitta la chambre de sa mère. Aussitôt après le départ du colonel, elle lui avait porté la précieuse enveloppe ; elle la lui avait montrée radieuse, pleurant de joie, sans lui parler de l'autre message, qu'elle tenait caché dans son sein. Pourtant,

jusqu'à ce jour, Sophie n'avait jamais eu de secrets pour sa mère. Mais une sorte de crainte étrange, d'instinct mystérieux, la retenait chaque fois que le nom de Nekrasa allait éclore sur ses lèvres.

Elle garda donc le silence sur ce point, ce qui, du reste, lui fut facile, car sa mère, surprise et ravie, ne se laissait pas de bénir le colonel, de parler d'Alexis et du beau jour du lendemain. Avant d'aller se reposer, M^{me} Madejska voulut même donner des ordres pour que le jeune captif pût trouver, en revenant sous le toit maternel, une chambre bien tiède et bien gaie, un bon lit bien confortable, bien blanc, petites jouissances qui lui paraîtraient, hélas ! si douces après les privations et les tortures du cachot.

La nuit donc était déjà avancée lorsque Sophie se retrouva seule dans sa chambre, après avoir vu sa mère s'endormir d'un paisible et doux sommeil. Alors elle tira de son corsage le parchemin qui devait décider du sort de Maxime ; elle le plaça sur la table devant elle, et, laissant tomber sa tête dans ses mains, se prit à rêver en le considérant.

Il y avait beaucoup de bonheur pour Sophie sous cette mince enveloppe, et en même temps beaucoup de douleur aussi... Elle avait tant aimé Maxime ! Elle aurait une joie du moins : celle de lui conserver la vie, cette vie qu'elle avait rêvé d'embellir et que le sort lui interdisait de partager... Vie bien triste pourtant, vie brisée, solitaire, qui se consumerait lentement dans les cachots ou dans l'exil !...

Mais enfin Maxime vivrait, l'avenir lui serait clément

peut-être. Chaque fois qu'elle, séparée de lui, se sentirait triste, désolée, regrettant les beaux jours, elle n'aurait qu'à penser à cela ; elle se dirait : « Maxime vit ; j'ai acheté sa vie au dépend de mon bonheur », et elle se sentirait consolée... Il avait bien souffert, le pauvre jeune hetman ! Son cœur avait saigné bien fort, quoiqu'il n'eût pas été blessé longtemps... Mais elle pouvait être encore pour lui belle, caressante et douce, cette vie que Semenko allait lui porter demain...

Semenko ! Il allait être bien heureux, pensa-t-elle. Sans doute il reverrait Maxime, il lui baiserait la main, il chercherait à lire sur son front les traces de ses souffrances et tâcherait aussi, par ses encouragements, sa tendresse fidèle, à lui rendre un peu d'espoir et de sérénité... Et, pour quelques humbles prières, pour de simples témoignages d'affection, il allait être ainsi récompensé, tandis qu'elle, elle, l'ancienne compagne, elle, la fidèle amie, elle, l'épouse rêvée, elle ne jetterait plus un regard sur lui avant qu'il s'éloignât, qu'il se perdît dans son exil éternel !...

Et Alexis était là pourtant, et elle aurait pu, en allant retrouver son frère, donner un dernier regard, dire son adieu au condamné... Ah ! ç'aurait été là son dernier bonheur, le fruit de sa dernière heure de liberté, car bientôt, elle l'avait promis, elle ne s'appartiendrait plus, elle serait la femme d'un autre, épouse triste, mais résignée.

En ce moment, et comme pour donner plus de force à cette tentation qui s'élevait en elle, une pensée subite lui traversa l'esprit... Et si Maxime allait ne pas vou-

loir de cette grâce ? S'il refusait tout de ses ennemis : la pitié, le pardon, la vie même ? S'il préférerait la mort, lui, le vaincu désespéré ?... S'il trouvait quelque affront sanglant à faire à ses geôliers, quelque mortelle insulte à leur jeter au visage, pour les irriter, pour les braver encore, pour changer en haine implacable leur indulgence et leur générosité ?... Ah ! si de telles résolutions étaient entrées dans l'âme de Maxime, ce ne serait pas certes la voix de Semenko qui pourrait les ébranler. Il faudrait une voix plus aimée, une influence plus douce, et si elle, tout humble et toute tremblante, disait au pauvre captif : « Maxime, vivez, je vous en prie ! » Maxime aurait pitié d'elle ; il vivrait certainement.

Elle pensait et rêvait ainsi, ses joues pâles se couvrant parfois de subites rougeurs.

Soudain, quelques coups frappés à sa porte la firent brusquement tressaillir.

— Qui est là ? dit-elle, en se levant toute pâle et subitement effrayée.

— Mademoiselle Sophie, c'est moi... c'est Semenko. J'ai vu qu'il y avait encore de la lumière dans votre chambre, et je suis venu vous prier... de me donner ce papier... car, en vérité... il ne faut pas de retard.

— Comment ? que dis-tu donc ? Pas de retard ?

Et, courant à la porte, elle l'ouvrit toute grande. Puis elle recula d'un pas à l'aspect du vieux serviteur. Semenko avait les joues pâles, les yeux hagards, les lèvres tremblantes ; il étendait la main avec un geste impatient, comme s'il eût voulu saisir le précieux par-

chemin et s'enfuir avec lui, malgré la nuit noire et la neige tourbillonnante.

— Pourquoi ? Que veux-tu ? Parle-moi donc ! répéta la jeune fille effrayée.

— Eh bien, mademoiselle, tout à l'heure nous étions là, tous ensemble, nous chauffant dans la cuisine, lorsqu'un colporteur juif, qui venait de K..., précisément, est arrivé avec son traîneau. Il s'était perdu en chemin et, à demi gelé, nous demandait un asile... Mais lorsqu'il a été un peu réchauffé et ragailardi, il s'est mis à parler et nous a dit que demain, de bonne heure... dans la matinée... il y aura une exécution à K... Et même, ô Seigneur ! on a déjà planté le poteau, creusé la fosse... Si c'était... si c'était pour mon maître?... O demoiselle chérie, laissez-moi partir, donnez-moi ce papier.

— Oui, prends vite, pars vite... sauve-le !

Elle prit le sursis sur la table et le plaça dans les mains du vieillard. Puis, au moment où il allait s'éloigner, elle le retint brusquement et, toute pâle, murmura d'une voix tremblante :

— Mais, à K..., j'ai aussi mon frère à délivrer... Semenko, j'irai avec toi...

— Avec moi ? dit le vieux serviteur surpris. Mais la nuit sera rude pour vous, demoiselle !

— C'est peu de chose, Semenko ; j'ai déjà voyagé par des temps semblables. Et, tu le sais, je devais aller chercher Alexis... Eh bien ! qu'importe ?... quelques heures plus tôt ou plus tard. Ma mère dort, elle ne saura rien. Demain, à son réveil, je lui présenterai

mon frère. Elle sera si heureuse alors qu'elle ne me grondera plus... Et, pense donc, Semenko, il vaut mieux que j'aïlle avec toi. Si le gouverneur de la prison ne voulait pas te recevoir?... Il ne sait pas si tu es brave, dévoué et bon ; il dira que tu n'es qu'un paysan, un Cosaque ; il pourra te faire attendre, et, pendant ce temps... Ah ! Semenko, laisse-moi partir !... Moi, vois-tu, je connais le prince Lubow, qui a son palais à l'entrée du bourg. J'irai lui parler ; il me fera avoir tout de suite une audience, et nous sauverons nos prisonniers, tous les deux !... Tu vois maintenant, n'est-ce pas ? qu'il faut que je t'accompagne !

— Oui, en vérité, répondit le vieillard ébranlé par ces paroles de la jeune fille. Assurément le vent est bien fort, la neige épaisse et la nuit mauvaise ; mais je connais la route, et d'ailleurs, dans une heure, la lune va se lever. Le traîneau est déjà attelé, et...

— Alors, je descends avec toi ; emporte ce tapis de fourrure.

Le vieillard obéit et disparut. Sophie, à la hâte, se revêtit de sa cape et de son manteau. Mais au moment où, d'un pas léger, elle allait quitter sa chambre, une pensée lui vint ; elle retourna sur ses pas pour jeter encore un regard dans la pièce où dormait sa mère.

Le sommeil de la veuve était profond, paisible ; ses cheveux argentés se roulaient sur l'oreiller en deux nattes épaisses, et ses mains amaigries, blanches et gracieuses encore, étaient pieusement jointes, comme si elle se fût endormie en priant.

Sophie s'approcha du lit sur la pointe du pied, se

pencha et appuya un instant sur les mains de sa mère son front brûlant, ses lèvres qui tremblaient. Alors, si légère qu'eût été cette douce pression, ces deux mains se séparèrent ; l'une d'elles vint s'appuyer sur la tête blonde de la jeune fille, comme pour la couvrir d'une maternelle bénédiction. Sophie tressaillit sous cette caresse involontaire, qui, pourtant, lui sembla si tendre. La rougeur lui monta aux joues ; quelques larmes lui vinrent aux yeux. Mais, en ce moment, elle entendit au dehors les pas des chevaux, le frôlement du traîneau glissant sur la neige. Alors elle se releva, prit la main de sa mère avec précaution, y déposa un dernier baiser, assez léger pour qu'il ne la réveillât pas, assez doux pour qu'elle pût le sentir en rêve, et, sortant lentement de la chambre, alla prendre place dans le traîneau qui l'attendait.

Semenko ramena les fourrures sur ses petits pieds avec le respect d'un serviteur et la tendresse d'un père. Puis il sauta sur le siège, fit claquer son long fouet, et les chevaux partirent au galop.

La grande allée de chênes fut bientôt dépassée ; le traîneau tourna au pied de la haute croix, et s'engagea dans le sentier qui traversait la steppe. Sur le ciel grisâtre et brumeux, la neige tourbillonnait encore, et Sophie put distinguer, entre la masse des nuages sombres, le monticule des tombes, qui dressait sa masse plus sombre au-dessus du lac maintenant glacé, où jadis nageaient les deux cygnes. « Hélas ! c'étaient alors les beaux jours, les jours de soleil, se dit-elle, et maintenant c'est la neige et l'hiver.

Elle resta ainsi rêveuse pendant quelques instants, le traîneau filant comme une flèche, volant rapidement sur la plaine. Puis, voulant imposer silence à tous ses souvenirs, elle passa la main sur son front, et se tournant vers Semenko :

— Les chevaux marchent bien, dit-elle. Dans trois heures au plus nous serons arrivés. Quel bonheur, mon vieil ami ! Nous sauverons ton maître !

— Oui... je commence à l'espérer, demoiselle... Jusqu'à présent, j'en avais douté, vraiment.. Le mauvais sort... les présages... Il me semble positivement qu'il y a un mauvais sort jeté sur nous... Ah ! demoiselle, mon cœur saigne quand je viens à me le rappeler... Et votre digne père, qui s'est laissé mourir, croyant trouver mon maître dans la grange ! M. Alexis, emmené par ces maudits schismatiques parce qu'il n'avait pas voulu le trahir ! Et ce beau faucon du Volga abattu à terre, je ne sais comment, et déchiré sous mes yeux par douze chouettes, le jour même où mon maître s'enfuyait de Medóvka ! Et la pauvre Oxana, enfin, cette belle et brave fille...

— Oxana ? que dis-tu d'Oxana ? s'écria Sophie, qui, aux premières paroles du vieux serviteur, avait versé des larmes en silence, mais qui releva promptement la tête en entendant prononcer ce nom. Oxana, que devient-elle ? On m'avait dit qu'elle était dans les prisons de K...

— Elle... y a été, demoiselle.

— Et maintenant, où est-elle ?... Est-ce qu'elle en est sortie ?

— Oui, par la porte du cimetière... Elle est à présent dans une tombe de gazon bien vert, où il y a une petite croix que j'ai plantée moi-même. Elle est morte sous le fouet des Russes, parce qu'elle n'a pas voulu trahir mon maître, qu'elle aimait et respectait comme s'il eût été son seigneur.

— Oxana!... Ah! c'est affreux! s'écria Sophie en se levant à demi dans le traîneau, les yeux humides et les lèvres glacées. Ma pauvre Oxana, que j'aimais comme une amie! Ah! dans notre douleur nous l'avions oubliée... Et tu dis qu'elle n'a pas voulu trahir ton maître, Semenko?

— Demdiselle, autrefois, sur la rive du Boh, loin d'ici, mon maître lui avait sauvé la vie. Elle se l'était bien rappelé, la pauvre fille, et, quand les mauvais jours sont venus, elle a voulu payer sa dette; car, pauvre serve qu'elle était, elle avait pourtant un grand cœur... Aussi, tous les fouets des Russes n'auraient pas pu lui arracher son secret; ils lui ont d'abord arraché l'âme.

Sophie ne répondit rien aux paroles du vieux serviteur.

Elle se rappelait, en ce moment, la confiance d'Oxana, sa poétique tendresse, ce fidèle souvenir qu'elle gardait au généreux étranger, et elle ne s'étonnait plus, puisque tout cela était pour Maxime.

« C'était donc lui!... lui qu'elle ne pouvait oublier, murmura-t-elle en soupirant, et c'est pour lui qu'elle est morte... Ah! il y a bien des gens qui souffrent pour lui, et qui meurent... On dirait qu'il est condamné par

le sort. Et si Semenko, tout à l'heure, avait eu raison ?... »

Elle se sentit frissonner au moment où elle pensa ceci, et, joignant ses petites mains sous son manteau de fourrure, elle leva les yeux en haut, comme pour y chercher un espoir.

L'aspect du ciel était cependant devenu moins effrayant, l'immensité de la plaine moins désolée. La neige ne tombait plus en tourbillons ; çà et là seulement, quelques flocons, légers et rares, voletaient encore dans l'air, derniers vestiges de la tempête qui se calmait. Avec la neige, le brouillard et la tempête avaient disparu, et, comme l'avait prévu Semenko, la lune s'était levée. Inondant la steppe de cette belle clarté pâle, particulière aux splendides nuits du Nord, elle faisait étinceler, ici, comme des franges de brillants, les gouttelettes de frimas attachées aux rameaux des arbres ; plus loin, comme une nappe de cristal, la surface transparente de quelque étang, de quelque mare récemment gelée. Et, au milieu de cette froide splendeur, pas un souffle, pas un bruit. Le ciel, qui veillait seul, semblait sourire, et la plaine, dans son profond repos, semblait sourire aussi.

Ce calme mélancolique et cette sereine douceur de tout ce qui l'entourait rendirent un peu d'espoir à Sophie.

— Voici la nuit redevenue belle, dit-elle à Semenko. Presse les chevaux, bon père ; hâtons-nous, arrivons vite.

Mais, à une demi-verste en avant, la plaine, jusque-là

parfaitement unie, se trouvait traversée par une profonde ravine, sorte de sillon énorme qu'on eût dit tracé là aux premiers temps du monde, par la puissante roue de quelque char de Titan. Entre ces deux escarpements passait un cours d'eau assez rapide, récemment grossi par les pluies de l'automne, puis subitement glacé par les premiers souffles de l'hiver. Un pont de bois, étroit et chancelant, servait de communication entre les deux rives, juste à l'extrémité du sentier. De loin, aux rayons de la lune, Semenko en aperçut les frêles barrières se dessinant en minces lignes noires sur le tapis de neige éblouissant. Modérant l'élan de ses chevaux pour ne pas ébranler cette construction fragile, il vit le premier d'entre eux s'engager sur le pont, puis les deux autres le suivre en file... Soudain le premier cheval se cabra, refusant d'avancer. Semenko le frappa de son fouet; mais l'animal même alors résista, agitant ses pieds de devant avec terreur et se rejetant en arrière. Alors le vieillard sauta à terre, pour examiner l'obstacle qui s'opposait à sa course.

— Dieu du ciel ! le pont est rompu, s'écria-t-il avec désespoir, lorsqu'il eut fait quelques pas dans la neige.

— Semenko ! dis-tu vrai?... Est-ce qu'il n'y a plus moyen de trouver un passage ?

— Non ; pas ici du moins... Le damné juif ne me l'avait pas dit, demoiselle ; voyez plutôt : voici les planches et les poutres tombées en bas, toutes noires sur la glace de la rivière. Le vieux Kary l'a vu mieux que moi, pauvre bête ! S'il ne s'était pas arrêté à temps, nous nous rompions tous le cou ici.

Et le vieillard, en parlant, avait saisi le mors du premier cheval, et faisait reculer le traîneau qui se retrouva sur le sentier.

— Oui, tout cela est bien, nous sommes sauvés, Semenko ; mais *lui* ! dit Sophie d'une voix tremblante. Il faut trouver un autre chemin ; il faut passer, vite, bien vite... Les Russes n'attendraient pas, eux ; et dans deux heures, il fera jour.

— Oui ; vous avez raison, et c'est à quoi je pense, demoiselle... Oh ! je l'avais bien dit : mon maître est un homme condamné... Mais, qui sait ? il y a peut-être un moyen encore ; seulement ce moyen n'est, je crois, pas très sûr... En remontant la rivière pendant un demi-mille, nous arriverons à un endroit où elle devient large comme un étang ; là, le bord de la steppe descend en pente douce ; il n'y a pas de hautes berges comme ici. Nous arriverons donc, avec le traîneau, jusqu'à la rivière, et la glace est, je pense, assez forte pour que nous passions dessus.

— Oh ! oui, nous passerons... Partons, Semenko, allons vite. Vois comme la lune a marché depuis que nous sommes en route... Et c'est encore un grand détour que nous allons faire.

Le vieux Cosaque excita vigoureusement l'attelage ; une demi-heure ne s'était pas écoulée, que le traîneau et les voyageurs arrivaient au bord de l'étang uni et glacé, sur lequel étincelaient, comme une poussière de diamants, les mille facettes des étoiles de neige.

Mais, au moment de lancer ses chevaux sur cette espèce de lac, le vieux serviteur les arrêta un instant.

— Demoiselle, dit-il, se tournant vers Sophie, supposons que la glace ne soit pas assez forte pour nous porter !... Ne ferions-nous pas mieux de descendre, de laisser le traîneau au bord, et de traverser seuls ? De cette façon-là, il n'y aurait aucun risque.

— Le risque d'arriver trop tard, le plus probable de tous, répondit-elle en frémissant. Que ferions-nous, Semenko, quand il nous faudrait achever la route à pied, traverser jusqu'au bourg cette grande plaine de neige ? En aurions-nous la force, et à quelle heure pourrions-nous arriver ?

— Vous avez raison ; mais pourtant, demoiselle...

— Que crains-tu donc, vieux brave ?... N'as-tu pas vu là-bas, dans le ravin, les planches et les grosses poutres du pont tombées sur la glace qui recouvre la rivière ? Elles ne l'ont pas brisée, tu l'as bien pu voir, et cependant elles sont certainement plus lourdes que le traîneau.

Le Cosaque se sentit un peu rassuré, à cette observation de Sophie. Il ne se dit pas que là-bas, entre les deux berges, le cours d'eau, beaucoup plus étroit, pouvait former plus aisément une masse glacée bien plus compacte, tandis que, sur cette sorte d'étang, l'enveloppe de glace, profonde aux bords, était peut-être fragile au milieu... La confiance et l'intrépidité de Sophie l'avaient gagné. D'ailleurs, ce qu'il voyait avant tout, c'était le danger de Maxime ; ce qu'il voulait avant tout, c'était sa vie et son salut. Il excita donc ses chevaux du fouet et de la langue, et les lança en disant : « A la garde de Dieu ! »

— Enfin ! murmura Sophie, le dernier obstacle va disparaître.

Elle jeta vers les étoiles, qui brillèrent doucement, un regard plus brillant encore, et, de ses petites mains croisées sur sa fourrure, serra sur sa poitrine les deux enveloppes de parchemin.

Le traîneau s'éloigna rapidement du rivage, laissant derrière lui les buissons qui scintillaient sur le bord, comme des paillettes d'argent. Il atteignit le centre du lac, d'où la neige était disparue, et commença à en rayer la glace.

Soudain, un effroyable craquement retentit, et la jeune fille fit entendre une exclamation d'épouvante. Semenko se retourna d'un seul bond ; il vit la frêle enveloppe de glace verdâtre se briser en éclats, l'eau jaillir de tous côtés, l'arrière du traîneau disparaître... Lui-même, au bout d'un moment, se sentit précipité ; deux des chevaux, qui avaient dépassé déjà la crevasse fatale, essayèrent encore un moment de se maintenir sur la surface polie, rayant et battant la glace de leurs pieds de devant. Mais le poids du traîneau, déjà englouti, les entraîna à leur tour... Bientôt voiture, voyageurs, attelage, tout eut disparu ensemble, dans l'eau limoneuse qui clapotait en tourbillonnant.

XXXI

AU BUT.

Le vieux Cosaque, au moment de la terrible chute, avait éprouvé un instant d'affreux désespoir; un cri d'agonie s'était échappé de sa poitrine. Mais ce moment de défaillance fut court, et, tout en se débattant au milieu des flots, malgré le froid, malgré la terreur, malgré son âge, sa présence d'esprit lui revint, et avec elle le désir de vivre aussi, le désir de vivre avant tout, pour sauver Sophie et Maxime. Il se mit donc à nager aussi vigoureusement qu'il put, tâtonnant autour de lui pour saisir la robe ou la chevelure de la jeune fille.

Bientôt, passant à côté de la sienne, il sentit une petite main. Elle était sans force et flottait étendue, tenant encore les deux enveloppes qu'au moment de sa chute elle avait étreintes par un mouvement machinal, comme si, se voyant mourir, elle eût voulu les garder pour les laisser à un ami. Alors, saisissant avec un élan de joyeuse reconnaissance cette main et les précieux papiers qu'elle tenait, Semenko attira à lui le corps de la jeune fille, puis essaya de remonter à la surface de l'eau. Pendant une ou deux minutes, ses efforts furent inutiles : chaque fois qu'il soulevait la tête pour chercher l'espace et le ciel, il se heurtait contre l'épaisse voûte de glace qui semblait enfermer les malheureux dans un vaste cercueil de cristal... Enfin, un bruit léger, comme celui de l'eau qui bouillonne, parvint à ses oreilles,

déjà presque insensibles aux sons de la terre. Il fit encore un effort, étendit les bras en avant, et releva la tête. Un souffle d'air froid passa sur son visage, et il vit les étoiles briller au-dessus de lui... Il avait trouvé la porte de son horrible prison de glace, il était sauvé : en un instant il était à genoux sur le bord..

Alors, portant dans ses bras la jeune fille évanouie, il se dirigea vers les touffes de joncs qui croissaient au rivage. Il y déposa doucement Sophie, et son premier regard d'angoisse fut pour les papiers qu'elle tenait dans sa main. Il les prit en tremblant, les examina à la clarté de la lune. O bonheur ! il y vit encore des lignes noires, des caractères nettement tracés. Ils n'avaient pas séjourné dans l'eau assez longtemps pour que les mots qui y étaient écrits fussent devenus illisibles.

Alors Semenko les secoua, les essuya à des feuilles de roseau qu'il dépouilla de leur enveloppe de givre ; puis, pour les sécher, il les plaça sur sa poitrine, quoiqu'il se sentit lui-même tout transi et grelottant. Enfin, lorsqu'il eut rempli ce devoir, à ses yeux le premier de tous, il se pencha vers Sophie.

Il mit la main sur le cœur de la jeune fille et le sentit palpiter ; il approcha son oreille de ses lèvres pâles, et en reçut la tiède haleine. Alors un soupir de reconnaissance, aussi fervent, aussi profond qu'une ardente prière, gonfla la poitrine du vieillard, et il enleva Sophie dans ses bras en disant :

« Maintenant, j'en ai deux à sauver... Marchons vite, et que Dieu me protège ! »

Il s'engagea alors dans le sentier, sur l'autre rive de l'étang fatal ; il s'avança à grands pas jusqu'à la steppe, ses robustes épaules ployées, sa longue barbe mouillée se hérissant de givre, ses membres glacés se raidissant au souffle froid de la nuit. Par moments, une sorte de brouillard passait devant ses yeux ; de violents frissons faisaient claquer ses dents et secouaient sa taille robuste ; ses pieds, s'enfonçant dans la neige, trébuchaient, comme si sa force allait l'abandonner. Pourtant il se redressait, il se raffermissait par un immense effort de courage. Il jetait un regard en haut, et voyait le ciel blanchir à l'horizon ; il abaissait ses yeux vers la terre, et regardait le pâle visage qu'il soutenait dans ses bras. Alors il sentait un peu de sang chaud et jeune lui revenir au cœur, et il se disait, hâtant le pas : « Al- lons donc ! est-ce que je peux tomber ? est-ce que je peux faiblir ? Ne faut-il pas que je les sauve ? »

De temps en temps, lorsque ses bras commençaient à trembler violemment, sous l'influence du froid et de la fatigue, il posait la jeune fille à terre, à l'abri de quelque buisson... Elle ne faisait aucun mouvement ; ses lèvres étaient toujours pâles, ses yeux fermés, et il commençait à être inquiet pour elle. Cependant son cœur battait toujours lorsqu'il y portait la main. Alors il se penchait sur elle, essayant de la réchauffer par son haleine, soulevant son front humide, frottant ses mains glacées. Puis, quand il se sentait plus fort, la voyant toujours immobile, il secouait tristement la tête et la reprenait dans ses bras.

Déjà les étoiles disparaissaient une à une ; la clarté

de la lune, s'affaiblissant de minute en minute, s'effaçait devant la lueur blanche, plus claire et plus vive, qui annonçait le point du jour, et Semenko, pâle et frissonnant, marchait toujours dans la steppe. Le sentier se déroulait devant lui, droit, solitaire et morne; la route semblait interminable, et l'aube commençait à briller. Et le vieux Cosaque, toujours marchant, n'avait qu'un but, qu'une pensée :

« Hier, se disait-il, ils ont scellé le poteau, ils ont creusé la fosse. Maintenant, voici le jour qui naît, c'est l'heure où les soldats s'éveillent... Oh! mais l'exécution ne peut se faire tout de suite; il faut bien qu'ils aient le temps de répondre à l'appel, de nettoyer leurs fusils... »

Leurs fusils! souvenir horrible, idée affreuse!... Semenko crut voir, en ce moment, douze canons reluisants et polis s'allonger, prendre pour but une belle tête brune, une large et noble poitrine... Toujours portant son fardeau, il se mit à courir en poussant des cris d'insensé.

Il semblait qu'un pouvoir mystérieux lui eût rendu sa jeunesse, qu'une force inconnue eût envahi son vieux corps pesamment courbé. Il ne sentait ni la fatigue, ni le froid, ni son fardeau, ni l'humidité glaciale; il trouvait seulement, avec terreur, que la route était longue, et que le village était loin. Enfin, les jambes chancelantes, l'haleine épuisée, les yeux obscurcis, les tempes gonflées par le battement des artères, il vint tomber à genoux au sommet de l'éminence qui, du côté de l'ouest, domine la ville de K...

Un moment il resta ainsi, accroupi sur la neige, pour reprendre haleine avant d'aller plus loin. Devant lui, sur l'horizon d'un bleu pâle, le soleil se montrait à demi, rouge et terne, comme un globe de cuivre. La croix d'argent de l'église catholique, la coupole métallique de la *Cerkiew* reluisaient sous son jet de flamme, qui semait aussi des reflets roses sur le blanc palais du prince, sur les toits des humbles maisons. Le vieillard arrêta ses yeux un instant sur le pâle visage de Sophie ; une belle teinte d'or, semblable à une auréole, venait aussi colorer son front, aviver l'éclat de ses lèvres... Puis, comme si cette lointaine flamme l'eût couverte et réchauffée, elle ouvrit lentement les yeux, fit un léger mouvement et commença à parler, jetant un regard souriant et vague sur l'espace bleu, argenté de lumière, qui s'ouvrait à ses pieds.

« C'est le lac, dit-elle, et les deux cygnes sont encore là... Ils se saluent de loin, ils inclinent leur cou blanc et font frémir leurs ailes... Mais l'un est triste, l'autre est blessé... Et puis la rive est aride et morne, le lac est trop étroit pour eux... Ah ! il y a ailleurs des eaux plus fraîches, des rivages plus verts, un ciel plus rayonnant... Beaux cygnes, allez les revoir... envollez-vous ensemble ! »

En prononçant ces derniers mots, elle leva les yeux et la main vers le ciel avec un ineffable sourire, comme si elle eût voulu y suivre le vol cadencé des oiseaux. Mais soudain sa main retomba, raide et froide ; son regard s'éteignit dans ses yeux, et sa bouche, que l'haleine ne réchauffait plus, demeura entr'ou-

verte. Semenko, en la voyant ainsi, fut pris d'un frisson d'horreur.

« Si c'était la mort ? se dit-il. Si j'avais perdu celle-ci en voulant sauver l'autre ? »

Il saisit Sophie dans ses bras, se releva vivement, et s'élança, bondissant, sur le penchant de la colline.

Il n'était pas encore au bas, lorsqu'il entendit, dans le lointain, un roulement de tambours étouffé, prolongé, sinistre. Alors, parvenu au comble de l'angoisse et de la terreur, il fut saisi d'une horrible pensée. Un instant il fut tenté de jeter là son fardeau, de s'élancer en avant, oubliant, sacrifiant ce qu'il laissait derrière lui, mais conservant entre ses mains le précieux papier qui assurait la vie à son maître.

Cependant un dernier sentiment d'humanité se réveilla dans son cœur ; il souleva le corps de l'enfant, s'élança, fendit l'espace... Quelques minutes plus tard, il passait devant le palais du prince, tout en avant du bourg. Il s'arrêta devant la grille, se pendit à la sonnette ; quelques domestiques parurent.

— Prenez-la, secourez-la ! leur cria le vieillard en montrant Sophie, qu'il avait déposée devant la grille sur un des bancs. C'est une mourante, c'est une compatriote, une chrétienne... Soignez-la, pour l'amour du Christ !... Moi, je n'ai pas le temps, il faut que je parte, que je coure... j'ai, là-bas, quelqu'un à sauver.

Il courait en parlant ainsi, et les domestiques, qui le prirent pour un fou, le virent aussitôt s'éloigner, criant et agitant dans sa main la grosse enveloppe décachetée.

Une majestueuse allée d'ormes s'étendait du palais à l'entrée de la petite ville. Semenko la parcourut en un instant, voyant passer, devant ses yeux éblouis, les gros troncs gris comme autant de gigantesques fantômes. Il allait atteindre le dernier, lorsqu'une forte détonation retentit devant lui, au bout des premières rues, sur la grande place du village. En même temps, un petit nuage de fumée s'éleva, mince et diaphane, au-dessus des toits moussus. Semenko ne vit que cela ; mais il porta la main à son cœur, tournoya, chancela, comme s'il eût lui-même été atteint par les balles, et, pour ne pas tomber, s'appuya à l'un des vieux troncs.

La lettre était tombée de ses mains ; il la regarda un instant déployée à ses pieds sur la neige. Il fut tenté de la déchirer, par un dernier mouvement de fureur, puis de se briser la tête contre les arbres.

« Mais..., après tout, je ne suis pas sûr encore, murmura-t-il. Il faut aller jusqu'au bout... le sauver, s'il est vivant... l'ensevelir... s'il... est... mort. »

Il ramassa la lettre et continua de s'avancer, égaré, défaillant, stupide. Quelque chose lui disait qu'il n'avait plus besoin de courir maintenant. Plusieurs habitants du village, qui le virent s'acheminer ainsi, le prirent pour un moribond chassé de son lit par un accès de fièvre. Il arriva sur la grande place. Il vit les soldats rangés en carré, redressa sa haute taille, et regarda au-dessus de leurs têtes, marchant droit vers le fatal poteau.

Maxime y était attaché, le front renversé en arrière, la main crispée et raidie, la poitrine ouverte par cinq

blessures. Mais toute souffrance était disparue, la courte agonie avait cessé ; le cœur égaré ne battait plus, quoiqu'il saignât encore. Semenko vit tout cela d'un coup d'œil ; il se jeta comme un insensé sur le premier rang des soldats, les repoussant d'un geste furieux, les foudroyant d'un regard terrible.

— Arrière ! lui cria-t-on. Personne n'approchera du mort.

Semenko regarda un moment la foule, et répondit avec un sourire égaré :

— J'en approcherai, moi... Je lui apportais sa grâce...

En parlant ainsi, il jeta la lettre aux pieds d'un officier qui s'avancait pour le saisir, franchit la ligne des soldats d'un élan irrésistible, et arriva près du poteau. Là, découvrant sa tête grise et s'agenouillant avec un regard navré, il baisa avec respect les larges taches de sang qui rougissaient la poitrine de son maître.

Les soldats surpris ne firent pas un mouvement pour arracher Semenko à cette contemplation solennelle. Les habitants du bourg, groupés sur la place, se le montraient de loin, gémissant tout bas et versant des pleurs. L'officier s'avança alors et toucha légèrement l'épaule du vieux Cosaque.

— C'était un sursis, en effet, dit-il. Mais il est malheureux, vraiment, que vous l'ayez apporté trop tard. Maintenant, on ne peut plus rien faire pour vous, mon brave.

— Si, on peut faire quelque chose encore.

— Eh ! quoi donc ?

— Me fusiller à côté de lui.. .c'est-à-dire à ses pieds,

comme un esclave, comme un chien... Je ne mérite pas de mourir autrement.

— Brave homme, vous demandez là une chose impossible.

— Eh bien !... il y a autre chose à faire encore. Me le donner, pour que vos mains... qui l'ont tué... ne le touchent pas... pour que je l'ensevelisse à côté de ses pères.

— Ceci est plus faisable... Accordé, dit l'officier en se détournant.

Il fit un signe ; deux soldats s'approchèrent, détachèrent du poteau le corps du supplicié. Semenko le soutint un instant dans ses bras, écartant, avec un regard d'amour, les boucles de cheveux bruns qui retombaient sur le front pâle. Puis il le souleva lentement et s'éloigna, sa haute taille ployée par la douleur, marchant vers l'entrée du bourg.

Pendant ce temps, au palais du prince Lubow, on avait cherché à secourir Sophie. On l'avait débarrassée de ses vêtements humides, étendue dans un lit bien chaud, et on avait amené le médecin de la famille. Mais celui-ci secoua la tête lorsqu'il l'eut examinée un instant.

— Cette jeune fille se meurt, dit-il. Mes soins sont inutiles, l'agonie a commencé. Bientôt ce dernier souffle, qui de temps en temps soulève encore sa poitrine, aura cessé entièrement.

Il cessa au bout d'un quart d'heure en effet. Comme Sophie l'avait rêvé à son dernier moment, les deux cygnes s'étaient envolés ensemble.

En déshabillant la pauvre fille, on avait trouvé sur

elle l'arrêt du tribunal de Kiew qui ordonnait la mise en liberté d'Alexis. Alors on comprit pourquoi elle avait entrepris ce long et pénible voyage, par cette fatale nuit. On plaignit son courage, on honora son dévouement ; personne ne put soupçonner qu'elle se fût intéressée au sort de l'autre condamné. Et Alexis, que le prince alla chercher lui-même, avec le triste message sur les lèvres et des larmes dans les yeux, apprit en même temps qu'il était libre et que sa sœur était morte.

Ainsi il y eut encore un deuil à Medówka, deuil terrible et imprévu qui aurait pu porter le dernier coup à la pauvre mère. Mais une force providentielle sembla la soutenir au milieu de cette terrible épreuve. D'ailleurs, Dieu lui avait envoyé une puissante consolation pour relever ses forces. Au moment où il lui reprenait sa fille, il lui avait rendu son fils.

Seulement ces récents malheurs avaient laissé des traces profondes sur le front et dans le cœur d'Alexis. Incliné avant l'âge, inconsolable quoique résigné, lassé du monde quoique toujours tendre et indulgent envers les hommes, il sentit le besoin de combler, par un immense amour, par une adoration souveraine, les vides successifs qui s'étaient faits autour de lui. Sur la terre, auprès de lui, il ne voyait plus que des tombes et des ruines ; en regardant le ciel seulement, il apercevait des horizons infinis, de mystérieuses clartés ; il présentait les dévouements et les récompenses d'une éternelle vie d'amour, sans nuages et sans limites. Aussi son choix fut bientôt fait.

« Je n'ai plus d'ami, plus de sœur, plus de père, plus de patrie, se dit-il. Vous seul m'êtes resté, ô mon Dieu, et ma mère !... Mais ma mère est, comme moi, faible et triste, et il me semble que je la fortifierais plus, que je l'encouragerais mieux, si j'étais votre ministre et votre serviteur ; si j'avais appris de votre saint livre, au pied de vos autels, les mystérieuses consolations et les paroles sacrées. »

Alexis avait enfin découvert sa véritable vocation ; le monde ne le retint pas longtemps. Trois mois après la mort de sa sœur, il entra au séminaire.

Lorsqu'il en sortit, deux ans plus tard, il avait joyeusement renoncé à toutes les espérances, à toutes les ambitions, à toutes les vanités de ce monde. De ses biens et de ses privilèges d'autrefois, il n'en conservait aucun. Mais il en avait gagné un qui lui semblait mille fois plus précieux, plus respectable : c'était celui de vicaire de la petite église de Medówka.

Il y dit sa première messe le jour des Morts, trois ans environ après l'époque fatale qui avait vu mourir sa sœur et son ami. Lorsqu'il eut achevé d'offrir le saint sacrifice, auquel sa mère assistait en pleurant, et pendant lequel il avait été servi à l'autel par un vieux Cosaque à chevelure de neige, il ouvrit la petite porte de la sacristie, et pénétra, suivi de son vénérable acolyte, dans l'humble cimetière de Medówka. Il allait y répandre l'eau bénite et les paroles de bénédiction sur trois tombes.

Là, Sophie reposait à côté de son père, à l'ombre d'une croix de marbre entourée de houx toujours



Le jeune prêtre alla de l'une à l'autre tombe.

vert et de buissons de rosiers blancs. Là, un peu plus loin, le descendant des hetmans Nekrasa dormait aussi. Alexis, qui autrefois avait envoyé un prêtre à son ami pour le bénir avant sa dernière heure, avait, à force de prières, obtenu de l'obstiné Semenko que le dernier des Nekrasa ne fût point enseveli sous le sauvage monticule de la steppe, mais qu'il reposât en terre bénite jusqu'au jour de la résurrection.

Le jeune prêtre, en surplis blanc et en étole noire, alla de l'une à l'autre tombe, y priant, y pleurant, mais n'y arrêtant pas longtemps son regard qui, involontairement, allait toujours chercher les cieux. Puis, lorsqu'il se retourna, il vit son vieux compagnon, les mains pendantes, la tête basse, attachant un regard à demi éteint sur les croix sombres et le gazon flétri.

— Console-toi, Semenko, lui dit-il. Ceux qu'ici nous pleurons, ailleurs nous voient; nous attendent et nous appellent. Lève les yeux, vieillard, et cherche-les là-haut.

— Hélas ! seigneur vicaire, répondit le vieillard en soupirant, j'ai beau prier et croire, je ne puis pas me consoler... Sous cette tombe de pierre, je n'ai pas seulement enseveli mon maître, mon espoir, ma gloire, mon enfant : il me semble qu'en même temps j'y ai enterré ma patrie.

— La patrie ! murmura le jeune prêtre en secouant la tête. La vraie patrie est là-haut, Semenko, et celle-là est immortelle.

— Oui ; je sais bien que Dieu nous en donne une au ciel ; dit le vieux Cosaque rêveur, en jetant un regard

résigné sur l'horizon où glissaient les nuages. Mais nos pères en avaient une ici-bas... Est-ce que nos fils ne l'auront plus ?

— Si, ils l'auront, ... s'ils savent la conquérir, dit doucement le prêtre.

— La conquérir ?... Mais il l'a essayé, celui qui est là... Pourtant il a été vaincu, et il est mort.

— Oh ! dit le jeune vicaire, je ne l'entends pas ainsi. Pour conquérir la patrie, il faudra d'abord établir la justice en soi-même. La seule lutte que nos fils puissent engager sera une lutte longue, persévérante, pacifique, dans laquelle ils devront vaincre avec les armes du dévouement, de la justice, de la patience et de la vérité... De notre temps, on aurait pu l'engager aussi, vois-tu, et alors on aurait recueilli autre chose qu'une mort stérile et une moisson sanglante. On l'a dit à notre pauvre Maxime et à bien d'autres comme lui ; mais ils ont ri de ces conseils et les ont oubliés... Nous qui aimons la patrie, prions pour elle, Semenکو, afin que ceux qui viendront après nous ne méprisent point ces enseignements, mais s'en pénètrent et s'en souviennent.

— Vous avez raison, seigneur, et il faudra le faire comprendre à ceux qui viendront après nous... Moi, je suis trop vieux, et je ne pourrai pas vivre jusque-là, pour leur conter ce que j'ai vu, pour les avertir de ce qu'il faut faire... Mais vous, vous vivrez alors, et vous le leur direz, n'est-ce pas ?

— Je ne sais pas si je vivrai jusque-là, dit Alexis, car j'ignore si, pour notre pays, l'heure de la rédemption peut être bien prochaine... Mais nos descendants en-

tendront pourtant les paroles du salut ; ils trouveront des échos solennels qui pourront les leur redire.

— Lesquels ? demanda le vieillard avec un regard curieux.

— La voix de Dieu, d'abord.

— Et quels seront les autres, seigneur ?

— Les enseignements du passé.

Ici le prêtre dit adieu aux trois tombes, par un signe de croix accompagné d'une muette bénédiction. Puis il s'éloigna lentement, suivi de son vieux serviteur, et le surplis blanc, flottant à côté de la sukmane grise, eut bientôt disparu derrière les grands ifs du champ des morts.

TABLE DES CHAPITRES

		Pages.
I.	A Tiflis.....	1
II.	Après le serviteur, le maître.....	11
III.	Chez le gouverneur.....	21
IV.	La chaîne fleurie.....	32
V.	La grosse lettre cachetée de noir.....	46
VI.	En chemin.....	59
VII.	La maison de Sophie.....	77
VIII.	La confiance.....	85
IX.	Le festin de Pâques.....	95
X.	Dans la neige.....	105
XI.	Anciennes et nouvelles connaissances.....	116
XII.	Comment il se fit que Semenko raconta son odysée.....	102
XIII.	Avant le départ.....	140
XIV.	Les Balagoules.....	146
XV.	Masque et visage.....	154
XVI.	Un ancien ami.....	166
XVII.	Le bal masqué.....	174
XVIII.	L'arrêt d'un père.....	190
XIX.	En avant.....	202
XX.	Le soulèvement.....	212
XXI.	De la différence qu'il y a entre la veille et le lendemain.....	225
XXII.	Un asile.....	241

	Pages.
XXIII. Hôte et père.....	252
XXIV. La catastrophe.....	263
XXV. Les protecteurs... ..	282
XXVI. Martyre.....	295
XXVII. Il ne faut pas parler haut auprès de ceux qui dorment.	301
XXVIII. Aux mains des Russes.....	314
XXIX. Le message de délivrance.....	324
XXX. Le dernier voyage.....	336
XXXI. Au but.....	350

Princeton University Library



32101 067526820

